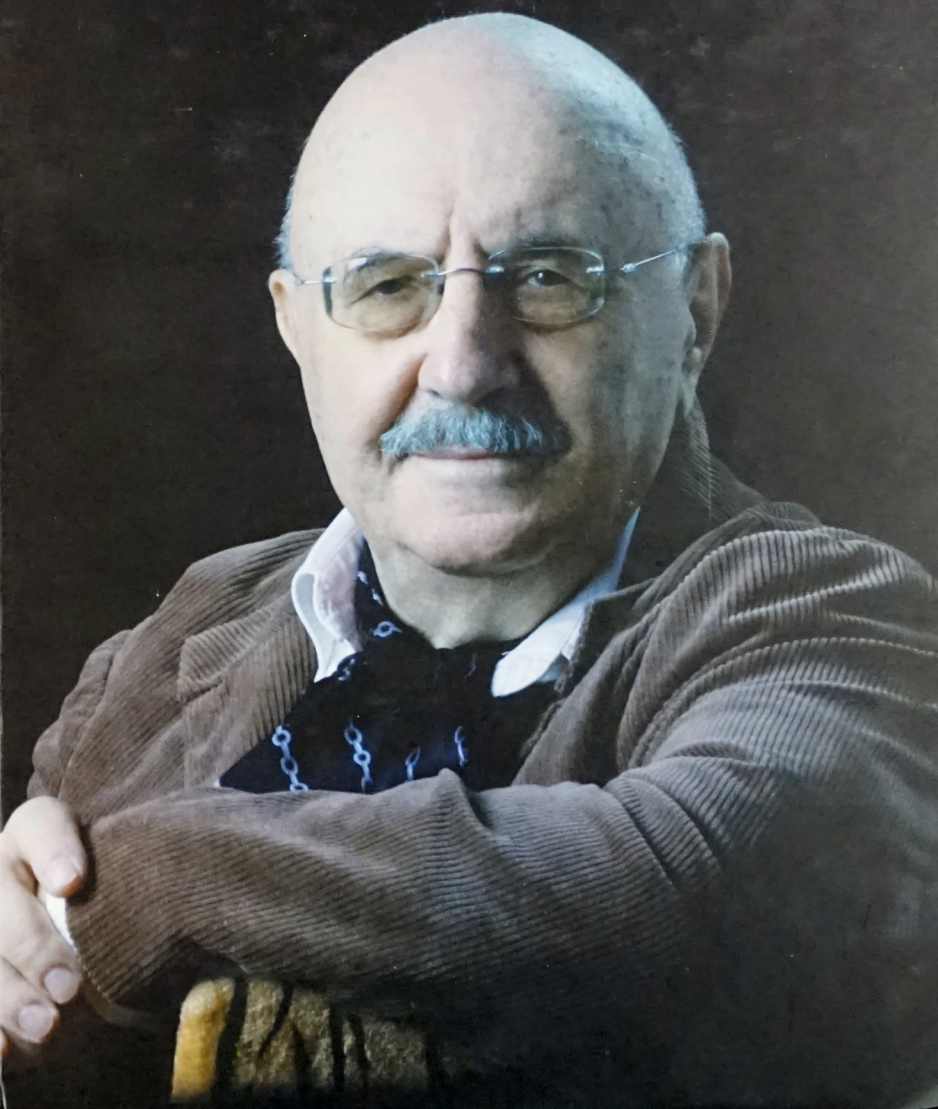


РИТМЫ ЖИЗНИ



РИТМЫ ЖИЗНИ

*Сборник к 80-летию
Ноберта Михайловича Евдаева*

Составление
и общая редакция
М.А. Якубова

Издательство • «СОБРАНИЕ» • Москва 2009

УДК 929Евдаев
ББК 63.3(2)6
Е15

Фото на лицевой стороне обложки
Вагифа Кафарова

ISBN 978-5-9606-0083-5

© Якубов М.А. Составление, 2009
© Оформление. ООО «Издательство «Собрание», 2009

Манашир Якубов
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ,
ЛАУРЕАТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕМИЙ РД

Илья Урилов
АКАДЕМИК РАН

Предисловие

Предлагаемый читателям сборник приурочен к 80-летию известного искусствоведа и специалиста в области технических наук, художника и поэта, журналиста и общественного деятеля Ноберта Михайловича Евдаева.

Автор фундаментальной монографии об «Отце русского футуризма» Давиде Давидовиче Бурлюке, технических справочников и книги лирических стихотворений, издатель и главный редактор газеты нью-йоркской общины горских евреев «Новый рубеж», живописец и эксперт-искусствовед, организатор международных научных конференций и первой выставки работ художников азербайджанской диаспоры в Америке (Нью-Йорк, 2009), концертов и фестивалей, а в юные годы ещё и переводчик-синхронист и джазовый музыкант-аккордеонист, Ноберт Михайлович предстаёт на вершине своего жизненного пути как невероятно многогранная творческая и общественная фигура.

В книге, как в мозаичном зеркале, нашли отражение разные стороны биографии и личности юбиляра, его творческих и общественных интересов.

В первом разделе сборника помещены материалы самого Н.М.Евдаева: его мемуары «Ритмы жизни», освещающие три периода его большой жизни: в его родном городе Баку, в Москве и в Нью-Йорке; а также его поэтические произведения и репродукции его живописных работ.

Во второй части книги собраны эссе, воспоминания, поздравления широкого круга друзей и коллег юбиляра, выдающихся представителей культуры и науки России, Азербайджана, США, Израиля: писателя, драматурга, киноре-

жиссёра Рустама Ибрагимбекова, академика Юрия Кагана, доктора технических наук, президента Международной академии геоэкологии Евгения Попова, доктора технических наук, члена Союза художников России Бинямина Шалумова, заслуженного артиста Республики Азербайджан, режиссера и киноактера Тофика Мирзоева и многих других.

Наконец, заключительный раздел составляют научные приношения юбиляру, статьи и исследования, так или иначе связанные с главным объектом его искусствоведческих интересов, с историей русского футуризма, русского художественного авангарда и, шире, с явлениями отечественной культуры «Серебряного века».

Так, в работе М.А.Якубова «Прокофьев в Японии» рассказывается о пути композитора в эмиграцию, который во многом, порой до конкретных деталей «предварял» аналогичные странствия Давида Бурлюка, подробно описанные в монографии Н.М.Евдаева, и о взаимоотношениях Прокофьева с русским и международным футуристическим движением.

В статье «Марина Цветаева: Тайны любви и смерти» В.Л.Фараджева подробно рассматриваются различные точки зрения на причины трагической гибели поэтессы и предлагается собственная интерпретация событий и фактов, приведших её к самоубийству.

В исследовании И.Р.Бабиевой «К вопросу о структурных особенностях романа начала XX века («Петербург» Андрея Белого)» рассматривается на примере одного из самых знаменитых произведений этого жанра новая, сложная система сюжетостроения.

Наконец, статья К.В.Фараджева «Прикладной футуризм: Органические машины Алексея Гастева», как видно из её названия, тоже непосредственно связанная с центральной темой исследовательской работы Н.М.Евдаева, анализирует утопический опыт практической реализации некоторых футуристических идей.

В своей совокупности эти работы специалистов из различных областей гуманитарного знания символизируют преемственность нескольких поколений горско-еврейской научной интеллигенции, старейшим представителем которой является Ноберт Михайлович Евдаев.

Манашир Якубов
Ренессансный человек
К ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЮ
НОБЕРТА МИХАЙЛОВИЧА ЕВДАЕВА

Такие люди встречаются редко. Впрочем, слово «такие» здесь неверно, потому что все они непохожи друг на друга. Это кажется парадоксом, но иного объединяющего слова я не могу найти. Это уникальные личности.

Именно в единственности и изобильном богатстве личности заключена неотразимая притягательность человека, которому посвящается этот сборник. Ноберт Михайлович Евдаев — художник, коллекционер, искусствовед, инженер-ученый, общественный деятель, журналист, издатель — неповторим во всех своих гранях.

О своем необыкновенном жизненном пути Ноберт Михайлович сам рассказывает в публикуемых здесь мемуарах. Это освобождает меня от необходимости излагать его биографию. Скажу только, что, судя по воспоминаниям друзей его детской и юношеской поры, незаурядность натуры и энергия самореализации проявились в нем очень рано.

Многогранно одаренные люди редко сразу находят свой путь. Разнообразные способности спорят между собой, тянут своего обладателя каждая в свою сторону, заставляют искать, метаться, менять цели и поприща. В своих воспоминаниях будущий живописец и исследователь прямо так и говорит: «Моя творческая энергия разрывала меня на части». Чего только не перепробовал молодой Ноберт Евдаев! Он работал токарем и джазовым аккордеонистом, слесарем и газетным корреспондентом, механиком, переводчиком-синхронистом, электриком... И ведь, наверно, мы еще не все знаем! Он отдал дань поэзии и музыке, изучению языков и живописи. В зрелые годы проявил себя как ученый, много лет проработавший под крылом дипломатического

ведомства. Обдумывая эту статью, собирая материал, я обнаружил последний его труд в этой области — объемистый справочник «Судовые гидравлические краны», написанный в соавторстве с другим коллегой, и в очередной раз поразился и восхитился: ну как можно было предполагать, что он, знаток авангардной живописи и поклонник поэтического слова, занимается еще и какими-то «гидравлическими кранами», — непостижимо!

Но чем бы ни занимался Ноберт Михайлович, во всем проявляется его мощный темперамент, в котором соединяются спокойствие и потенциальная взрывчатость, необыкновенная энергия, сила, напор, страстность и чувство меры, достоинство и скромность. И во внешнем его жизнелюбивом и полнокровном облике мне видится нечто раблезианское — впечатляюще масштабное и яркое.

Еще одна черта Ноберта Михайловича, для меня необыкновенно привлекательная, — его способность увлекаться новыми идеями, занятиями, проектами, новыми людьми. Как известно, такая склонность часто сопровождается быстрой потерей интереса к недавнему объекту внимания. Недаром ведь «увлечение» принято отличать от «серьезного чувства». Однако Ноберт Михайлович обладает не только способностью увлекаться, но и способностью со страстью и непреклонным упорством заниматься начатым делом, добиваясь намеченного результата.

В 2003 году, в семьдесят четыре года, он взялся за создание новой газеты. Организовать издание (и не где-нибудь — в Нью-Йорке!) и продолжать его, невзирая на материальные трудности, на непонимание, на кризис, невзирая ни на что, — это нечто невероятное, невозможное. Но вот уже шесть лет газета горско-еврейской общины Нью-Йорка выходит, сообщая читателям — не только в Америке, но и в России, в Азербайджане, в Израиле, везде, где есть горские евреи, — новости политической и общественной жизни, рассказывая об истории, литературе, выдающихся представителях народа в прошлом и настоящем... Газета «Новый рубеж» — подлинное детище Евдаева и отражает черты его личности и приметы его судьбы. Она освещает не только проблемы общины, но и разные события американской,

азербайджанской, российской, израильской жизни. Газета публикует материалы на русском, горско-еврейском, азербайджанском и английском языках! Не знаю, есть ли в мире еще что-нибудь подобное, и не пора ли внести это издание в «Книгу рекордов Гиннеса».

С ошеломляющей энергией Ноберт Михайлович осуществляет неожиданные и разнообразные проекты: Фестиваль джаза (недаром же в молодости он сам был джазменом!), Первая в Америке выставка художников азербайджанской диаспоры, научные конференции, посвященные проблемам массовых коммуникаций и культуры горских евреев, концерт из произведений Кара Абульфасовича Караева к 90-летию выдающегося композитора, издание сборника рассказов открытой им молодой израильской писательницы Мириам Хейли, и все это тоже не где-нибудь – в Нью-Йорке. Наконец, организация международного объединения выходцев из Азербайджана. (Отрадно, что эти общественные заслуги отмечены наградой грезидента Азербайджана Ильхама Алиева – медалью «Тэрэгги» – «Прогресс».)

Он пишет стихи и выпускает свой поэтический сборник, пишет картины и консультирует крупнейшие фирмы, занимающиеся современным искусством, выступает на международных конгрессах и симпозиумах, участвует в создании фильма (боюсь, что читатель уже устал от перечислений, а перечислено не все, совсем не все!). И во всех его бесчисленных проявлениях ничего вялого, тусклого, средненького, серенького, – все дельно, сочно, крепко, энергично, неординарно. Есть такое хорошее русское слово: сгусток. Вот, на мой взгляд, самое подходящее определение витальной сущности Ноберта Михайловича Евдаева.

В этом широчайшем спектре интересов главной его любовью всегда был и остается русский художественный авангард, среди множества свершений главным делом жизни стала книга об «отце русского футуризма» Давиде Давидовиче Бурлюке.

Почему Бурлюк? Почему среди множества замечательных представителей русского авангарда был выбран именно он? Из многих возможных предположительных ответов выберу пока один. В русской художественной эмиграции,

представленной не только несметным числом колоссальных талантов, но и рядом гениев, вряд ли найдется фигура более многозначно яркая, влиятельная и в этом смысле интересная.

Художник, поэт, организатор сенсационно скандальных выступлений литераторов. Автор эпатажирующих манифестов, нарочито антиэстетических поэтических строк («Звезды — черви, пьяные туманом») и абсурдистски извращенных заявлений («Мне нравится беременный мужчина»). Издатель книг, шокировавших благопристойную публику всем, начиная от скверной бумаги, внешнего оформления, шрифта, рисунков до провоцирующих названий («Пощечина общественному вкусу!») и «бессмысленного», «заумного» содержания. Законодатель антимоды: размалеванное лицо, кричащая одежда, вызывающая манера поведения в обществе и на эстраде. Шумная самореклама (сегодня мы назвали бы Бурлюка виртуозом пиар-акций), резкие, порой оскорбительные выпады в адрес современников и всего классического искусства. Создатель новых по стилю существования литературных богемных клубов: «Питтореск», «Кафе поэтов»... Наконец, быть может, важнейшее: организатор художественных групп (группировок), идеолог нового творческого движения, оставившего глубокий след в истории отечественного и мирового искусства.

Таков Бурлюк.

И, как ни странно, его огромное наследие и полная невероятных событий, неожиданных крутых поворотов, взрывов, срывов, провалов и взлетов жизнь до сих пор были во многом terra incognita. Нужны ли еще объяснения?

У книги Н.М.Евдаева два названия.

Первое: «Давид Бурлюк в Америке». Это название обманывает читателя. Обманывает по-хорошему. Оно скромнее содержания, поскольку обещает гораздо меньше, чем на самом деле дает. Достаточно просмотреть названия глав этого увесистого тома, чтобы убедиться, что в нем рассказывается не только о жизни Бурлюка в США. Отдельная, первая глава книги посвящена русскому периоду его жизни. Десятки страниц повествуют о путешествиях и поездках во Францию и Португалию, в Африку (Марокко) и в Италию,

на Кубу, в Австралию и, на закате дней, на родину (где он побывал не только в Москве, но и в Крыму). Здесь подробно, иногда со «стенографической» обстоятельностью рассказывается о встречах Бурлюка с легендарными русскими художниками Натальей Гончаровой и Михаилом Ларионовым в Париже и там же — с поэтом-сюрреалистом Луи Арагоном и его женой писательницей Эльзой Триоле, в Праге — с поэтом Витезславом Незвалом и художником Вацлавом Фиалой, в Мурнау — с ученицей и многолетней спутницей великого абстракциониста Василия Кандинского художницей Габриэль Мюнтер...

Центральное место в книге, естественно, отдано Америке, где прошла большая часть жизни Давида Давидовича. Нью-Йорк встретил Бурлюка с семьей отнюдь не с распростертыми объятиями.

Я нищий в городе Нью-Йорке
Котомка на плечах
Я рад заплесневелой корке
У банка я зачах, —

писал поэт. И в другом стихотворении жестко инвентаризовал подробности «заплеванного неправдой» города:

Теперь брожу дробясь в опорках
В длину бульваров вдоль мостов
Необозримого Нью-Йорка
Где нет ни травки ни листов
Где ветер прилетит трущобный
Неся утара смрад и яд
И где бродяги строим злобным
Во тьме охрипло говорят
Где каждый камень поцелован
Неисчислимою нуждой
Нью-Йорк неправдою заплеван...

Автор не приукрашивает историю американской одиссеи своего героя. «Материальные трудности порой приводили семью Бурлюка в отчаяние», — говорит он (с. 126). Тем

более впечатляюще выглядит победа мастера. Его триумфы в Америке и ретроспективная выставка в Лондоне, на которой восьмидесятичетырехлетний художник уже не смог присутствовать, описаны в последней главе монографии. Но прежде читатель узнает еще о всевозможных событиях в жизни Бурлюка, о встречах с Сергеем Рахманиновым и Артуро Тосканини, Джорджем Гершвином и Сергеем Прокофьевым, Артуром Лурье и Ильей Ильфом...

Отдельная глава — можно сказать, «роман в романе» — посвящена Маяковскому, который говорил: «Бурлюк сделал меня поэтом». Одного этого было бы достаточно, чтобы заслужить благодарность потомков, нашу с вами благодарность.

Чтение этой книги — захватывающее занятие. И рассказывая о ней, трудно удержаться от соблазна пересказывания, но не стану отнимать удовольствие открытий у читателя. Когда в 2002 году вышло первое ее издание, она мгновенно исчезла из магазинов. Интерес читателей был пылкий, книга о Бурлюке была нужна давно, ее ждали. Реакция критики оказалась тоже предсказуемой. Российские специалисты по авангарду почувствовали вторжение «чужака». В своих отзывах они кропотливо перечисляли мелкие авторские огрехи и типографские опечатки. Критики не заметили главного: огромного позитивного содержания исследования. Не заметили и второго названия, подзаголовка книги: «Материалы к биографии», показывающего, что автор не ставил перед собой задачу анализа творчества Бурлюка художника, поэта и журналиста. Он лишь хотел ликвидировать «белые пятна» в его жизнеописании. И весьма много в этом преуспел! Книга была удостоена награды «Золотое зерно» среди номинантов премии «Золотой лотос» 2002–2003 годов¹.

¹ Что же до стилистических промахов и опечаток, то скажем прямо: утверждать, что книга была плохо отредактирована, было бы несправедливой гиперболой. Она вообще не была отредактирована, и глаз корректора даже не проскользил по страницам верстки. А находившийся в тысячах километров от Москвы, в Нью-Йорке, автор участвовать в подготовке рукописи к печати не мог. Как справедливо заметил один из рецензентов, издание стало свидетельством «невероятного падения редакторской культуры в издательстве, имеющем славные академические традиции».

Автор отнесся к критике спокойно и деловито. В 2008 году вышло второе, солидно расширенное издание (редактура и корректура остались, увы, на прежнем уровне).

Более всего переработана и пополнена глава о жизни Бурлюка в Японии. Это особенно важно потому, что, по признанию исследователей, именно японская часть его биографии оставалась до сих пор наименее изученной. Между тем, два года, проведенные в Стране восходящего солнца, были для Бурлюка своего рода тренировочным полем и стартовой площадкой для последующей почти полувековой жизни вне России. Чтобы подготовить новый вариант этой главы, автору книги пришлось отправиться в Японию. Итогом стала, в частности, отдельная работа, написанная в соавторстве с японским исследователем Акира Судзуки, «Огасавара в бытность Бурлюка и Фиалы» (вышла в свет в 2006 году на русском и японском языках в Нью-Йорке).

Сенсационным дополнением второго издания «Давида Бурлюка в Америке» стали опубликованные впервые материалы рассекреченных архивов японского Министерства иностранных дел: «отчеты» сыщиков «о поведении иностранных граждан, подлежащих наблюдению», в которых скрупулезнейше, порою — поминутно, зафиксировано пребывание русского художника и его семьи в Стране восходящего солнца. За это мы можем сегодня сказать этим малопочтенным персонажам искреннее спасибо: они сохранили бездну интереснейших подробностей, о которых без их донесений мы бы вряд ли когда-нибудь узнали. (Обращение искусствоведения к секретным источникам официальных японских ведомств вообще представляется принципиальным новшеством. А не найдется ли, думаю я, там, в этих драгоценных архивах, столь же обстоятельных сведений о других наших соотечественниках, бывавших или поживших в Японии: например, о Константине Бальмонте, Сергее Прокофьеве, Борисе Анисфельде, Федоре Шалапине?..)

Книга «Давид Бурлюк в Америке» уже заняла прочное место в литературе об истории авангарда. Мимо собранных в ней материалов (а в монографии имеется обширное Приложение, содержащее воспоминания, статьи, письма Бурлюка) не пройдет в будущем ни один серьезный исследова-

тель этой вулканической фигуры русского искусства в эпоху его радикальных преобразений. Читая и перечитывая ее, я понял, что увлеченность автора своим героем в немалой степени определяется еще и тем, что Давид Давидович Бурлюк близок ему по своему духу, по непрекращающейся мощи самовыражения, по непрерывной потребности созидания.

Предсказать будущие свершения многообразно талантливого человека невозможно. «У доподлинно одаренных людей даже в старости мы еще наблюдаем наступление эпох неутомимой продуктивности. К этим людям словно периодически возвращается молодость», — говорил Гете. «Они и им подобные — люди гениальные, к ним и подходить надо с необщей меркой. Им даровано *повторное возмужание*, тогда как другие молоды только однажды».

Нам посчастливилось оказаться современниками Ноберта Михайловича Евдаева, свидетелями его неутомимой продуктивности. Будем готовы к новым радостным встречам.

Ноберт Евдаев

РИТМЫ ЖИЗНИ

ДЕТСТВО

Родился я, как и большинство моих бакинских сверстников, в больнице им. Крупской, на Балаханской улице, позже переименованной в улицу имени Басина, одного из 26 бакинских комиссаров. По рассказам мамы, первый мой вояж в жизни, из роддома в обитель, был экзотическим, на шикарном фаэтоне, в обществе мамы, папы и тетушки, путь проходил через центр города. Когда фаэтон поравнялся с посудным магазином на улице со странным названием Кривая, лошадь задела амбала, тащившего на палане (веревочная плетеная подушка для поддержки груза на спине) ящик с посудой. Разбитая посуда оказалась на мостовой, а амбал выкрикивал какие-то разные громкие слова. Кучер фаэтона должен был отвечать за происшествие, поэтому наша команда пересела в другой фаэтон и отправилась домой. Родители были убеждены, что, по поверью, разбитая посуда — это к счастью. Ложе мне было приготовлено в бельевой плетеной корзине, которая еще долго хранилась в доме до моей взрослости и уже использовалась по назначению.

На одну зарплату отца прожить было нелегко. Мама после родов вышла на работу, а для ухода за мной наняли домработницу — Машу. Я хорошо ее помню и даже ее характерный гнусавый голос. Из этого безмятежного дошкольного детства я помню и гулянье в губернаторском саду в немецкой группе, где так называемая бонна пыталась привить нам навыки разговорной немецкой речи. Как крепка детская память, что до сих пор отдельные немецкие слова и фразы воспроизводятся легко.

Следующий жизненный этап — это детский сад. Из этого периода помню только, что детский сад располагался на территории молочного сада, в самом центре города,

и меня обычно забирали из группы очень поздно, а иногда последним.

Я в одиночестве оплакивал свою судьбу и вместе со сторожем ждал маму, возвращавшуюся с работы.

МОЯ СЕМЬЯ

Мои родители были людьми среднего достатка, очень общительные и гостеприимные. Дом всегда был полон людьми. Отлично помню довоенное время. Друзья родителей часто собирались в нашей квартире. Стол накрывался обильно. В коридоре стояла пивная деревянная бочка с ручным насосом. Каждый жаждущий наливал себе пиво в стеклянную кружку.

В гостиной звучал хриплым голосом патефон, который периодически подзаводили вручную. Танцевали фокстроты под «Рио-Риту», танго под музыку «Танго смерти» и «В парке Чаир», вальсы под музыку «На сопках Маньчжурии». Пластинок было немного, повторялись одни и те же мелодии по несколько раз, поэтому они въелись в мою память на всю жизнь. Разговоры, главным образом, велись о прочитанных книгах, о поэзии. У мамы было несколько томиков поэзии, особенно она ценила стихи Надсона. Этот красный с золотым тиснением томик его стихов достался мне по наследству. Друзья любили говорить о спектаклях в театре Русской драмы, любовь к которому передалась и мне.

Не помню, чтобы на этих вечеринках, как их называли, говорили о политике. Теперь могу предполагать, что уроки репрессий со стороны властей в те времена вырабатывали осторожность. А еще помню выезды за город ежегодно на так называемую «маевку» целыми компаниями. На отведенных территориях прямо на земле расстилалась импровизированная скатерть, на которой раскладывались заранее приготовленные вкусные блюда и бутылки с напитками. Таких компаний располагалось вокруг множество. Там же звучали те же патефоны с теми же мелодиями, что и на домашних вечеринках.

Женщины носили короткие стрижки и удлиненные

юбки. Мужчина, на «маевку» надевали белые брюки и парусиновые туфли, которые подкрашивались зубным порошком, рубашки стиля «а-ля апаш».

Но была и другая сторона жизни — это забота о родственниках. Одна из двух сестер отца была многодетная и жила полубедно, и мама изо всех сил старалась им помочь. Это касалось организационных вопросов, связанных с лечением детей, устройством в детсад, в школу и т.д. В решении жизненных вопросов мама являлась авторитетом, и ни одно решение не принималось без ее участия. Мама была энергичная, волевая женщина, с хорошими организационными способностями. В то время, которое помню я, она работала в бакинском почтамте и занимала должность самого основного руководителя после директора почтамта. Вся административная работа этой огромной организации лежала на ее женских плечах. А еще на ней лежала забота о своих родителях, братьях и сестрах, которых она буквально вытащила из далекой Белоруссии, города Витебска, в Баку, но об этом несколько позже.

ОТЕЦ

Отец — Михаил Евсеевич (Сеин бен Ихиил, такое имя ему было дано при рождении) — работал в Научно-исследовательском нефтяном институте АзНИИ начальником планово-экономического отдела. Работал много и приезжал домой поздно, очень часто на служебной машине, что придавало мне чувство гордости перед моими сверстниками. К своему положению он шел довольно успешно.

Папа родился в «Еврейской слободе» города Кубы в Азербайджане в 1903 году. Это место компактного проживания горских евреев. У папы была бедная батраческая многодетная семья, рано потерявшая кормильца, и все заботы о семье взяли на себя мой отец и его старший брат. В революцию, спасаясь от разрухи и голода, вся семья бежала в Туркмению, в Ашхабад. Там отец зарабатывал какие-то деньги, продавая газеты. Возвратились они в Баку, где советская власть предоставила возможность получать бесплатное

образование. Отец поступил на учебу на «рабфак», успешно его закончил и устроился на работу управдомом в престижном районе города Баку, недалеко от Горьковского Совета. Это дало ему возможность получить квартиру на Буйнакской улице, где я прожил всю мою бакинскую жизнь. Затем он был принят на экономический факультет в Азербайджанский нефтяной институт, там он проучился несколько лет, но поддался соблазну большого спроса на специалистов. Он получил престижную работу экономиста в АзНИИ, в Черном городе. Там он быстро освоился и стал руководить отделом. Решение оставить учебу в институте было стимулировано еще и женитьбой. Как рассказывала мама, папу в семейной жизни не устраивал статус студента, он, как настоящий кавказец, не мог оставаться на иждивенческих ролях. В этом научно-исследовательском институте отец проработал вплоть до начала Второй мировой войны, когда был призван в армию.

МАТЬ

Берта Ефимовна Бескина (при рождении записанная как Бася Хаимовна) родилась в 1904 году в Витебске. Окончила женскую гимназию. Родители владели небольшим магазином, где продавались обои в странном сочетании с папиросами. Этих денег с трудом хватало, чтобы дать детям образование и одного из сыновей подготовить к поступлению в вуз. Это был старший сын Зиновий, который окончил механический факультет Муромского технологического института. Потом он работал главным механиком московского завода «Шарикоподшипник», затем главным механиком Научно-исследовательского института кинематографии.

После окончания гимназии мама поступила на работу на почту, где сидела за окошком и принимала и выдавала корреспонденцию. Среди частых посетителей был и знаменитый художник Иегуда Пэн. Однажды Пэн пригласил маму в свою мастерскую и написал мамин портрет, находя ее облик выразительным. Портрет остался у художника, а мама получила в утешение карандашный портрет, который долго

хранился в семье, но потом, при больших перемещениях семьи, к сожалению, исчез. Мама была также связана дружбой со своими двоюродными братьями со стороны отца, Бескиными, профессиональными художниками, которые принадлежали к известной витебской художественной группе «ЮНОВИС». Один из них, Осип Бескин, стал известным теоретиком живописи и был приглашен Луначарским на должность начальника отдела изобразительного искусства Наркомата просвещения РСФСР. К великому сожалению, Луначарскому принадлежат также проект и решение ликвидировать в стране в 1934 году все художественные объединения и создан единый Союз художников. Тем самым вся художественная жизнь была подчинена идеологическому контролю государства.

Родня со стороны матери выдвинула и других незаурядных людей. Один из двоюродных братьев Бетеровых был врачом — терапевтом, профессором клиники, обслуживающей правительство. Он был абсолютно засекречен и для родственников недоступен.

Мамина двоюродная сестра Мария Львовна Бетерова, в замужестве Крымская, была известным специалистом, высокообразованным человеком широких знаний, доктором медицинских наук, профессором. Долгое время до ухода на пенсию возглавляла отделение эндокринологии во Всесоюзном институте акушерства и гинекологии. Мария Львовна была очень близка к нашей семье.

С наступлением советского режима в Витебске изменились порядки распределения должностей в государственных организациях, в том числе и в почтовых. Занимать какую-либо должность в учреждении можно было только членам профсоюза. В профсоюз не принимали людей, принадлежавших к семьям, владевшим частной собственностью. Мама с работы была уволена. Она списалась со своей родственницей, жившей в Баку, которая описала довольно благополучную бакинскую жизнь: круглый год тепло, не нужно иметь зимнюю одежду, много фруктов и овощей и приветливых и милых людей, и, самое главное, в этом быстро развивающемся городе нефтяной индустрии легко получить работу. Молодая девушка одна уехала из Витебска в

незнакомый ей город Баку. Поселилась она у этой же родственницы, которую звали Мамаша. Ее настоящее имя никогда не называлось, поэтому я запомнил это ласковое имя, сыгравшее огромную роль в судьбе моей мамы. Мама быстро обзавелась друзьями, которые помогли ей найти работу на Главпочтамте, где она быстро сделала карьеру. Вскоре она встретила своего суженого, и они поженились. В характере мамы всегда была забота о ближних. Мама понимала, что Баку явится для всей семьи наиболее благополучным местом для постоянного проживания, и постепенно она вызвала своих родителей, а затем братьев и сестер в этот город который стал местом оседлости всей семьи.

Рано уходить с работы маме не всегда удавалось, и это было, как я уже говорил, причиной моих детских страданий.

Папа был начальником планового отдела АзНИИ. Эта работа была из категории «допоздна», что было естественным атрибутом человека, занимавшего хоть какое-то ответственное положение.

ШКОЛА

Наступила школьная пора. Отлично помню первый торжественный день. Собрали нас во дворе 132-й школы, на Коммунистической улице. Одет я был почему-то экзотичнее других. Украинская косоворотка с вышивкой на вороте. Рубашка была навывпуск и подпоясана шелковым толстым шнуром с кистями. Школьной формы тогда еще не было. Впечатление на сверстников, видимо, я производил странное, и с первых же дней у меня появились трудности с общением. Как говорят — с самого начала школьная жизнь не задалась.

Первая учительница, Елизавета Филипповна, стройная, высокая женщина, в ярком одеянии, приняла нас из рук родителей и отвела в класс. Она отличалась некоторой претензией на модницу, была строга и несколько надменна. Недавно, через очень много лет, когда мне случайно довелось поговорить по телефону с одноклассницей, которая сейчас

живет в Канаде, я понял, что, возможно, мои воспоминания о первой учительнице были искажены состоянием посредственного ученика. Домашние задания я выполнять не любил, на уроках не мог сконцентрировать свое внимание. Сидя на уроках, больше думал об улице. Родители особое внимание уделять мне не могли, а мои неудачи кончались отцовской лужкой ремнем для правки бритвы, который висел на косяке двери. Три года начальной школы прошли без взаимных симпатий с Елизаветой Филипповной.

КОНЦЕРТ ДЛЯ СКРИПКИ, ТОЖЕ С РЕМНЕМ

Наш двухэтажный каменный дом на Буйнакской улице располагался буквой «П». Мы жили на втором этаже, где были заселены семьи среднего класса. Помимо деревянной лестницы, которая вела во двор, был еще и парадный подъезд, что нас социально отличало от жильцов нижнего этажа, где жили семьи с меньшим достатком. Типичный бакинский дом был обустроен деревянной площадкой, обращенной во внутрь дома, объединяющей все квартиры второго этажа.

В одной из квартир жил скрипач Петр Иванович Протасов. Каждое утро можно было слышать одни и те же упражнения, извлекаемые из скрипки. Он был очень представительный: высокий, полный, всегда опрятный. Между подбородком и скрипкой всегда закладывал накрахмаленную белую салфетку. Он был концертмейстером симфонического оркестра Бакинской филармонии. Всегда был внимателен ко мне, оценил мой совершенный музыкальный слух и настоял, чтобы родители отдали меня в музыкальную школу учиться игре на скрипке. Он утверждал, что из меня получится выдающийся музыкант. Я его мнение не разделял, потому что занятия на скрипке отнимали у меня, дополнительно к школьным, часы дворового времяпрепровождения. Кроме того, футляр скрипки напоминал маленький гробик, и я испытывал стыд, когда проходил сквозь дворовый кортеж детей, за свой неадекватный вид. У меня было ущербное состояние маменькиного сынка, что не поощрялось в нашей мальчишеской среде. Мучительная учеба на

скрипке, сопровождавшаяся наказаниями за лень ремнем, длилась два года.

Родители не выдержали моего сопротивления, и эту учебу я бросил.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Летний отдых был особой составной частью жизни нашей семьи. К нему готовились в течение всего предшествовавшего года. Собирались мнения друзей и знакомых, соизмерялись финансовые возможности. Самым престижным проведением летнего отпуска для бакинцев считалась поездка в комплекс городов Минеральных вод, Эссентуки, Железноводск, особенно Кисловодск. В Кисловодске климат был умеренный, мягкий и теплый, не с такой обжигающей летней температурой, как в Баку. Риск испортить отдых плохой погодой был минимальный. Говорили, что там 300 солнечных дней в году. Важным объектом курорта был Городской парк, весь утопающий в зелени. Минеральный источник находился в нарзанной галерее. Там в огромном круглом застекленном павильоне в углублении стояли девушки в ослепительно белых халатах и по просьбе отдыхающих выдавали им стаканы с горячим или холодным нарзаном. От нарзанной галереи вверх по парку вела центральная аллея. Днем по ней ходила публика с наполненными нарзаном стаканами со стеклянными трубочками, через которые вытягивалось содержимое. Трубочки, подобные Straw (соломинка), которые используются в Америке. Отдыхающие с большим достатком покупали белые кувшинчики с объемом стакана с надписью золотом: «Привет из Кисловодска». Сбоку имелся сосок для высасывания нарзана. Эти кувшинчики рядом с семью мраморными слониками можно было видеть в квартирах определенной категории семей. Эти неизменные атрибуты благополучия устанавливались либо на крышке пианино, или в стеклянных горках и квалифицировались как талисманы — «На счастье». Нарзан выпивался медленно в процессе движения отдыхающего по терренкуру. Вечером по центральной алее фланировали модно одетые молодые

женщины, шеголеватые молодые парни и добропорядочные интеллигенты. Принадлежать хоть на сезон этому слою общества доставляло более низким слоям с амбициями моральное удовлетворение. В летнем парке театра давались концерты самых лучших симфонических оркестров и эстрадных коллективов страны. В общем, это был самый популярный для бакинцев курорт. Мы с родителями провели там несколько сезонов отдыха.

Запомнились мне и поездки на отдых в станицы Северного Кавказа. Например, станица Котляревская. Только помню там дома — мазанки, глиняные полы и удушающая жара, пыль и мухи. Главное достоинство такого курорта были свежие молочные вкусные продукты и фрукты. Помню, из этих поездок родители привозили чемодан с куриными яйцами, переложенными соломой. После возвращения с «курорта» месилось тесто, туда внедрялись привезенные яйца и из тонких лепешек нарезалась лапша, которую сушили, рассыпав на обеденном столе. В течение зимы лапшой заправлялись бульоны.

Эти поездки занимали только один месяц жаркого, знойного бакинского лета. Остальное время я проводил в пионерских лагерях. Об одном из таких лагерей я написал в одном из стихотворений — «Загульбинское детство», помещенных в этой книге.

ШКОЛА № 6

В четвертом классе я и мои одноклассники почувствовали себя уже взрослыми мальчиками. Появились новые учебные предметы, которые вели разные учителя. Интерес к учебе несколько повысился. В это время появилось решение о раздельном обучении мальчиков и девочек. Нас, мальчиков, перевели из 132-й школы в 6-ю. Школа была престижная, и в ней учились дети многих высокопоставленных родителей. Главной «козырной картой» был сын генсека республики Мирджафара Багирова.

Школа была еще знаменита учителем военного дела и физрука Юрфельда. Казалось, что вся дисциплина школы

держалась на нем и он был в школе везде и всегда. Впечатление было таково, что он вообще не уходил из школы домой.

Один эпизод, связанный с Юрфельдом, коснулся и меня. Было время начала Второй мировой войны. Преступность в городе была высокой. Квартирные кражи были частым явлением. Количество замков на дверях жильцов умножалось пропорционально кражам. Не избежали участи защититься замками от кражи и мои родители. Приходилось носить с собой целую связку ключей. Однажды, забравшись на крышу школы, чтобы втайне с друзьями выкурить папиросу, мы были, как преступники, пойманы Юрфельдом. Обнаруженная связка ключей вызвала у Юрфельда подозрение, что это связка отмычек для осуществления квартирных краж. Юрфельд запер меня в пустой школьной комнате и вызвал представителя милиции для расследования. Процесс длился до самого вечера. Кто-то из моих одноклассников сообщил родителям о происшедшем, и вечером отец явился в школу. Он продемонстрировал свою связку ключей, и я был освобожден на его поруки. Мне в очередной раз влетело за курение.

Этот эпизод переполнил чашу накопленных обид на школу, родителей. Я решил реализовать свои патриотические чувства, помноженные на обиду за состояние безнадежного ребенка, и задумал бежать на фронт защищать страну, где я мог бы доказать свою состоятельность и героизм. Это была вторая попытка. Первая ранее окончилась неудачей, связанной с предательством товарища по двору, который рассказал о моем замысле родителям, и отец, отлупив меня, вызвал во мне еще большую на себя обиду. Но об этом — чуть позже.

СОСЕДИ

Порой трудно себе представить, какое тяжелое время пришлось на мое детство, юношество, да и самый зрелый период жизни. Мы, дети, мало что понимали. Светлая идея — «строительство коммунизма» уже в те годы была фарсом и

циничной химерой. Вместе с тем страх граждан перед государством, которое призвано защищать их права, затаился в углах большинства домов и душах населения Союза Советских Социалистических Республик. Уместно вспомнить слова А.Ахматовой, которая писала: «Человек, расстреляв очередную партию приговоренных, вернется с этой «работы» домой и будет с женой собираться в театр». Мы были свидетелями событий, которые предназначались не для людей, а для неких существ, им подобных. И это не удивительно, ведь не зря говорят, что человек может перенести все благодаря тому, что память не связана с физической болью и способна отступать. Самая ранняя встреча с несправедливостью в годы репрессий случилась у меня прямо там, где я жил.

Наша квартира состояла из двух комнат: гостиной и спальни. Когда-то большая четырехкомнатная квартира была поделена на две двухкомнатные. В одной из них жили мы, в другой соседи, Озеровы. Прихожая была разделена тонкой, фанерной перегородкой. Прихожая служила также и кухней. Там же был водопроводный кран, где мыли посуду и умывались. Здесь же завтракали, обедали и ужинали.

Гостей родители принимали и кормили в гостиной, где стоял старинный раздвижной стол на колесиках, с пухлыми точеными ножками. В прихожей готовился обед. Каждая комната имела смежную дверь с соседями.

В соседской квартире справа от нас жила пожилая пара. Супруг, дядя Саша — так я его называл, маленького роста, очень старомодный человек, носил жилет, в котором на толстой серебряной цепи крепились карманные часы. Он казался мне точным олицетворением дореволюционного времени. По специальности он был бухгалтер. Помню, у него было много линованных бухгалтерских книг, отличающихся толстой, желтоватой, качественной бумагой. Линованные страницы заполняли слова с буквой ять.

Их дочь Зоя была замужем за крупным партийным работником Вячеславом Кадышевым. Жили они в районе Арменикенда, так назывался вновь построенный район города, отличавшийся массивом домов конструктивистской архитектуры. Вячеслав Кадышев в то время занимал высокое положение. Он был главным редактором центральной

партийной газеты Азербайджана «Бакинский рабочий». Их сын Вова, мой ровесник, практически все время находился у бабушки с дедушкой — наших соседей. Мы проводили очень много времени вместе. Так что семью я знал очень хорошо. Часто его родители брали меня с собой к себе в район Арменикенда, а иногда мы проводили время у друзей Вовиных родителей, в доме известного в Баку педиатра, доктора Александра Бернардовича Льва. Об этой семье я расскажу подробнее позже.

В один из дней, мне и Вове было тогда лет по 8–9, нам сообщили, что Вячеслава Кадышева арестовали. Из шикарной квартиры их выселили, всю мебель конфисковали. Мать Вовы Зоя с сыном переехали к бабушке в наш дом, и общение с Вовой стало «неразлейвода».

Аресты в это время были частыми, и каждая семья прислушивалась по ночам, не нагрянут ли к ним гости из ГПУ. Арестовывали только ночью, чтобы не вызывать у населения паники. На наших глазах увозили в неизвестность родителей наших сверстников, но дома об этом говорили шепотом. Тогда на обложках учебных тетрадей печатали графические портреты государственных деятелей, героев революции. С очередным сообщением об аресте кого-то из них, мы тщательно замарывали их портреты, а порой, используя свое бдительное воображение, находили какие-то таинственные, зашифрованные знаки, говорившие о принадлежности этих персон к врагам. В стране была настоящая истерия борьбы с «врагами народа». Ночи были тревожными.

УЧУСЬ РИСОВАТЬ

По диагонали от нашей квартиры по нашей площадке жила Клара Семеновна Афонина, дебелая, брюлловского образа блондинка. Большое окно ее галереи выходило на площадку, и в летние вечера она располагалась, как в картинной раме, в своем окне, являя из себя неплохой художественный портрет. В волосах зачастую у нее красовался живой цветок, сорванный с куста олеандра, который рос

в конце общей площадки. Она была похожа на поздравительную альбомную открытку и своей живописностью привлекала к себе внимание. Ее внешность соответствовала ее профессии. Она была профессиональной художницей по тканям, и через открытое окно можно было часто видеть ее, занимающуюся рисунком. Она привлекала к себе внимание не только внешностью, но и своим добродушием и любила нам с Вовой Кадышевым рассказывать всякие истории из прочитанных ею книг, и в частности об искусстве.

Я проявлял интерес к ее рисункам, и так завязался мой интерес к рисованию. Она рассказывала мне о перспективе, об объеме, учила строить композицию и накладывать тени. Позже мы перешли на акварель и гуашь. Мне многие вещи удавались с трудом, но фундаментальную школу рисунка я прошел у нее. При всей моей слабой учебе в школе предмет рисования был для меня любимым, и единственную оценку «5» я имел по рисованию. Мой низкий поклон давно ушедшей из жизни этой женщине, заложившей фундамент моей любви к искусству.

ВОЙНА

Началась Вторая мировая война. Я хорошо ее помню и, можно сказать, был реальным участником событий того времени. Хотя развернувшиеся военные действия были далеко от нас, мы как-то сразу ощутили большие перемены в быту и в атмосфере взаимоотношений между людьми. Для нас, мальчишек, это была игра, и мы не задумывались над тем, чем эта трагедия могла бы обернуться. Мы наблюдали, как уходили на фронт отцы, старшие родственники, близкие соседи. Матери погибших, получив похоронку, сотрясали воздух горестными воплями, разносившимися по всему двору.

Голод, продовольственные карточки, номера в очереди, записываемые химическим карандашом на ладони, перелицованная старая одежда, которую искусные портные превращали в новую, и многое другое становилось нормой жизни, пока не въехали во времена американской помощи,

получая продукты и одежду в качестве подарков. Теперь в России об этих подарках не любят вспоминать. «Ленд-лиз» завалил страну всем жизненно необходимым. Мы, живые свидетели этой помощи, можем уверенно сказать, что без нее страна вряд ли бы выжила.

Отца, как тогда говорили, мобилизовали. Уже через пару месяцев мы получили сообщение, что, еще не доезжая до фронтовой зоны, его контузило при авиационном налете, и его отправили в распоряжение бакинского военкомата. Теперь он уже был годен только к нестроевой службе. Он был направлен в военизированную охрану нефтяных объектов (ВОХР). Это была огромная структура по охране промыслов и нефтеперерабатывающих заводов Азербайджана и всей Средней Азии. Отец командовал одним из подразделений, штаб которого находился в одном из районов, примыкающих к городу Баку. Время было голодное. На его территории находился виноградник, и отец брал меня к себе в часть, где я пасся, заедая виноград чуреком. Там же отец научил меня ездить верхом на лошади. Так что какую-то пользу из его службы я извлек. Отец очень быстро поднялся по иерархической лестнице и стал заместителем начальника ВОХРа. Должность была очень ответственная и утверждалась на Президиуме ЦК партии. Звания служащим охраны не присваивались, но зарплата приравнивалась к генеральской. Военная форма была в полном соответствии с действующими армейскими нормами, включая пистолет. Вспоминается курьезный случай, который, к счастью, благополучно закончился. Штаб ВОХРа, где работал отец, находился в здании Азнефти, в конце улицы Чкалова. Отец ходил на работу пешком. Путь его пролегал мимо дома, где жил первый секретарь ЦК партии Азербайджана Мирджафар Багиров. Однажды к нему подошли люди из охраны Багирова, задержали и отвели в специальное помещение, где потребовали документы, разрешающие ношение оружия. Видимо, у них возникло подозрение о покушении на Багирова, а те документы, которые предъявил отец, оказались недостаточно убедительными, чтобы ходить с оружием вблизи дома партийного хозяина республики. Подключился начальник отца. Разбирательство длилось до следующего

утра. Нам с мамой досталось много волнений. Больше отец пистолет не носил. Вскоре он занял место начальника ВОХ-Ра и после реорганизации этой структуры демобилизовался и ушел на производство. Мама продолжала работать на почте и всегда занимала руководящие посты.

ТЕТЯ ТОНЯ

Тетя Тоня со своей семьей жила по соседству с нами, дверь в дверь, с противоположной стороны от Озеровых. Наша с ними общая прихожая также была разделена фанерной перегородкой. Тетя Тоня заботилась обо мне как о своем сыне: кормила меня, шила для меня одежду. Была очень доброй души человек. Вся ее семья была очень близка мне, и я считал тетю Тоню своей второй матерью.

Я не могу не рассказать о ее семье. Она рано потеряла мужа Дмитрия Павловича Павлова, судового механика, и подрабатывая шитьем, одна воспитывала четверых детей, которые были старше меня. С одним из них, Борисом я дружил больше, чем с остальными. Он ушел на фронт с первых дней войны. Борис был членом авиаклуба, летал на спортивных самолетах, а в действующей армии летал на истребителе. Первый шок потери близкого мне человека я испытал, когда тетя Тоня получила извещение о гибели Бориса. У меня до сих пор в памяти этот жуткий крик со словами: «Убили! Убили!».

Тетя Тоня долго не могла прийти в себя, и вдруг — вторая потеря. Дочь Людмила служила радисткой на военном судне на Дальневосточном флоте. Такой же крик сокрушил стены нашего дома. Судно было потоплено вражеской бомбой, и вся команда корабля погибла. Сколько нужно было иметь внутренних сил, чтобы пережить эту трагедию...

Дочь Валентина жила с ней, а младший сын Володя вернулся с фронта с тяжелым ранением, лежал в Баку в госпитале, и мы с тетей Тоней навещали его. К счастью, вскоре пришло выздоровление, Володя получил юридическое образование и переехал в Ленинград, где получил место народного судьи. Мои родители материально, на-

сколько это было возможно в военное время, поддерживали эту семью.

Летом тетя Тоня брала меня с собой в г. Хасавюрт, где жили ее братья и сестры, и я иногда проводил там летние каникулы. За фундаментальными покупками мы ездили на поезде с тетей Тоней в город Моздок. Этот город оказался в дальнейшем местом моих опасных приключений.

НА ФРОНТ

В один из зимних дней, вскоре после неприятного эпизода с Юрфельдом на крыше школы, ведомый обидой на родителей и наделенный патриотическим чувством и романтическими грезами, тайком от друзей и родных я оказался на вокзале. Мысль была одна: попасть на фронт и стать сыном полка. Таких примеров было множество, и я знал о них.

Я пробрался зайцем в вагон поезда, который шел в Махачкалу. Вагоны во время войны были общими и заполнялись до предела. На нижних полках сидя располагались пассажиры. На второй полке можно было лежать. Была еще третья полка, где складывался багаж, но там тоже кто-то лежал. Мне нужно было быть подальше от глаз проводников и контролеров, и я забрался под нижнюю полку. Добрался до Махачкалы без приключений. Мне было известно, что бои идут вблизи города Моздока, где я бывал ранее с тетей Тоней.

Поезд из Баку прибыл на перрон Махачкалы. Здесь формировались железнодорожные составы с подкреплением фронту. Сюда же прибывали санитарные составы с ранеными и беженцами из прифронтовых районов Северного Кавказа. Здание вокзала было заполнено пассажирами с детьми, узлами, мешками. Приютиться было негде, да и желудок требовал пищи.

Я не ел почти целые сутки. Моя решимость попасть скорее в какие-нибудь армейские части теперь обусловлена была и тем, что там накормят и согреют. Морозный воздух и голод подталкивали меня принимать быстрое решение. На платформе стоял полупассажирский состав, где наряду с товарными вагонами было несколько пассажирских. Я вы-

яснил, что поезд следует в направлении Моздока. Пассажиры беспорядочно скапливались у открытых дверей, где предъявлялись билеты и пропуска в зону назначения. Все это проверялось проводником и человеком в военной форме...

Проникнуть в вагон без билетов и документов было невозможно. Я пытался рассказать придуманную историю, что был эвакуирован со школой, а родители остались на станции Червленная и что я знаю, где их найти. Уговоры не помогли. Я метался от одного вагона к другому, пока состав не тронулся с места. Пристроившись на ступеньках перед запертой дверью вагона, я надеялся, что меня впустят в вагон в пути. Одет я был тепло. Я обвязал одну руку, примерзающую к поручню, шерстяным шарфом, который, к счастью, был достаточно длинным, другой рукой периодически стучал по двери. Проехал я в таком состоянии довольно долго. Вдруг дверь открылась, и пожилой человек втащил меня в тамбур вагона. К счастью, это был пассажир, а не служитель. С жалостью в глазах он провел меня в один из переполненных пассажирами отсеков вагона, где его попутчики стали расспрашивать о моем «путешествии». Эти добрые люди дали мне какую-то еду и кружку с горячей водой. Пришлось рассказать придуманную легенду, и меня отправили на третью полку для вещей, где я быстро уснул.

МОЗДОК

Поезд остановился, не доехав до станционной платформы. Кругом сновали патрули и проверяли документы у приезжих. На меня никто внимания не обратил, и я проскользнул в здание вокзала. Передо мной стояла главная задача: как оказаться в воинской части. Я выискивал человека, с кем можно было поделиться сокровенными желаниями. Такой, на мой взгляд, человек сидел на скамейке в военной форме, прислонив к себе костыли. Я обратился к нему со словами: «Товарищ военный!» Вначале я увидел в его глазах подозрительное внимание, но, получив мои разъяснения, он тут же, подбрав, дал мне исчерпывающий совет: «Иди в военную комендатуру здесь же на вокзале».

Я не знал, что Верховным Главнокомандующим страны издан приказ по всем военным подразделениям: «Детей в свой состав не принимать и возвращать домой к родителям». Это было вызвано массовым бегством на фронт большого количества детей.

Я разыскал комендатуру и доверчиво обратился с вопросом к дневальному, как тогда называли дежурного у входа, где можно записаться на службу в армию. Через несколько минут я сидел перед офицером, сообщая все свои персональные данные. Я был уверен, что начался процесс зачисления меня в солдаты. Все было очень просто. В одной из комнат, куда меня отвел офицер, находилось несколько моего возраста ребят, ожидавших какого-то решения. Все были уверены, что они уже наполовину советские воины. Через некоторое время нас повели в солдатскую столовую, которая находилась в нескольких сотнях метров от вокзала. По пути я обратил внимание, что во всех одноэтажных домах прорублены прямоугольные амбразуры. Город явно готовился к обороне, и я уже примерял себя на роль защитника, стреляющего через этот проем.

Нас покормили и привели в то же помещение комендатуры. Вечером солдат, сопровождая нас, посадил в вагон поезда, и мы узнали, что нас отправляют под конвоем обратно домой. Слезы досады стекали по щекам. Такой сложный, тяжелый путь, рискуя жизнью, я проделал, и так глупо закончилась эта история. Поезд ночью остановился в Хасавьюрте. Знакомая станция и почти родные люди, живущие там. Я вышел из вагона и, дождавшись, когда поезд тронулся, направился прямо к будке стрелочника. Там в свою смену обычно дежурил брат тети Тони Василий. К счастью, оказалась его смена, и он, увидев меня, перекрестился от испуга. Я просидел у него до конца смены, и затем мы отправились к нему домой. Дом находился недалеко от железнодорожного полотна. В доме меня хорошо знали. Приняли как родного. Через день вдруг на пороге дома появился мой отец, неловко выпалив, что наказывать меня не будет. Просто мы с ним вместе отправимся домой в Баку. Там мама проплакала все слезы и ждет меня. Оказывается, Василию во время дежурства удалось тайком от меня по железнодорожному те-

леграфу отправить сестре Тоне, нашей соседке, телеграмму о моем появлении в Хасавьюрте. Об этом тут же стало известно родителям, и отец экстренно выехал за мной.

Когда я вошел в квартиру, увидел заплаканную маму, кого-то из моих друзей (помню только Рахиль) и кого-то из маминых сестер. Угрызение совести от боли, которую я причинил маме, не проходило никогда, и до сих пор я корю себя за этот жестокий поступок.

ОСТРОВОК СВОБОДЫ

Возвращаясь в Баку военных лет, вспоминаю, как город стал перевалочным пунктом для беженцев, которые, проехав через Кавказ, перебирались на паромах и пароходах в Среднюю Азию. Многим нравился наш многонациональный Баку, где прожить было легче, чем в Средней России и Зауралье. Одна такая еврейская семья, бежавшая из Одессы, с типично украинской фамилией Криворучко, осталась в Баку и поселилась на одной из примыкающих к Бакинскому городскому совету (Баксовету) улочек.

Отец семейства, профессиональный учитель, мужчина атлетического телосложения, в очках с толстыми линзами, был хорошо образован и воспитывал в сыне Изе стремление общаться с большим кругом друзей.

Главное условие для общения было — собирать молодежь у себя дома. Места для общения хватало. Квартира располагалась на первом этаже. В доме почти не было мебели, но были книги и дух доброжелательности. Этому также способствовала мама, крупная женщина, бесконечно угощавшая друзей Изи всякими состряпанными ею яствами.

Родители, несмотря на почтенный возраст, были равноправными участниками общения, и с ними было всегда интересно. Время было тяжелое, но в этом доме, как на маленьком островке свободы и веселья, порой звучали робкие слова протеста и возмущения существующим строем. Через дом проходило очень большое количество молодежи, и, конечно, был риск, что кто-то мог настучать и это могло кончиться катастрофой. Но Б-г милывал. Все ребята наделены

были вольнодумием и тяготели к интеллектуальному общению. Девушки же, в основном студентки Бакинской консерватории, соответствовали этим интересам к искусству, и это создавало очень хорошую атмосферу. Пишущий эти строки попал в эту компанию неведомыми путями и провел там, пожалуй, один из интереснейших отрезков своей молодости.

СЕНСАЦИЯ

Одним из постоянных участников наших сборов в этом доме был Матвей Давыдов. Помню его робким юношей, небольшого роста, в морской форме, хорошо танцующим, тихо говорящим, скромным, никогда не отличавшимся какими-либо иными яркими качествами. Но как-то он выделялся на фоне других участников наших сборищ.

И вот прошло много лет. Криворучки вернулись в Одессу, я оказался в Москве. Тогда мы жадно и регулярно слушали по радио «Голос Америки» и «Свободную Европу». В одном из сообщений говорилось, что Матвей Давыдов сбежал с парохода в Скандинавии, попросил политическое убежище. Это был настоящий шок. Я не верил своим ушам. Мне казалось тогда, что на такой подвиг мог решиться только человек каких-то выдающихся качеств, отчаянный герой, с какой-то необыкновенной внешностью, но наш скромный, щупленький с тихим голосом Матвей?! Мне не верилось, что это он. Вскоре друзья из Баку подтвердили, что Матвей сбежал!

И вот, через много лет, уже находясь в Нью-Йорке, я получаю информацию от своего кузена Ильи Евдаева, что он познакомился в Иерусалиме с неким Марком Давидором, выходцем из Баку, и что фамилия Евдаев напомнила ему о товарище молодости Норике Евдаеве. Имя Марк Давидор мне ничего не говорило.

Я живу в Америке, занимаюсь общественной деятельностью. Однажды меня пригласили в Тель-Авив на форум Азербайджан–Израиль. Там мой Илья, который тоже был делегатом форума, свел меня с Марком Давидором. Конечно, это был тот самый «скромный» парень Матвей Давыдов. Узнать его было нелегко, но какие-то черты лица сохранились. Мы

бросились друг к другу в объятия. Мы не виделись более 60 лет. Трудно передать накал эмоций и нахлынувших воспоминаний, посетивший нас. На форуме была создана Азербайджано-Израильская ассоциация, атмосфера была наполнена дружелюбием и взаимопониманием двух народов. Матвей, будучи делегатом форума, был переполнен искренним пафосом добрых воспоминаний об Азербайджане, о славном городе Баку и о нашей юношеской компании.

Нам уже было не до форума. Мы уединились и отдались воспоминаниям того замечательного времени, которое калейдоскопом проходило перед нами. Марк подарил мне автобиографический роман «Жизнь и приключения Матвея Давыдова», в котором он описал историю двух поколений его семьи и эту трагическую сагу: как еврея, не члену партии, не обремененному тогда семьей, в 1961 году удалось выехать за границу, отстать от туристической группы, стать беглецом в Швеции, чтобы добраться до Израиля. Историю побега он рассказал мне вкратце, а позже в Нью-Йорке я буквально с жадностью проглотил его книгу. Из книги я узнал, что судьбы наших родителей на заре знакомства и женитьбы складывались почти тождественно и экзотично, а для меня, пожалуй, мистически и невероятно. Его отец родился в Азербайджане, в Кусарах, в горско-еврейской семье и юношей уехал в Баку учиться. Его мама родилась под Витебском, в еврейском местечке Лукомель. В первые годы советской власти она приехала в Баку, здесь она встретила его отца, и они поженились. Мой отец родился в Азербайджане, в селении «Еврейская слобода», недалеко от Кусаров, приехал в Баку, где получал образование. Моя мама родилась в г. Витебске, приехала в Баку в первые годы советской власти и вышла замуж за отца.

Как относиться к таким совпадениям — не знаю. В моей жизни это не единственный мистический случай. О другом я расскажу позже.

Когда Матвей бежал в Стокгольме, он сдался полиции. Советское посольство тут же потребовало встречи с ним. Приехал советский консул и стал уговаривать его вернуться. Вернуться Матвей отказался, и через несколько дней поступило требование из МИД СССР вернуть его, объявив

психически ненормальным. Чтобы обоснованно отказать советскому правительству, шведы провели, с согласия Матвея, психиатрическую экспертизу, которая признала его полностью адекватным и здоровым. После этого он получил политическое убежище. При первой возможности Матвей репатриировался в Израиль. Это было в 1974 году.

К сожалению, времени для общения было очень мало, и мы расстались с Матвеем с надеждой встретиться в будущем и восстановить в памяти наши замечательные дни, проведенные в молодости.

Забегая вперед, уместно рассказать, что в 2008 году я пригласил его в качестве моего личного гостя на вечер, посвященный празднованию 60-летия Государства Израиль в Нью-Йорке. Вечер был организован горско-еврейской общиной США. Матвей по моей просьбе выступил на вечере с рассказом об этой необыкновенной истории. Этот рассказ был очень к месту и времени к проходившему событию. Собравшиеся долго аплодировали герою, пробившему огромное количество преград, чтобы в результате оказаться в Израиле.

МУЗЫКА

Мамина семья, в отличие от папиной, была очень музыкальная. Центром общения маминой семьи был наш дом, куда приходили, особенно на праздники, мои дедушка с бабушкой, две мамины сестры и брат, некоторые с семьями. Дома устраивались застолья, и вся семья, уютно располагаясь в большой комнате, любила петь песни, привезенные еще с собой из родного города Витебска, где они провели детство. Младшая мамина сестра, Соня, аккомпанировала на гитаре. Этот музыкальный инструмент вызывал у меня сильное желание научиться играть на нем, что вскоре и произошло. Азы музыкальной грамоты я получил еще в музыкальной школе, где проучился 2 года игре на скрипке, а любовь к песням — в семье, которые постоянно слушал у себя в доме. Однажды я оказался в компании ребят, которые уже довольно прилично музицировали, создав миниатюрный

струнный оркестр. Наиболее старший из них, Гаврик Вайнбаум, был необыкновенно музыкален, виртуозно играл на мандолине.

Он и был самым талантливым, тонким и лиричным музыкантом. Любил классику и легкую музыку, незатронутую джазовыми гармониями и синкопами. Он ее не воспринимал. Это нас часто разделяло. Ушел он из жизни рано, но у меня навсегда осталось чувство благодарности к тому, что он приобщил меня серьезно заняться музыкой и чувствовать партнера при игре в ансамбле.

Жил он с братом и родителями на расстоянии двух кварталов от меня. Гаврик был спортивно сложен, уже успел поработать матросом на судне и имел стаж бывалого моряка, блестяще играл на мандолине и знал ноты. Музыкальное образование в то время не имел, но природный талант вывел его на профессиональное музыкальное мастерство. Я помню, как он заслуженно гордился, что был приглашен в оркестр Бакинского оперного театра на исполнение какого-то сольного отрывка на мандолине для классической оперы. Уже в солидном возрасте Гаврик окончил консерваторию по классу контрабаса и играл в симфоническом оркестре Бакинской филармонии. Был у нас с ним общий приятель Жора Ледаков. Жора играл на гитаре и аккомпанировал Гаврику при исполнении им сольных произведений на мандолине, Толя Корякин — на домбре, также впоследствии окончил консерваторию по классу валторны и стал профессиональным музыкантом. Я все больше и больше вовлекался в эту интересную для меня жизнь и постепенно освоил азы в основном аккомпанемента на гитаре. Мне легко удавалось освоить грамоту уличного, блатного музыкального языка, выучить наизусть несколько блатных песен, и я оказался сильно востребованным (своим) парнем среди опасных криминальных ребят, которые жили в моей округе. Там впервые мне довелось попробовать курить анашу, что равносильно марихуане. К счастью, это длилось недолго, но авторитет среди этих уголовников я имел и был практически всегда под их покровительством. Ни в школе, ни на улице меня никто не мог обидеть, чему часто были подвержены ребята из интеллигентных семей, так называемые «маминкины сынки».

Играли мы на гитарах «цыганского» строя с семью струнами, и, когда появились в джазовой среде шестиструнные гитары, я уже понял, что отстал на целую эпоху.

Как только советские войска оказались в Европе, в Баку стали появляться трофейные вещи, которые привозили коммиссованные военнослужащие после ранений. В числе трофейных предметов привозили аккордеоны. Появившийся аккордеон у Гаврика вызвал у меня приступ зависти, и я уговорил родителей купить и мне аккордеон. Родители были рады моему увлечению, вскоре я стал обладателем этого красивого музыкального инструмента, которым увлекся всерьез и надолго. Тут же был нанят частный преподаватель, я стал осваивать музыкальную грамоту.

В то время я познакомился с Алтаем Мусаевым, другом моего однокурсника по техникуму Володи Калинина. Алтай уже был музыкантом и играл на саксофоне в джазовых коллективах. Узнав, что я играю на аккордеоне, он ввел меня в эти круги. Я познакомился с людьми, для которых джазовая культура выдвигалась на первый план. Баку был буквально заражен американской джазовой музыкой. Война кончилась. Радиоприемники, которые были изъяты у населения на время войны, были возвращены владельцам, и наиболее пытливая и приверженная к джазовой музыке молодежь ночами слушала передачи, посвященные джазу. Знаменитый знаток джаза Виллис Канонер по радиостанции «Голос Америки» знакомил нас с американской джазовой культурой. Тогда еще не было технических возможностей вести напрямую в Европу радиопередачи. Они транслировались через Индию. Радиостанция называлась «Нью-Дели». По ночам мы были буквально прикованы к радиоприемникам, слушали также радиостанцию «Би-Би-Си» из Лондона, где мне очень нравился постоянно заполнявший эфир оркестр Виктора Сильверста, который в своей обнаженно-доступной, чистой форме малым составом знакомил нас с классическими произведениями джазовой культуры. Мы также слушали и другие радиостанции, которые благоприятно влияли на наш музыкальный джазовый голод.

Знакомство с Алтаем переросло в дружбу. Ни один день не обходился без общения. Его полюбили мои родители, и

он был в нашем доме очень близким человеком. Такое же отношение было его родителей ко мне. Наша дружба придала нам большую уверенность в себе. Она поддерживалась доверием, совпадением мнений и вкусов.

Алтай поступил на биологический факультет Бакинского университета, и, когда там был создан джазовый музыкальный коллектив, он вошел туда солистом. Он играл на саксофоне, инструменте, который привлекал внимание молодежи своей формой, блеском и певучим тембром, органично вписываясь, а иногда являясь основой исполнения джазовых произведений. Алтай был красивым юношей, и его черная шевелюра, сверкающая блеском бриолина, совпадала с образами героев американских фильмов. Когда он извлекал звуки из этого красивого инструмента, он поражал своей особой прогрессивную молодежь города, особенно девушек. Руководил университетским эстрадным оркестром Мехти Меджидов. Он был одаренный музыкант высокого класса и извлекал из своей старомодной с педальными клавишами трубы очень мягкий лирический звук. Высокий пик его творчества приходился на работу в первом государственном оркестре Азербайджана, которым руководил композитор Тофик Кулиев, и некоторое время в Москве, в оркестре Олега Лундстрема. Он имел организационную жилку и умел собирать музыкальные коллективы, расписывать партии для каждого музыканта и, главное (как принято было тогда говорить), находить халтуру. Алтай познакомил меня с Мехти, и я был принят в этот университетский эстрадный оркестр. Там же был и первый мой выход на сцену. Затем «все пошло и поехало...». Я играл на танцевальных площадках в клубах, дворцах культуры. Постепенно эта работа стала не только удовлетворением нахлынувшего увлечения, но и способом зарабатывания денег. Нужно сказать, что увлечение джазом бакинской молодежи развивалось вопреки огромным усилиям властей задушить эту культуру. Но это была борьба с ветряными мельницами. Появившиеся трофейные американские фильмы, передачи «Голоса Америки» и других «голосов», рассказы очевидцев, побывавших в Европе, товары по ленд-лизу, современные американские студебекеры, мотоциклы Харлей Давидсон и многое

другое, что проходило транзитом из Ирана на Север через Баку, — все оказывало влияние на сознание молодежи и не могло не отражаться на их вкусах и интересах. Молодежь, которая улавливала веяние времени в живописи, в музыке, в моде, быстро перестраивалась. Молодежь обужала брюки, кроила из пестрого материала галстуки, носила мягкие шляпы с широкой лентой, заказывала у портных двубортные костюмы. Американское влияние было очень сильным и у многих оно сохранилось на всю жизнь. Это не оставалось незамеченным партийными боссами, и ими была развернута пропаганда борьбы с этими увлечениями.

В какой-то недолгий период мне пришлось работать в Бакинской городской электросети, которая имела название БАГЭС. Эта городская огромная система электроснабжения города имела свой клуб, который находился в самом центре города и простаивал от отсутствия всякой активности, кроме изредка проводимых профсоюзных и партийных собраний. Под видом создания кружка самодеятельности мне удалось получить доступ в клуб для проведения репетиций стихийно организованного джаз-оркестра, состоящего из моих близких друзей, где ковался и шлифовался репертуар для работы на танцевальных площадках, где мы имели возможность зарабатывать небольшие по тем временам деньги. Наиболее постоянный костяк этого небольшого джазового коллектива состоял из музыкально одаренного, души группы, Вали Багирова, игравшего на ударных инструментах, кларнетиста Тофика Мирзоева, ставшего вскоре одним из организаторов известной группы «ГАЯ», на саксофоне играл Алтай Мусаев, я дополнял коллектив игрой на аккордеоне, на контрабасе — Ильяс Гусейнов. Состав периодически менялся. К нам присоединялись и отсеивались разные молодые музыканты, но клуб БАГЭСа был базой для репетиций и своего рода развлекательного времяпрепровождения, а бесценным местом для общения единомышленников.

В учебных заведениях и на производствах, на комсомольских собраниях учинялись идеологические разгромы за модные одежды, прически и любовь к западным ценностям и увлечением джазом. Таких «стиляг» увольняли с работы,

отчисляли из вузов. Однажды в одной из центральных газет появилась статья на эту тему, куда в число стилиг попали наши близкие друзья Вова Владимиров и Мурад Кажлаев. Вопрос стоял об исключении их из консерватории, где они были успешными студентами. Родители Мурада вынуждены были отправить сына в Махачкалу, чтобы он завершил там свое образование. Мурад Кажлаев ныне известный композитор, дирижер и пианист, народный артист СССР. Вова Владимиров остался верен своему исполнительскому джазовому мастерству. К сожалению, недавно ушел из жизни. Случилось и трагическое завершение творческой жизни суперадаренного, выдающегося джазового кларнетиста Пиры Рустамбекова, которого арестовали и посадили в тюрьму, где он достаточно молодым закончил свою жизнь. В городе Баку в 1950–1960-е годы наступил период творческого расцвета джазовой культуры. Казалось, что в воздухе царил атмосфера, способствующая подъему внутренней энергии людей, занимающихся этим видом творчества. Некоторым было тесно в существовавшем провинциальном пространстве для реализации своего таланта, и многие уехали в столицу страны, а позже, при перестройке, на Запад.

ОБРАЗОВАНИЕ

Возвращаясь к школьному времени, должен сказать, что это был мучительный процесс для меня и для родителей, сильно переживавших за мое отношение к учебе. Я был на грани перехода в категорию второгодников, т.е. мог остаться на повторное обучение на год, что было чрезвычайно позорно среди родственников и знакомых. Была в связи с этим перспектива оказаться переведенным в ремесленное училище. Так поступали с безнадежно отсталыми учениками.

Были предприняты срочные меры. Были наняты частные преподаватели, репетиторы, и я с трудом закончил учебу в седьмом классе. Требовались какие-то перемены. Мамин брат Григорий работал на фабрике Азтрикотажкомбинат рабочим-фрезеровщиком высокого класса. На семейном совете было принято решение, что я воспользуюсь его ре-

комендацией и начну новую, уже трудовую жизнь в качестве рабочего. За короткий срок на этой фабрике я перепробовал несколько специальностей: токаря, слесаря, механика и остановился на электромонтере. Мой трудовой стаж исчислялся всего несколькими месяцами. Мама продолжала работать на почтамте, занимая должность заместителя директора, практически руководила сложнейшим механизмом всех почтовых операций. Ее многие знали в системе, а также в смежных с почтой областях деятельности. В комплексе помещений почтамта находился техникум связи, который объявил зимний набор студентов. Изрядно натерпевшись рабочей дисциплиной, перспективой обречь себя на жизнь в этой роли, я стал задумываться о продолжении учебы. И вот появилась счастливая возможность поступить на учебу в техникум. Маме ничего не стоило договориться с директором, и меня без всяких экзаменов приняли на первый курс. Проучился я там один семестр на радиотехническом отделении. Специальность по своей сути мне не нравилась. Мне тогда казалось, что мое будущее связано с электротехникой.

Без особых трудностей я перевелся в Коммунально-строительный техникум на электротехническое отделение, который находился рядом с домом. Наступило время прихода жажды получения знаний, особенно гуманитарных... Начался поиск утраченного времени. Я жадно стал проглатывать классическую литературу. Зачитывался ночами и одновременно успевал осваивать предметы, преподаваемые в техникуме. Стал посещать спектакли в театре Русской драмы, старался не пропускать концерты симфонической музыки в Бакинской филармонии. У меня было состояние спринтера, желающего добежать до финиша в минимально короткий срок. Я понимал, что отстаю от сверстников, и пытался догнать их, даже раньше, чем это физически было возможно. Мне еще помог бум с подпиской на собрание сочинений классиков, и я простаивал огромные очереди, чтобы подписаться на них. Получив книги, я их немедленно прочитывал, в основном ночами, и в некоторых случаях перечитывал важные, на мой взгляд, главы. Зачитывался поэзией, увлекся стихами поэтов «Серебряного века». Бла-

го несколько поэтических сборников были в небольшой маминной личной библиотеке. Раньше я к этим книгам не притрагивался. Это был тяжелый, но увлекательный труд. Мое сознание постепенно стало просветляться. «Tempora mutantur atnos mutantur in illis» – Времена меняются, и мы меняемся с ними. Появилась потребность в общении с людьми, с которыми я мог найти единство в мироощущениях. Мне не хватало общения для обмена шедшей потоком ко мне информации. У меня был выбор. В это время я оказался в кругу ребят, которые привлекли мое внимание. Это были люди, у которых природный талант был еще скрыт, но их интересы и образ внушали симпатию

ЛЬВЫ

Доктора-педиатра Александра Бернардовича Льва знала вся городская интеллигенция, особенно те, у которых были дети. Я появился в этом доме с соседским другом Вовой Кадышевым, когда семья доктора Льва уже переехала в квартиру, находящуюся на втором этаже дома на улице Хагани, напротив Молоканского сада. Большая гостиная, где в середине стоял огромный круглый стол, вокруг которого происходили все домашние события. Когда я уже был своим человеком в этом доме и участвовал в празднествах, помню, Александр Бернардович начинал произность тост со следующих слов: «Дорогие, разрешите вас приветствовать за квадратом этого круглого стола».

Меня с Вовой Кадышевым приводила в этот дом Вовина мама Зоя, которая дружила с семьей Львов. Она со своим мужем Славой Кадышевым проводили там много времени. Вова и я общались с одним из сыновей семьи Львов – Эмилом. Старше Эмиля был Эрик, но возраст друзей младшего брата не позволял ему общаться с нами, хоть разница была лишь в двух годах. У него были свои друзья. Забегая вперед, должен сказать, что в шестидесятых годах мы с Эриком оказались в Москве и стали самыми близкими людьми, но об этом позже. В то детское время у нас дружба с Эмилом не закрепились, но случайно встретившись в

зрелом возрасте, где я находился в поиске удовлетворения духовной жажды, мы с ним сблизились, и я стал частым гостем этого дома. Меня тянуло туда магнитом. Там были интересные, наполненные интеллектуальными общением разные люди. Среди них поэты, художники, писатели, и мне было необыкновенно интересно быть свидетелем, а иногда и участником бесед, которые существовали в этом замечательном доме. Я помню, что стал следить за собственной русской речью, страдавшей неправильными ударениями и иногда искаженными простословиями. Помню эпизод, когда Мама Эмиля, Елена Николаевна, когда я произнес фразу — «у меня нет вальгá (имелась в виду игральная карта)» она тактично меня поправила, сказав: — не вальгá, а валета. Также было со словом — не полячка, а полька. Елена Николаевна была очень образованной женщиной и очень нежно и внимательно относилась к друзьям Эмиля и Эрика. Ни один визит в этот дом, а бывал я там часто, не обходился без того, чтобы она не накормила меня или угостила каким-нибудь деликатесом. В доме была великолепная библиотека и меня очень привлекали разговоры вокруг книг, музыки, театра. Александр Бернардович был почетным доктором театра Русской драмы. У него и Елены Николаевны были свои закрепленные места в партере театра, и они были постоянными зрителями всех премьер. В доме у них я встречал актрис и артистов театра Русской драмы и гастролеров из столичных театров. В этот дом очень часто заходил известный в Баку поэт, муж сестры Елены Николаевны Юрий Фидлер. Образованнейший человек, знавший хорошо русскую поэзию, печатавший изящные фельетоны и сатирические стихи в газетах «Бакинский рабочий» и «Вышка», он почему-то был предметом наших мальчишеских насмешек. Он был высокого роста, с красивой седой шевелюрой, но размер обуви, на наш взгляд, был непропорционален росту, и мы шутили, что обувь он приобретал в магазине «Детский мир».

Окончив техникум, где я защитил диплом на оценку «отлично», я пытался поступить в Азербайджанский индустриальный институт (АзИИ), где, не подготовившись, провалил первый же экзамен по математике. Тут же послал документы

на заочный факультет Института связи им. Бонч-Бруевича, куда был легко принят.

ИНСТИТУТ

Алтай Мусаев, с которым еще больше укрепилась дружба, оставил учебу в Университете, резко отвлекся от нашей, в то время праздной, жизни и поступил в Институт иностранных языков на немецкое отделение. Он же вовлек меня и Валу Багирова в эту студенческую жизнь. Я поступил на факультет английского, а Валя на отделение французского языка. Учился я с большим желанием знать английский язык, в первую очередь по причине большего доступа к американской культуре, и в частности к джазовой.

Этот период жизни для меня оказался очень важным. Я познакомился со многими ребятами из Бакинского университета, которые учились на литературном факультете. Это были Савва Перец, Марк Вольфсон, Леня Гольштейн и другие интеллектуалы, которые вошли в мою жизнь, как глоток свежего воздуха. Общение с ними усилило мой интерес к тайнам творения русской и западноевропейской литературы, главным образом русской, «Серебряного века». Предмет западноевропейской литературы был в программе факультета института, где учился я. Лекции на эту тему читал преподаватель по фамилии Айолло. Он был с физическим недостатком. Тогда сколиоз лечить не умели, и в результате этой болезни он был маленького роста, обремененный горбом. Когда он поднимался на трибуну, где для него была припасена под ноги скамеечка, весь его ущербный имидж исчезал, и он становился красивым оратором, превращавшим лекцию в великолепный интеллектуальный спектакль. Я старался не пропускать ни одну из его лекций, и аналитическо-литературная информация, которую он доводил до студентов, легко ложилась в мое сознание. Именно он привил мне любовь к западноевропейской литературе. У меня появилась потребность реализовывать в письме на бумаге появившееся аккумулированное в сознании мышление. Тогда я начал писать стихи и робко и безуспешно пробовал при-

лагать свои усилия в прозе. Один из наших общих друзей, Виктор Новиков, работал в газете «Молодежь Азербайджана». Тогда это была интересная, содержательная, прославившаяся на весь Советский Союз газета, которая читалась образованной молодежью и интересующейся современной по тем временам жизнью бакинской интеллигенцией. Помню, что там работали сильнейшие журналисты: Полонский, Сеницын, Шарифов, фотокорреспондент, покойный ныне, талантливый фотохудожник и мой близкий друг Валентин Фельдман. Виктор Новиков приобщил меня к журналистской работе, и я впервые начал печататься в прессе. Сотрудничал я с редакцией до 1956 года, вплоть до отъезда в Москву. Не могу не вспомнить также моего близкого высокотворческого фотохудожника, моего друга, покойного Владимира Калинина, который в это же время работал в центральном печатном органе Азербайджана «Бакинском рабочем». Это был высокого класса фотохудожник и фотожурналист, который уже тогда занимал лидирующее место в цеху фотомастеров Азербайджана, и общение с его друзьями по работе, также приносило мне удовлетворение.

В студенческие годы моя творческая энергия разрывала меня на части. Я продолжал заниматься музыкой, рисунком, поэзией и вовлекся в общественную студенческую жизнь. Общение в социуме студенческой молодежи раздваивало мое сознание на две части. С одной стороны, меня и моих друзей сильно возмущала политическая жизнь страны. Нам известны были деяния, совершенные преступной кучкой глав этого государства зла и насилия, во главе монстра и палача Иосифа Сталина. Мы хорошо знали, что существует другая жизнь в Европе и Америке. И тогда нам казалось, что мы обречены на вечность жить при таком строе. Вместе с тем я как человек общественный не мог оставаться в стороне от той жизни, которую вело студенчество. Нужно сказать, что пафос был больше патриотический, чем политический. Недавно кончилась война, и искренность гордости за победу над фашизмом сохраняла духовное содержание молодежи на приподнятом уровне. Нужно было во что-то верить. Альтернативы не было. Я был активным комсомольцем, выступал на собраниях, участвовал в общественных

мероприятиях, был замечен руководством райкома комсомола как организатор и был рекомендован на позицию секретаря комитета комсомола института. Я стал участвовать в работе совещаний и пленумов ЦК комсомола республики. В этой ипостаси разделял мои взгляды и действия один из очень интереснейших интеллектуалов среди многочисленных моих друзей Джангир Эфендиев. Он получил образование юриста в Бакинском университете, работал в криминалистической лаборатории, затем увлекся философией и преподавал в Бакинской консерватории. Он удивлял своей экстравагантностью, оригинальным образом мышления, энциклопедическими знаниями. Вопреки представлениям студентов и профессуры консерватории об установившихся традициях образа преподавателя вуза в строгой консервативной одежде с галстуком Джангир ездил на работу на мототороллере с длинными распущенными волосами и в одежде весьма не по протоколу. Он познакомил меня с заведующим отделом ЦК комсомола республики Адьялем Фаталиевым, и мы втроем проводили много времени в дискуссиях о возможности сочетания новых, появившихся после войны, веяний прогрессивной молодежи с проводимой коммунистами политикой утопии. Наши дискуссии были на грани фола, особенно для работника аппарата комсомола Адьяля Фаталиева, но трезвый, очень подвижный ум этих достойных мудрых людей приводил к возможному компромиссу с действительностью. Это меня вдохновляло и направляло на активную работу в комсомоле. Этим замечательных друзей, которые сыграли существенную роль в моей жизни, к сожалению, уже нет в живых, но я всегда вспоминаю о них с нежным чувством товарищества и понимания друг друга.

Моя общественная деятельность в дальнейшем имела большое значение для моей московской карьеры.

Как-то в Баку прибыла молодежная группа из англоязычных африканских стран. Это была первая иностранная делегация в послевоенное время, которая была приглашена в Баку для встречи с азербайджанской молодежью.

Вместе с тем были предприняты все возможные и невозможные меры, чтобы предотвратить контакты иностранцев со случайными людьми. Я был включен в состав груп-

пы молодежи от Азербайджана для общения с делегацией. Во-первых, я был проверен на лояльность как секретарь комитета комсомола института, во-вторых, я уже владел английским языком. Программа пребывания делегации была насыщенной. Встречи были в институтах, на производствах, но хорошо помню, что доминантой «протокольных» мероприятий были застолья. В то не совсем сытное время столы ломались от азербайджанских деликатесов. Руководил всем мероприятием прибывший специально в Баку работник МИДа из Москвы, интересный, общительный, высокообразованный человек Владимир Иванович Дубинин. С ним у меня установились добрые отношения, вплоть до того, что он дал мне свой домашний телефон и просил, чтобы в случае, если я окажусь в Москве, навестил его. Заранее скажу, что телефон мне пригодился.

Госэкзамены в институте я сдал на «отлично» и был направлен на работу преподавателем английского языка в азербайджанскую школу в одно из селений, которое называлось Кобэ. Туда можно было добираться только на попутных машинах. Проработал я там один учебный сезон. Чувствовал себя очень комфортно. Положение учителя в азербайджанском селе является почитаемым. В школе было работать легко. Поведение учеников в классах было идеальным. Когда я шел по улице села, встречные аксакалы снимали папаху приветствуя меня. Дальняя дорога на работу меня утомляла, и я приложил усилия, чтобы перевестись в город. Направили меня на работу в школу № 171 на улице Кецховели. Опыт работы в этой школе хорошо описан в очерке в этой книге Марком Верховским, учеником класса, в котором я преподавал в Баку. Он сейчас живет в Америке и сотрудничает в моей газете. Он описывает неудачный опыт моей работы в городской бакинской школе. В этот период в республике начал развиваться процесс продвижения национальных кадров, и это предпочтение угнетало многих не коренной национальности, в том числе и меня. Это было время начала 60-х годов, только что был пережит период так называемого «дела врачей» которое прошло в Баку в более мягкой форме, чем в России, но вместе с тем отразилось на жизни евреев в Азербайджане. Явно стало наблюдаться сдержива-

ние приема на работу людей еврейской национальности. Всем было понятно, что инструкции шли из Москвы, и это был первый сигнал давления на местную власть, никогда не имевшую дела с антисемитизмом. В воздухе царил атмосфера неуверенности и бесперспективности возврата к временам интернационализма. Было очевидно, что выдвинутый лозунг продвижения национальных кадров откроет широкую дорогу к кумовству и коррупции и навсегда закроет стимул к творческой активности во всех сферах деятельности молодежи. Это был тот самый период, когда многие энергичные и смелые молодые люди стали покидать свой любимый город Баку. Многие ринулись в Москву, даже не задумываясь, что там их ждала та же участь.

СВАДЬБА

Это было лето 1956 года. Я отправился в отпуск в Ленинград и там, благодаря родственникам, случайно познакомился с девушкой Нелли, которая отдыхала в знаменитом поселке «Решино» под Ленинградом. Купидон пронзил мое сердце в первую же с ней встречу. Мы виделись каждый день в течение двух недель. Это были романтические прогулки по репинскому лесу, набережной залива и по ленинградским набережным. Помню, что время наших встреч совпало с праздником «Дня Военно-Морского флота», был фейерверк, и это был добрый знак скрепления нашей любви. Отпуск кончился, и я вернулся в Баку. Нелли вернулась домой в Москву, где она жила с родителями на Новослободской улице. Разлука не давала мне покоя, и я каждый день писал Нелли письма, объясняясь в любви. Очень быстро пришло обоюдное решение, что мы должны пожениться.

В конце октября 1956 года я приехал в Москву, и 4 ноября мы зарегистрировались. Регистрация в загсе проходила в присутствии Неллиной сестры Раи и ее супруга Евгения. Обстановка при регистрации брака была сугубо канцелярской. За письменным довольно ободраным столом в маленькой комнате сидела средних лет женщина, которая предложила нам расписаться в журнале, выписала свидетельство

о браке, протянула нам руку из-за стола и, сжав ее крепко, по-мужски, поздравила с законным браком. К вечеру были приглашены близкие родственники и друзья в комнату общей квартиры, где жила Нелли с родителями. Это была свадьба. Я знал, что такое важное эпохальное мероприятие должно было ознаменоваться каким-либо необыкновенным событием. Гости раздевались в общем коридоре, в котором к стенам были прикреплены вешалки с обустроенными полками для шляп. Зима была в полном разгаре, и гости вешали свои шубы и пальто на эти вешалки. До свадьбы соседи планировали провести у себя ремонт и положили бумажные мешки с мелом на полки. Полки не выдержали веса верхней одежды и рухнули на пол вместе с рассыпавшимся мелом. Все шубы и пальто оказались покрыты белым порошком. Большая часть времени свадьбы была занята чисткой одежды на лестничной клетке, а остальное время было потрачено на обсуждение этой темы. Обуреваемые жаждой продемонстрировать свой выбор своим друзьям и родственникам мы отправились на поезде в Баку, где в доме родителей была организована вторая свадьба. Гуляли два дня. Один день с родственниками, другой с друзьями, которых разместить в одной комнате не было возможности, и добрые соседи, близкие нам люди, светлой памяти Талыб Новрузович и Марьям-ханум Шафиевы открыли смежную с нами дверь и гости смогли разместиться в двух больших комнатах. Прожили мы в Баку пару недель, и было решено начинать нашу супружескую жизнь в Москве. Расставание с родителями было довольно тяжким и грустным. Они оставались одни. К этому состоянию они не были готовы. После нашего отъезда они взяли на воспитание папину родственницу из нуждающейся многодетной семьи. Поезд увозил нас в новую жизнь, полную неизвестностей, с многочисленными вопросами: где жить и где работать?

ЧАСТЬ II
Москва

ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ СТЕЗЕ

Москва нас встретила мягкой, не сильно морозной зимой, с пушистым снегом. Мы гуляли по центру столицы, полные супружеского счастья и радужных надежд.

Жить нам пришлось с родителями Нелли. Они жили на Новослободской улице, почти напротив Бутырской тюрьмы. Киршичный, типичный доходный дом дореволюционной постройки выглядел уныло по сравнению с соседними многоэтажными зданиями современной архитектуры. Одна комната, которую занимали родители, имела два окна, которые упирались в близко расположенный в дворовой части дом. На окнах тяжелые шторы, чтобы прикрыться от любопытных глаз соседей напротив. По этой причине свет попадал в квартиру частично. Это создавало минорное настроение и отягощалось сложившейся ситуацией с моим появлением.

Коммунальная квартира была заселена тремя семьями. Места общего пользования: ванная, туалет, кухня функционировали почти без перерыва. Отец моей жены Борис Израилевич работал на московской меховой фабрике. До фабрики он работал в Министерстве легкой промышленности, где занимался вопросами ценообразования товаров народного потребления. На фабрике занимал одну из важных должностей — начальника планового отдела. Такое высокое положение давало ему право приобретать для членов семьи «дефицитный товар», шубы, по государственной цене. Так что его супруга и две дочери были обладателями шуб из модного тогда каракуля. Его авторитет и уважение к нему как хорошему специалисту позволили ему удержаться на своей работе даже в тяжелую для всех евреев пору «дела врачей». Взгляды у него были прокоммунистические. На жизнь смот-

рел он прямо, без особых раздумий. Характер у него был очень мягким и добрым.

Мама Нелли была домохозяйкой. В молодости, в Петрограде, где жила ее семья, она поступила на юридический факультет университета, но социальный хаос в стране не позволил продолжить учебу, и, выйдя замуж, она уехала в Москву. До переезда в Петроград ее семья жила в Витебске. Родители были очень состоятельными людьми. Владели несколькими табачными фабриками. Теща рассказывала, что тогда еще, в революцию, в тревожные дни, одна из работниц фабрики предупредила семью, что ночью предстоит экспроприация всего их имущества, включая фабрики и жилой дом, и, главное, арест всей семьи. Семья нашла в себе смелость и решимость в канун той же ночи, оставив все владения, буквально сбежать в Петроград. Воспитывалась теща, как во всех богатых семьях, с гувернантками, в европейском духе, и сохранила за собой манеру «барышни», никак не приспособившись к социалистическим реалиям. Она много читала, любила светские разговоры и часто, глубоко вздыхая, сокрушалась по неудавшейся жизни. Мы со свояком Евгением часто подшучивали над ней и произносили хрестоматийную фразу — «Что станет говорить княгиня Марья Алексевна!» Она не была довольна заключенным браком своей дочери с человеком более низкого сословия, т.е. со мной, но деваться было некуда. Существовать в таких стесненных условиях, в одной комнате, за шкафом, было тяжело. Приходилось терпеть и сосредоточить себя на поиск работы.

Искать работу в таком мегаполисе, как Москва, дело было нелегкое, особенно приезжему с периферии. Нужно вспомнить, что 1956 год еще сохранил инерцию антисемитских настроений. Инструкции властей о процентной норме для иудеев в научно-исследовательских учреждениях, учебных заведениях, административных органах никто не отменял. Правда антисемитская риторика в прессе затихла. Кого-то из уволенных в период антисемитской волны 1948–1954 годов на работе восстановили, но вновь принимать иудеев не торопились. Шел 1956 год. Коррупционность за годы советской власти выработалась особая — социалистическая. Главным определяющим фактором при устройстве на

работу и продвижению по службе было кумовство и собутельничество. За бутылку водки или коньяка можно было решить большие проблемы. Все родственники моей жены относились ко мне с большим вниманием. Они же занимались поиском для меня работы. Однажды муж Неллиной двоюродной сестры Борис Найхин сообщил, что меня ждут на беседу в Управлении капитального ремонта Мосгорисполкома, где, возможно, я получу работу по инженерной электротехнической специальности. Я, нарядившись и, как говорят, «развесив губы», пришел на беседу, где ожидал получить должность по меньшей мере инженера с приличным окладом. Ведь я шел по рекомендации. Мне предложили должность десятника в одном из специализированных строительных управлений, которое занималось капитальным ремонтом электросетей в жилых домах. Электросети в ветхом жилом фонде столицы приходили в негодность, участились случаи возникновения пожаров в результате коротких замыканий. Для этой цели был создан трест, состоящий из четырех специализированных управлений (СУ). В одно из них мне было предложено пойти работать. На семейном совете решили эту возможность использовать. Это лучше, чем ничего не делать.

Офис СУ-4 находился в центре Москвы, в глубоком подвале в Банковском переулке. Я был приставлен десятником к одному из прорабов управления, за которым был закреплен определенный район города Москвы, где проводился плановый ремонт электросети жилых домов. В мои обязанности входило обеспечивать рабочих материалами, следить за качеством выполняемых работ, описывать выполненные работы и помогать прорабу составлять «процентовки» — так назывался документ, который определял расчет заработной платы рабочих. Зарплату я получал мизерную (кажется, 70 рублей в месяц). Обязанности по работе заставляли меня ходить по объектам в течение всего дня, а затем к концу дня мы все собирались в офисе и вели камеральную работу. Самой большой бедой была повальная пьянка. Все прорабы приходили к вечеру в офис уже в состоянии легкого опьянения. После работы собирали деньги и перед уходом домой заполняли свои внутренности алкоголем. Это повторялось

каждый день, а в день зарплаты в таких дозах, что, как правило, многие на следующий день на работу выйти не могли. Откуда брались деньги на выпивку? Как позже я выяснил, прораб выписывал рабочему завышенный объем работ за невыполненную работу, а затем делил с ним приписанную сумму.

Рабочий класс вначале принял меня в свою среду с настороженностью и опаской: пришел какой-то интеллигентик и хочет вмешиваться в нашу рабочую жизнь. Они боялись нарушить свой пьяный и порочный, с приписками к зарплате уклад. Произошло то, что должно было произойти. Прораб спился окончательно и работать больше не мог. Мне пришлось взять на себя его обязанности. Приписками я не занимался, деньги с рабочим классом не делил, как следствие — план не выполнял. Заставить рабочих отказаться от пьянки в рабочее время не мог, потому что в других прорабских участках система приписок и пьянки торжествовала прочно, и я один ничего сделать не мог. Начальство, видя во мне этот порок, перевело меня в производственно-технический отдел, вначале инженером и вскоре начальником ПТО. Помимо технической работы, мне дали возможность проявлять инициативу в организационных процессах, тем самым влияя на общий климат в коллективе. Вскоре я был назначен главным инженером этого специализированного управления. Пьянство душило всю систему работы. Я понимал, что это зло нужно как-то выкорчевывать.

Руководство треста меня поддерживало и пыталось подобрать на должность начальника нашего СУ крепкого, трезвого руководителя с пониманием этой главной задачи. Такого человека прислал райком партии, и мы все вздохнули с облегчением. Это был бывший полярник, работавший радистом с самим Пананиным. Фамилия его была Павловский. Очень добродушный и одновременно жесткий человек, он вместе со мной начал наводить порядок, постепенно избавляясь от пьяниц и бездельников.

Через пару месяцев все сотрудники стали замечать, что он из трезвого человека в одночасье становится неадекватно странным. Глаза краснеют, речь замедляется, и он становится агрессивным. Запах алкоголя отсутствует. Несколько

раз я заставлял его в кабинете за столом, комбинирующим медицинские таблетки. Нам опять не повезло. Он оказался хроническим наркоманом. Работать с ним я уже не мог и присматривал переход на другую работу.

Руководство относилось ко мне по-прежнему хорошо, не хотело меня отпускать, и меня перевели на работу в трест на должность главного механика. Это уже была работа «белых воротничков», да и среда общения не так была заражена пьянкой.

Я с удовольствием вспоминаю главного инженера треста Василия Алексеевича Солнцева, высокого стройного интеллигента, хорошо игравшего в большой теннис, интересовавшегося литературой. Он вращался в обществе художников, поэтов, писателей, умел в меру выпить. К работе относился с иронией. Ко мне относился с доверием и был со мной откровенен. Был удручен необходимостью работать в тресте, так как другой специальности у него не было. Он был хорошо знаком с семьей Мессереров и однажды познакомил меня с художником Борисом Мессерером. Через 40 лет, находясь по делам в Москве, я случайно встретился с Борисом и напомнил ему о светлой памяти Василии Алексеевиче. Он, конечно, вспомнил его самыми хорошими словами, и его лицо засветилось добром.

Начальником технического отдела треста был также интеллигент высокого уровня инженер Борис Абрамович Шерешевский. Он был скуп на разговоры, но мог решать самые сложные технические проблемы. Был трудоголиком и всегда таил в себе какую-то тайну, делая лицо загадочным, давая понять, что вам эта тайна недоступна.

Управляющий трестом Щербаков был выпускник «Института Красной профессуры» (ныне в этом помещении находится Дипломатическая академия МИДа). Там готовили коммунистических начальников, которые считали, что их руководящая роль на производстве заключалась в командовании верхом на лошади с шашкой в руке. В электричестве Щербаков ничего не понимал, но умел вести себя как очень большой руководитель. Мебель в его кабинете была старинная, письменный стол накрыт зеленым сукном. Часто ходил по просторному кабинету торжественно и важно.

В брючном кармане всегда сложенный в четыре раза накрахмаленный белый платок. На столе никогда никаких бумаг. К своему начальству ходил с кожаной папкой, выпрямившись, словно проглотил жердь. Начальство знало о его технической некомпетентности, но ценило за дисциплину и оперативные решения, когда ему выдавались срочные задания.

Совместная жизнь с родителями жены превращалась в ад. Напряжение росло, и это отражалось на наших личных отношениях с Нелли. Решено было снять в наем комнату в пределах наших материальных возможностей. Поиск жилья завершился тем, что мы сняли угол в проходной комнате. На более комфортные условия у нас средств не хватало. Это была смешная жизнь за занавеской, которую мы смогли выдержать недолго.

Нелли после окончания Менделеевского института получила направление в Башкирию. К счастью, был издан закон, по которому замужние студентки могли отказаться от направления и выбирать себе работу самостоятельно. Первая ее работа была в Управлении Гидрометеослужбы Москвы. Зарплата была мизерной, но определенным подспорьем. Нелли была беременна. Снять комнату в таком положении было практически невозможно. С трудом нам удалось найти на Студенческой улице в ветхом деревянном доме с печным отоплением «по-черному» возможность заселиться, где хозяйкой была одинокая девушка, рано оставшаяся без родителей, умерших от туберкулеза. Снимаемая комната была у нас отдельная, но с подпорками, удерживающими падающий потолок, и приходившие к нам друзья и родственники называли это помещение «филиалом Колонного зала Дома Союзов».

НОВАЯ ГРАНЬ

Работа в тресте меня несколько расхолодила, и я стал задумываться о заполнении свободного времени чем-либо, связанным с английским языком, что давало бы дополнительный доход. Я решился на звонок моему знакомому по

бакинской эпопее, когда работал с молодежной делегацией из Африки. Владимир Иванович Дубинин, курировавший из Центра это мероприятие, тогда дал мне свой домашний телефон и сказал, что будет рад меня видеть, когда я окажусь в Москве. Владимир Иванович приветливо и даже радостно отозвался на мое появление и обещал подумать, что он может сделать для меня. Очень скоро раздался звонок, и В.И.Дубинин, как я выяснил позже, начальник Управления внешних сношений Министерства электростанций СССР, предложил мне поработать с американской делегацией, которая прилетела с официальным визитом в Москву. Нужно было заменить заболевшую штатную переводчицу.

Это был конец августа 1958 года. К работе приступить нужно было на следующее утро. Трудно передать мое волнение от преподнесенного сюрприза, который я не мог при самой изощренной фантазии вообразить. Предстояла поездка с высокопоставленной делегацией по стране. Еще оставалось время до конца рабочего дня в тресте, и я успел оформить десятидневный отпуск. Состояние эйфории захватило всю семью. Все принимали участие в подготовке к этой необычной работе. Хотелось выглядеть достойно, с должной экипировкой.

Ночью гладили костюм, стирали рубашки и плащ. Плащ был на подкладке, и, чтобы успеть выстирать и привести в порядок к утру, пришлось его сушить над газовой плитой, чуть не устроив пожар в общей квартире, куда мы вернулись из «Колонного зала» на Студенческой улице, где существование было невыносимым. Нелли была в положении. Утром до появления в министерстве я встретился со своим другом Эриком, у которого выпросил на это мероприятие заграничный портфель. Передача портфеля состоялась у станции метро «Площадь Революции» и выглядела как эпизод из детективного фильма про шпионов. Ровно в назначенное время я оказался в кабинете Владимира Ивановича. Не говоря ни слова о предстоящей работе, он протянул мне руку и быстрыми шагами направился к выходу, не обсуждая со мной подробности предстоящей работы. Я полагал, что произойдут какие-то документальные оформления, но, к моему удивлению, ничего не произошло. Мы вышли на ули-

цу. Перед главным подъездом министерства, насколько помню, в Китайском проезде стояли автомобили марки ЗИЛ. Мы сели в один из них и помчались к гостинице «Украина». Там, как сказал Владимир Иванович, у центрального входа нас уже ждали члены американской делегации. Это руководители крупнейших американских компаний, таких, как «Детройт Эдисон», «Саузерн Калифорния Эдисон», «Вестингаус Электрик Корпорейшн», «Дженерал Электрик Корпорейшн», «Алис Чармелс Манюфактуринг», и президенты других огромных компаний, связанных с производством электроэнергии и электротехнического оборудования. Короткое знакомство, и весь кортеж направился в аэропорт «Внуково». Министр электростанций Новиков, находился в это время в командировке в Средней Азии, и, делегацию отправлять в турне по СССР приехал его первый заместитель. Как только он начал произносить напутственные слова, Владимир Иванович подтолкнул меня, чтобы я оказался в нужном месте и переводил речь заместителя министра. Я не ожидал такого резкого вступления в эти обязанности. Колени задрожали, язык прилип к небу. Я не имел навыков устного перевода со времени работы с делегацией в Баку, особенно никогда не переводил речи официальных лиц. Я, буквально онемел и полагаю, что у меня было выражение лица, которое не располагало к симпатиям. С глупым видом, я стал пятиться назад, чтобы выйти из собравшейся группы и бежать куда глаза глядят. Но не тут-то было. Владимир Иванович схватил меня за плечо и, крепко удерживая, стал переводить сам. У него был блестящий английский. Ранее, он провел 4 года в Великобритании на дипломатической работе. Я попробовал извиниться за недоразумение. Мне было до боли стыдно за то, что я так его подвел, и попросил отпустить меня восвояси. Владимир Иванович не стал выслушивать мои нелепые рассуждения и велел следовать с делегацией в самолет. Это был специальный рейс. В самолете после беседы с несколькими американцами я почувствовал, что наступает раскованность. Когда мы прилетели в город Куйбышев, я уже был полностью уверен в себе. На приеме в помещении Куйбышевской ГЭС я уже свободно переводил речь главного инженера ГЭС Саркисова.

Из Куйбышева мы перелетели в Украину для знакомства с Днепрогэсом, а оттуда в Ленинград для посещения завода «Электросила», затем вернулись в Москву. В каждом городе нас принимали по протоколу самого высокого класса. В Москве состоялся прием в гостинице «Советская». Моя карточка оказалась в торце стола, и я как переводчик сидел на самом видном месте. Прием вел сам министр Новиков. Я уже чувствовал себя в этой роли достаточно свободно. На следующий день, в кабинете министра состоялась прощальная беседа с подписанием протокола о взаимных интересах. В завершение встречи кто-то из гостей спросил у министра, а что эта занавеска закрывает на огромной стене, не картина ли это? Министр, смутившись, сказал, что это схема электросети страны, но занавеску не открыл. После этого вопроса руководитель делегации передал в дар Министру огромный сброшюрованный альбом схем всех электросетей Соединенных Штатов.

Когда я вернулся домой и рассказывал с подробностями о пролетевшем, как миг, путешествии в общении доступных, высокопоставленных людей, «акул капиталистического мира», мой тесть, любивший вкусно поесть, больше всего сокрушался, что во время приема в ресторане гостиницы «Советская» мне не пришлось даже попробовать деликатесные угощения. Памятное меню, которое подарили всем участникам банкета, содержало более двух десятков различных не известных мне ранее блюд.

Трудно было предположить, что эта работа (если ее можно было назвать работой) станет началом совершенно другого качества моей жизни. В этот период у нас родилась дочь. Это был 1959 год. В эфире звучала очень модная тогда песня «Марина». Решение назвать дочь Мариной было припечатано судьбой.

Я продолжал работать в тресте. Однажды мне позвонили из Управления по обслуживанию дискорпуса (УПДК) и попросили прибыть на беседу в отдел кадров. Приняла меня симпатичная молодая женщина по фамилии Щербакова. Позже выяснилось, что она была женой выдающегося боксера, обладавшего всеми существовавшими спортивными титулами. Благодаря Владимиру Ивановичу я оказался в

резерве потенциальных профессиональных переводчиков, имеющих инженерные знания.

Был конец 1950-х годов, пора приоткрытия железного занавеса и симптомов начала деловых контактов с иностранными компаниями, появления национальных выставок, а произошло это еще в 1959 году, когда впервые в социалистическом государстве в Москве, в Сокольниках, открылась национальная выставка США, затем Великобритании, Италии, Индии и других стран. Особенную роль сыграла американская выставка. Она, можно сказать, породила новую реальность, дала импульс к возникновению новых мыслей, которые приводили к выводам, что жить можно не только так, как живем мы. Джин был выпущен из бутылки.

Я посетил Владимира Ивановича, поблагодарил за терпение и понимание причины моего конфуза с переводом в аэропорту и за рекомендацию моей персоны в такой закрытый и в те времена для меня недоступный орган, принадлежащий МИДу, — Управление по обслуживанию дипломатического корпуса. Он был старше меня лет на десять. Очень образованный и многосторонне развитый человек. Из бесед с ним во время поездки по стране мне стало ясно, что он прекрасно знает искусство, и его любовь к живописи и скульптуре помогала нам находить точки сближения по отношению к различным направлениям в искусстве и в мироощущении. Забегая вперед, скажу, что после моей работы на Национальной выставке Великобритании на фирме, занимавшейся строительством павильона, я получил подарок от главного художника выставки Ляндсдела: «Парад на Красной площади». Я немедленно позвонил Владимиру Ивановичу. Я считал, что это тот самый подарок, который должен принадлежать ему. Дома телефон не отвечал. Секретарь Управления внешних сношений сказала, что Владимир Иванович Дубинин уехал на работу за границу и она ничем мне помочь не может. Так я потерял связь с этим добрым интеллигентом, который помог повернуть мою судьбу в новое русло.

После этой феерической поездки с делегацией по стране пришлось вернуться к серой действительности в трест. Через некоторое время мне позвонила Щербакова из УПДК

и предложила поработать на той самой Национальной выставке Великобритании.

У СЕБЯ ДОМА

В тресте произошли изменения. Управляющий трестом и главный инженер ушли на пенсию. Управляющим был назначен начальник СУ-2 Ланин Абрам Иосифович, главным инженером совсем молодой специалист из СУ-3 Ломакин. Ланин, жесткий по характеру человек, также ярый борец с пьянством, тут же уволил наркомана Павловского, бывшего моего начальника. Ланин при назначении получил широкие полномочия. Павловского поддерживал райком партии, и предыдущему управляющему треста было это сделать нелегко.

Ланин предложил мне возглавить спецуправление вместо Павловского, которое я знал хорошо. Я решил, что это движение вперед, и чувствовал, что найду в себе силы справиться с очень трудным, пришедшим почти в упадок участком. Ланин обещал мне помочь, и я получил в первые месяцы работы некоторые льготы в плановых заданиях и в фонде заработной платы. Постепенно работа налаживалась, и главный порок — пьянство работников — был побежден. Нелли перешла на работу в Научно-исследовательский институт (ВНИОПИК), получив должность младшего научного сотрудника. Мой статус начальника управления позволял мне общаться с людьми, решавшими вопросы, связанные с жильем. Напомню, что система, в которой я работал, называлась Управление капитального ремонта жилых домов. Случайно удалось узнать, что в одном из вновь застроенных кварталов на Дмитровском шоссе работники, занятые в сфере коммунальных услуг, могут получать служебное жилье. В квартальной котельне была незанятая должность химика-лаборанта. Нелли пришлось расстаться со своей научной карьерой и пойти работать в котельную по круглосуточной трехсменной системе. Благодаря такой жертве мы очень скоро получили комнату в трехкомнатной квартире в современном благоустроенном кирпичном доме. Это был серьез-

ный шаг в обустройстве нашей семейной жизни. Образовался собственный очаг и независимость от родителей Нелли.

Мои связи с друзьями в Баку не нарупались, и, узнав о том, что мы являемся обладателями своей собственной комнаты в Москве, нас стали навещать гости. По провинциальной душевной простоте эти милые, наивные люди не брали в голову, что в одной комнате вместе с маленьким ребенком, да еще в коммунальной квартире размещаться не совсем комфортабельно, и в первую очередь хозяевам. Такое понимание этики быта выработалось советским социальным сознанием, где «простота», являлась, одним из главных качеств общения людей в быту. Лично для меня это не было особенно тяжким бременем, но для Нелли это была дополнительная забота, связанная с постельным бельем, едой, уборкой и т.д. Однажды к нам приехал один из талантливейших художников, заслуженный художник Азербайджана Шмавон Мангасаров. Я его знал по Баку, влюблен был в его творчество, но общаться с ним тесно не приходилось. Я знал о его суровом нраве и постоянной ворчливости, и его приезд вызвал у меня беспокойство. Я полагал, что это может повлиять на атмосферу спокойствия в семье.

Шмавон прожил у нас около двух месяцев. Все его стрелы недовольства были направлены на руководство Союза художников, и это длилось в течение всего времени его пребывания у нас. Стоило ему взять в руки кисть, перед чистым полотном его лицо озарялось добротой, отражением внутреннего горения и счастья. В этот период он написал замечательный портрет Нелли, который занимает одно из видных мест в нашей домашней коллекции. От нас Шмавон переехал к своим московским родственникам, посещал нас и периодически одалживал портрет Нелли на выставки, в частности персональные, которые были организованы в редакции газеты «Известия» и в московском Музее восточных культур.

Шмавон не единственный художник, который жил в нашей скромной обители. С таким же визитом у нас оказался молодой художник из Баку Гриппа Эпельбаум. Он был очень талантлив, и мне нравилось его глубокое художественное проникновение в национальный колорит азербайджанс-

ких пейзажей, которые он мастерски и как-то волшебным и тонально точно мог изобразить. Особенно ему удавались песчаные берега Каспия. Написанные им портреты также звучали какой-то особой, тоже волшебной, тонкой струной. От них исходил трепетный лирический звук. Гриша также оставил в нашем доме свой творческий след, написав портреты Нелли и мой, которые и сейчас висят у нас на стенах в нашей нью-йоркской квартире. Я, занимаясь самостоятельно живописью, прошел очень для меня важную школу технических приемов работы с красками и холстами у этих замечательных мастеров. Наблюдая за их работой, я получил дополнительный творческий импульс и стал интенсивнее заниматься живописью, насколько позволяли мне мои коммунальные условия.

Времени хватало на все. Это была хорошая пора романтических загородных выездов сформировавшейся компании наших друзей. Мы выезжали на электричке далеко за город, уходили глубоко в дикий лес, разбивали палатки, жарили шашлыки, пили водку и пели бардовские песни. Мы с Нелли всегда стремились к широкому общению. Это были разные по увлечениям группы, где мы чувствовали себя уютно и в своей тарелке.

Чаще всего мы проводили время в компании, с которой нас познакомила сестра Нелли. Базой общения была квартира художников Черномордилов, Толи и Лили. Жили они в центре Москвы, на площади Восстания. Большая комната на первом этаже могла вместить большое количество людей. Главные темы общения — это обмен мнениями по самиздатовской литературе, художественная жизнь плюс легкие «выпивоны» и, естественно, танцы. Там мы познакомились и скрепили дружбу с яркими людьми, такими, как Шиллеры, Дривинги, Эрманы.

В доме Шиллеров мы познакомились с артистом Театра на Таганке Вениамином Смеховым. По невероятному стечению обстоятельств, мы также столкнулись с ним в доме нашего друга доктора-уролога Александра Аксельдорфа, который не имел никакого отношения к друзьям, собиравшимся в доме Черномордилов. Оказалось, что по окончании театрального училища Веня был направлен в Куйбышевс-

кий драматический театр и в этом городе познакомился с Александром. Вскоре оба оказались в Москве и продолжили дружбу.

Наше знакомство и симпатии с Веней Смеховым были взаимными, и дружба с ним укрепилась на многие годы и не прекращается до сего времени. Благодаря заботам Вени, мы с Нелли освоили весь репертуар Театра на Таганке, что являлось величайшим достижением того времени.

Моя работа приобретала все большую значимость и популярность. Мы начали наслаждаться независимой семейной жизнью.

ТВОРЧЕСТВО И ДРУЗЬЯ

Дома заниматься живописью становилось все труднее и труднее. С отцом Толи Черномордика, профессиональным графиком, мы обратились в Художественный фонд Москвы, чтобы нам предоставили мастерскую для творческой работы. Заявление долго рассматривалось, и в результате нам было выделено помещение в подвале дома в районе Плотникова переулка, в самом центре Москвы. Я получил реальную возможность заниматься живописью, не ограничивая себя в размерах холстов и в свободном расположении красок и всех других атрибутов для творческой работы, в чем дома я был сильно стеснен.

Через некоторое время я переехал в мастерскую большего размера на Большой Грузинской, где уже был полновластным арендатором всего помещения. Все лучшее, на мой взгляд, что было сотворено мной, произошло в этой мастерской. Одну из свободных комнат я уступил своему другу, профессионально занимавшемуся фотографией, Пьеру Когану. Он переоборудовал помещение кухни в фотолабораторию, и это помогало ему в течение многих лет заниматься фототворчеством.

Другой вектор нашего общения, где струилось что-то родное, бакинское, — это семья Эрика Льва. Эрик, старший сын бакинского доктора Льва, о котором я писал в начале моего повествования, оказался в Москве на много лет рань-

ше, чем я. Геологическая специальность помогала ему путешествовать по глубинкам России, и за несколько лет до нашего появления он обосновался в Москве окончательно. Женился он на Лире Александровне Талызиной, яркой русской красавице, уже к тому времени прожившей сложную, трагическую жизнь.

Родилась она в подмосковном городе Красногорске. Во время Второй мировой войны Красногорск был оккупирован немцами, и Лира была угнана на территорию Франции. Там была помещена в концентрационный лагерь. Свидетельством этого служил татуированный номер на руке. Из лагеря ее передали батрачить во французскую семью. В этом городке возник роман с французом, и вскоре Лира родила девочку, которую назвали Кристина. Когда территория, где жила Лира, была освобождена союзническими войсками, ей было разрешено вернуться в Россию. Какие-то местные законы не позволяли ей взять с собой ребенка. Лира была в добрых отношениях с семьей, в которой работала, и эта семья согласилась опекать ребенка на время, пока Лира не оформит легальные документы на право вывоза ребенка в СССР. После возвращения Лира активно занялась юридическим процессом. Оказалось, что получить ребенка возможно только по решению французского суда. Выехать за границу, тем более женщине, находившейся в прошлом в плену, было практически невозможно, но не для Лире. У Лире была броневой энергия. Она добилась личной встречи с министром культуры Фурцевой и получила разрешение на выезд во Францию. Там она лично участвовала в судебном процессе. Ребенок был отсужен, и Лира победоносно возвратилась в Москву с Кристиной.

В то время, о котором я рассказываю, Эрик и Лира жили на Арбатской площади, в общей квартире со всеми прелестями коммунальной жизни. Мы были частыми гостями этих всегда радушных, гостеприимных людей. Помню, в туалете, которым пользовались жильцы квартиры, висело напоминание, написанное карандашом: «Воду спускать во всех случаях». Их дом постоянно заполнялся большим количеством друзей и знакомых. Лира была человеком особого склада, с широко распахнутой душой. Каждый, кто

приходил в этот дом, становился в родным, близким человеком. А все посиделки превращались в широкое русское застолье. Стол накрывался типично русскими блюдами: солеными огурцами, квашеной капустой, грибами, картошкой, селедкой и всем другим, что принято было использовать в качестве закуски под водку. В этом доме я сблизился с геологом, бакинцем Женей Поповым, с которым знакомство превратилось в крепкую дружбу и длится до сегодняшнего дня. К нему мы вернемся позже.

Такие посиделки продолжались и в квартире на Смоленской площади, куда Эрик с Лирой вскоре переехали. Помню довольно курьезный случай, который остался в памяти. В этом доме был аккордеон, который хранил отец Леры. Он на нем иногда играл, оказываясь на семейных сборах у дочери. Когда его не было, Лира просила меня аккомпанировать кому-то, кто пел популярные тогда непристойные частушки, и играть русские народные мелодии для лихих русских танцев, которыми заканчивались такие сборы. Однажды, увидев в дверях молодого человека, который был, безусловно, вхож в этот дом, Лира попросила меня встретить его пассажем — «выходом цыганочки». В квартиру входил Эдуард Грач, уже известный в мире скрипач, лауреат Конкурса им. П.И.Чайковского. Шутка была уместной и удалась. Раздался утробный хохот, который подхватил и сам Эдуард Грач и танцующей походкой вошел в комнату. Когда я узнал, что подыграл такой музыкальной знаменитости, я почувствовал себя неуклюже и, как заметили многие, был смущен. Чувства юмора мне тогда не хватило. В утешение судьба мне уготовила случай, который удовлетворил мое надуманное тщеславие.

Одним из предметов моих привязанностей был аккордеон, который я привез из Баку. Этот музыкальный инструмент был больше предметом виртуальной связи с моей былой беспечной музыкальной жизнью, чем инструментом для музицирования или предметом развлечения. Вместе с тем, на память приходит один из значительных эпизодов, который невозможно забыть. Однажды нас пригласили на празднование Нового года наши друзья Лена и Женя Русаковы. Просили приехать с аккордеоном. Сюрпризом для нас было

присутствие среди собравшихся очень популярной и знаменитой в Союзе певицы Майи Кристалинской. Атмосфера в доме располагала к открытости и непринужденности. Майя согласилась петь, и меня попросили аккомпанировать. Ее полное удовлетворение моей игрой было наградой за мою смелость выступить с такой знаменитостью. Я был на десятом небе. У меня появился прилив самосознания «великого» аккомпаниатора.

Сага об аккордеоне, которой я занял читателя, завершилась банально. Жили мы скромно. Рос ребенок, и необходимо было приобрести холодильник. Тогда это стоило больших денег, которых в семье не было. Пришлось продать аккордеон. Холодильник был установлен в комнате и, естественно, украшением не служил.

Возвращаясь к семье Эрика и Леры, должен сказать, что эта семья стала очень близка нам, и общение с ней было неотъемлемой частью нашей жизни. С квартиры на Смоленской площади они переехали в отдельный собственный дом в городе Красногорске, где мы обычно отмечали их семейные события и праздники. Там количество гостей, которых эта семья широко принимала, увеличивалось в геометрической прогрессии. Эрик и Лера рано ушли из жизни и оставили глубокий след в памяти всей моей семьи.

СВОЯ КВАРТИРА .

Это был период бума в жилищном строительстве. Наш трест перевели в систему Главмосстроя. Мы занялись электромонтажом вновь строящихся домов, и, в дополнение к этому, мое специализированное управление занималось монтажом телефонных сетей. Мои деловые отношения с председателями райисполкомов укреплялись, и пришло время обратиться к ним с просьбой предоставить мне отдельную квартиру. Я получил миниатюрную отдельную двухкомнатную квартиру рядом с метро «Багратионовская». Счастью не было предела. Но оно было слегка разбавлено проблемой размещения все того же драгоценного холодильника, купленного за деньги от продажи аккордеона. После мучи-

тельных раздумий пришла идея сделать в стене кухни проем в размер холодильника. Проем попадал во внутренний шкаф гостиной. Единственный ущерб был нанесен объему внутреннего шкафа, что легко можно было пережить. Сказано — сделано. Проем вырезал я сам. Холодильник, вставленный в стену и не занимающий места на кухне, удивлял всех посетителей, и кто-то даже последовал моему примеру. Это время было, как мне тогда казалось, апогеем семейного благополучия.

Телефонизация домов, которой занималось мое спецуправление, была для новоселов роскошью. Телефонный кабель был дефицитом. Строителям разрешалось сдавать жилые дома и производственные помещения без подведенных телефонных кабелей. Ко мне обращались с просьбой решить эти проблемы люди самых разных уровней. Я, конечно, пользовался своими возможностями, как говорили, на полную катушку.

Мы ждали рождения второго ребенка. Материальное благополучие позволяло нам улучшить жилищные условия. В это время у станции метро «Кунцевская» завершалось строительство кооперативного дома. Нам удалось вступить в жилищный кооператив и внести взнос на получение трехкомнатной квартиры. Приложены были большие усилия, чтобы к моменту выхода из родильного дома Нелли с ребенком могла въехать в это новое жилье. Прожили мы там недолго. Мой друг Пьер Коган купил в этом же доме однокомнатную квартиру. Жил он в то время на набережной Шеченко в одной комнате. Его способности к решению сложных комбинаций привели к предложению путем одиннадцатикратного обмена переехать в очень тогда престижный кооперативный дом, который назывался «Лебедь», на Ленинградском шоссе в Москве, с гаражом для автомобиля под домом. В результате этого сложного обмена мы эту квартиру получили, а он получил нашу трехкомнатную квартиру в Кунцево.

Обстоятельства были таковы, что даже так называемое Четвертое управление Совета Министров СССР, обслуживающее правительственных чиновников, удовлетворенное работой моих телефонистов в одном из строящихся для

них помещений, стало выделять мне путевки в сеть своих санаториев и домов отдыха. Через них я получил семейную путевку в «Дом науки» Академии наук СССР.

Этот дом отдыха располагался в приморском районе Латвии, в Лиелупе. Дом находился в сосновом лесу в устье реки Лиелупе, рядом с шикарными песчаными пляжами Рижского залива. Главной достопримечательностью были люди, в основном академики Российской академии наук. Там же были великолепные теннисные корты, где за небольшие деньги можно было учиться этому виду спорта, который в то время был уделом самой рафинированной публики. Там мы впоследствии могли покупать путевки на месте и оказались постоянными клиентами руководства дома отдыха.

Летом 1977 года Нелли встретила там свою школьную подругу Наталью Шахову, с которой не виделась очень много лет. Это была яркая, спортивная, веселая, остроумная женщина, которая отличалась незаурядным умом, добротой и жаждой общения. Она была ученым секретарем одного из академических институтов. Ее супруг, молодой действительный член Академии наук СССР Николай Платэ, при всем своем неординарном положении оказался широко общительным человеком, имеющим в своем арсенале огромное количество друзей. Николай Платэ любил литературу, застолье, игру в теннис, хороший анекдот. Дружеские отношения с ним сложились легко, прочно и надолго. Помимо ежегодных общений в течение многих лет в летнее время в Лиелупе, мы стали дружить домами и праздновали семейные события вместе.

Николай Платэ был яркой, выдающейся личностью. В 50 лет он стал действительным членом Российской академии наук СССР. Он заведовал кафедрой в Московском университете, был директором научно-исследовательского института академии наук СССР, был избран ученым секретарем Академии наук СССР и вскоре вице-президентом Российской академии. Он свободно владел английским, французским, немецким языками, был почетным членом многих академий ведущих зарубежных стран. Наша дружба с семьей Платэ никогда не прерывалась, даже после нашего отъезда в США. У Нелли была крепкая доверительная дружба с же-

ной Коли, Наташей, а наша дружба с Колей крепла, как старое хорошее вино.

Еще до нашего отъезда в США, находясь в России, во время прогулок на отдыхе в Лиелуе, Коля любил уже подростку нашему сыну, Мише, рассказывать в популярной форме об основах биологического, химического и физического строения жизни и привил ему любовь к познаниям, особенно в области биологии. Это определило в дальнейшем выбор профессии Миши. Уже находясь в Америке, он стал врачом и считает Колю человеком, определившим его профессиональную судьбу. Я Коле благодарен за знакомство и общение с такими светлой памяти интересными, выдающимися людьми, академиками, как Виталий Иосифович Юлданский, Виктор Александрович Кабанов, Григорий Максимович Бонгард-Левин.

Я благодарен ему за знакомство, которое переросло в крепкую дружбу с известным физиком-теоретиком академиком Юрием Моисеевичем Каганом и его очаровательной супругой Татьяной, дочерью известного писателя-драматурга Николая Евгеньевича Вирты, в творческой биографии которого имеются уникальные сюжеты. Хочется привести один из них, который ярко отражает дух того времени.

В 1946 году писатель Николай Вирта написал пьесу «Заговор обреченных» и, как тогда полагалось, представил ее в Комитет по делам искусств. Спустя некоторое время он пришел к заместителю председателя комитета за ответом. «Прочел вашу пьесу, — сказал тот. — В целом впечатление благоприятное. Финал, конечно, никуда не годится. Тут надо будет вам еще что-то поискать, додумать... Второй акт тоже придется переписать. Да, еще в третьем акте, в последней сцене... Ну, это, впрочем, уже мелочи... Это мы уже решим, так сказать, в рабочем порядке...» Вирта терпеливо слушал его, слушал. А потом вдруг возьми да и скажи: «Жопа». — «Что?» — не понял зампред. «Я говорю, жопа», — повторил Вирта. Чиновник как ошпаренный выскочил из своего кабинета и кинулся к непосредственному своему начальнику — председателю комитета Храпченко. «Нет! Это невозможно! — задыхаясь от гнева и возмущения, заговорил он. — Что хотите со мной делайте, но с этими ху-

лиганствующими писателями я больше объясняться не буду!» — «А что случилось?» — поинтересовался Храпченко. «Да вот, пришел сейчас ко мне Вирта. Я стал высказывать ему свое мнение о его пьесе, а он... Вы даже представить себе не можете, что он мне сказал!» — «А что он вам сказал?» — «Он сказал... Нет, я даже повторить этого не могу!» — «Нет-нет, вы уж, пожалуйста, повторите». Запинаясь, краснея и бледнея, зампред повторил злополучное слово, которым Вирта отреагировал на его редакторские замечания. При этом он, естественно, ожидал, что председатель комитета разделит его гнев и возмущение. Но председатель на его сообщение отреагировал странно. Вместо того, чтобы возмутиться, он как-то потемнел лицом и после паузы задумчиво сказал: «Он что-то знает...». Интуиция (а точнее — долгий опыт государственной работы) не подвела Храпченко. Он угадал: Вирта действительно знал, что его пьесу уже прочел и одобрил Сталин.

Дружба с Каганами не остывает и сегодня, несмотря на разделяющее нас расстояние. В доме Коли мы познакомились с известным переводчиком Виктором Суходревым, который рассказывал много интересных историй, связанных с руководителями страны и общением на их высоком уровне.

Возвращаясь к рассказу о Николае Альфредовиче Платэ, хочется упомянуть его происхождение, которое вызывает представление о наследственности его таланта. Дед его — известный академик Зелинский, отец химик, академик — Альфред Платэ, мать известная художница — модернистка 20–30-х годов Зелинская. В день ее восьмидесятилетия я оказался в Москве и присутствовал на юбилее в Доме науки на Кропоткинской улице. Я зачитал ей написанный по этому случаю с душевной искренностью по отношению к этой необыкновенной женщине мадригал:

Вы сегодня у нас королева,
 В зале слышится верхнее «ля».
 Вы основа красивого древа,
 В этом древе мой друг Николая.

Ваши милые вазы и розы
И портреты не сходят со стен,
Растопили седые морозы
И отбросили грустную тень.

Я целую искусные руки
В юбилейный волнующий такт.
Ваши радости — творчества муки
И палитр артистический акт.

Ваша студия — Ваша обитель,
В Вашу честь в небе звезды зажглись.
Вы по жизни — боец-победитель,
А оружие — твердая кисть.

ГАМБИТ ПО-ЯПОНСКИ

Неожиданно жизнь приняла новый оборот. Меня вновь пригласили в отдел кадров Управления по обслуживанию дипкорпуса МИД СССР на беседу. Это был 1968 год. Наступала пора широкого развития международных торговых и экономических связей. В Москве начали аккредитовываться иностранные компании, в деятельности которых был заинтересован Советский Союз. Министерство иностранных дел возложило на УПДК обеспечение запросов этих компаний, включая персонал. Возник большой спрос на специалистов, знающих иностранные языки. Представительство известной японской фирмы «Мицубиси» просило УПДК направить им специалиста с инженерными знаниями, знающего английский язык. На специалиста, знающего японский язык они не рассчитывали. По направлению отдела кадров УПДК, не очень веря в такую перспективу, я направился в гостиницу «Украина», где фирма занимала два больших номера «люкс» для своего офиса. С большим волнением я переступил порог фирмы. У меня тряслись руки и ноги. Я находился на территории иностранного учреждения. Состояние было таково, что за мной кругом следят, меня везде подслушивают. В комнате офисная обстановка, где сидят

японцы и говорят на японском языке между собой и по телефону. Меня посадили в кресло вблизи одного из письменных столов. Надо быть осторожным, подумал я. Наверное, они будут записывать мой разговор, потом анализировать и делать выводы.

Беседовал со мной молодой японец по фамилии Фудзисава, который неплохо владел русским языком. Он окончил известный Токийский университет «Васэда», где русскому языку обучали на хорошем уровне. Он спросил меня, насколько я знаком с технологическим оборудованием, с металлообрабатывающими станками. Я отвечал, видимо, невпопад и сбивчиво. На его лице я не мог уловить никаких эмоций. Лицо было каменным. Я подумал, что я провалил экзамен, но вдруг был задан вопрос, где я работаю и какая у меня заработная плата. Зарплата в ту пору у меня была по советским меркам высокая, около 150 рублей в месяц. Цифру я ему назвал и подумал: наверное, это для него слишком большой запрос с моей стороны. Он сказал, что зарплата того, кто будет принят на эту работу, будет в два раза больше. Я не мог поверить, но промолчал. Фудзисава обещал дать мне знать о своем решении, и мы попрощались. Я вернулся на работу расстроенный, понимая, что моя кандидатура не прошла.

Когда я вернулся с работы, дома уже лежала телеграмма — молния: «Вы приняты на работу с окладом 300 рублей в месяц. Сообщите когда вы можете приступить к работе». Началось самое трудное. Охватили раздумья. Приобретен опыт работы в строительстве, авторитет хорошего хозяйственника, завоевано не безбедное материальное положение, обретены широкие связи, на чем в Советском Союзе была основана вся жизнь. От всего этого нужно было отказаться и начать новую жизнь с нуля со многими неизвестными. Вместе с тем, манила возможность оказаться в положении той части людей, которая причислялась к элите, куда вход был категорически заказан для людей, обладавших в биографии знаменитой пятой графой. Привлекала перспектива общения с людьми иного мира и иной культуры. Наконец, зарплата на уровне крупного государственного чиновника. На семейном совете было решено: нужно рисковать!

Разговор с управляющим трестом не клеился. Он был категорически против моего ухода. Я был одним из тех, на кого он опирался в работе, и он не видел никого, кто на том этапе мог меня заменить. Отношения с управляющим трестом Абрамом Иосифовичем Ланиным усложнились. На мои настойчивые просьбы он шел ва-банк и грозил вытащить меня на бюро райкома партии. Я понимал, что это серьезно. Этот демарш мог окончательно испортить всю перспективу, которой я уже жил. Я понял, что нужно предпринять какой-нибудь неординарный шаг. Вдруг я узнаю, что молодой дипломат, сын нашего начальника Управления капитального ремонта Николая Яковлевича Ковалева в чьем подчинении находился наш трест, назначен послом в одну из южноамериканских стран. Родилась смелая мысль. Я прошу Николая Яковлевича принять меня для беседы и, слегка лукавя, прошу его помочь, разрешить мне перейти на работу не в японскую фирму, а в дипломатический корпус. Николай Яковлевич, видимо, все еще находясь в состоянии эйфории назначения сына послом, отнесся ко мне с пониманием и благодушием. Попадание было в десятку. Тут же при мне он позвонил Ланину и начальственным тоном осведомился, почему тот препятствует моему переходу в систему МИДа. Так был решен очень важный для меня вопрос коренного перелома всей моей жизни.

12 июля 1968 года я вышел на работу в качестве помощника главного представителя и консультанта японской фирмы «Мицубиси».

В этот период в стране была развернута огромная кампания борьбы с «инакомыслящими». Эту работу выполнял Комитет государственной безопасности (КГБ), организация уже давно известная жестокими репрессивными акциями против собственного народа. Под особым контролем находилась интеллигенция. Сама аббревиатура КГБ вызывала страх и ощущение капкана. Все советские учреждения имели официальных или неофициальных представителей КГБ в своей структуре. Это был «Спецотдел», или «Особый отдел», или отдел под любым другим названием. Главное, что это название всегда было овеяно таинственностью и страхом.

Я не испытывал никаких иллюзий, что УПДК в этом плане было исключением. Естественно, эта ситуация вызывала много домыслов и кривотолков. У некоторых моих друзей имелось четкое представление, что если кто-либо имеет дело с иностранными организациями, значит, он профессиональный сотрудник КГБ, с воинским званием и их зарплатой, что было полным абсурдом. Но было совершенно очевидным, что каждый объект, относящийся к иностранному государству, тщательно прослеживался, и это, видимо, осуществлялось профессиональными методами и средствами, нам неизвестными, но не при помощи советских наемных работников в иностранных представительствах, а их было более 2000. Поручать выполнять какие-либо задания этим людям было нелепо. Они были слишком близки к иностранцам и зависимы от них по зарплате, чтобы не произошла какая-либо утечка. Но, безусловно, была четкая инструкция отдела кадров давать им знать, если иностранец занимается непозволительной враждебной деятельностью, пребывая в СССР.

Работа в иностранном представительстве требовала предельной внимательности и осторожности. Больше всего подвоха можно было ждать от своих советских коллег, работавших в представительстве. Зависть или желание выслужиться перед отделом кадров, чтобы получить более благоприятное место по службе, иногда приводили к печальным последствиям. Были случаи, когда отношения таких сверхслужливых сотрудников с кадровиками переходили официальный рубеж, и, что характерно, обеспеченные доносители не могли удержаться от преподнесения дорогих подарков сотрудникам отдела кадров. Оба попадали в зависимость друг от друга, разоблачались, и оба увольнялись из системы. Таких случаев было много. Суть правильных взаимоотношений с отделом кадров была такова: минимум контактов, честная работа и категорическое табу на занятия валютными операциями. Это были главные критерии. Вот, собственно, и все, что требовалось от советского сотрудника иностранного представительства.

Работа в компании «Мицубиси» складывалась благополучно. У меня установились очень хорошие, деловые отноше-

ния с управлениями внешних сношений различных отраслевых министерств и внешнеторговыми объединениями. Это было время бума импортирования западных технологий и оборудования. Как-то непроизвольно я хорошо вписался в посреднический баланс взаимоотношений между советскими организациями и компанией «Мицубиси».

Советские организации тогда остро нуждались в подробном знакомстве с иностранными технологическими процессами и оборудованием. Зачастую из коммерческих соображений, слепо доверяя Западу, советские заказчики через внешнеторговые организации закупали некачественные технологии и оборудование. Мне удавалось тогда составлять сравнительные таблицы преимуществ отдельных производств быстро развивающейся японской индустрии. Особый упор делался на совместные производства японских и американских изготовителей. Практически это было такое же американское оборудование, только по более низкой цене. Мне удавалось находить компромиссы в сложнейших коммерческих проектах, что приводило к заключению взаимовыгодных контрактов между советским объединениями и компанией «Мицубиси».

Однажды, участвуя в известном советско-японском проекте, называемом Каваи—Седов (КС — аббревиатура была образована из начальных букв фамилий президента японской компании «Камацу» Каваи и начальника управления Министерства внешней торговли Седова), я оказался в Сибири на испытаниях японского строительного оборудования в жесточайших морозных условиях.

Там в самые морозные два месяца зимы от меня требовалось доказать преимущество оборудования совместного производства «Катерпиллер-Мицубиси». Успех был феноменальным. Компания «Катерпиллер-Мицубиси» выиграла огромный контракт. Мою роль оценили обе стороны, японская и советская. Результат этой сделки отразился на настойчивой просьбе компании «Мицубиси» к УПДК, разрешить мне отправиться в поощрительную поездку в Японию. Это был 1976 год. За границу из нашей системы практически никого не отпускали, а тут вдруг я получил разрешение на поездку по приглашению компании «Мицубиси». Радости не

было предела. Перед вылетом, уже находясь в самолете, мне казалось, что вот сейчас войдут какие-то люди в штатском и скажут: «Произошла ошибка. Вы, Ноберт Евдаев, выходите из самолета. Вы никуда не летите!» К счастью, ничего такого не произошло, и я оказался в Токио.

Япония — загадочная, в течение многих веков закрытая страна, со своей особой историей и культурой была для меня уже в какой-то степени знакома по общению с японцами. Увидеть воочию, пощупать все своими руками, находиться в этой экзотической среде было для меня не только любопытно, но и, как свежий глоток воздуха, необходимо. Я настолько был погружен на работе в эту незнакомую мне культуру, что испытывал голод познания, который никак не мог удовлетворить литературой и рассказами коллег.

В первую ночь, находясь в Токио, в гостинице, я боялся упустить время познания и не отходил от окна, наблюдая за тем, что происходит на улице. Под утро, когда уже начался рассвет, я получил первый шокирующий удар, когда увидел японца, моющего мыльной пеной тротуар около своей лавки. Так можно и туфли не чистить, подумал я. Это был не единственный, но первый эпизод в череде тех, которые поразили меня и навсегда влюбили в эту удивительную, добрую, с вежливыми людьми страну.

Руководство «Мицубиси» уделило мне много внимания, подчеркивая благодарность за работу по конкурентной борьбе с другими компаниями. Мне устроили познавательную поездку от Токио до города Хирошима и обратно с переводчиком и полным сервисом. Впервые я ощутил себя персоной VIP, где все преподносилось мне по самому высокому классу. Впечатления о Японии — отдельная тема, которая затронута в моей монографии о Д.Бурлюке, в отдельной книге «Огасавара в бытность Бурлюка», изданной в Японии на русском и японском языках, и в отдельных газетных статьях.

После моего возвращения из Японии представитель американской фирмы «Катерпиллер» в Москве, он же шеф ее московского офиса, Эдди Райт, который занимался проектом вместе со мной, так как бульдозеры производились на совместном предприятии в Японии, уговорил меня переи-

ти на работу в их представительство. Он считал меня перспективным, полезным работником и сам обратился в УПДК с просьбой о переводе меня на фирму «Катерпиллер». Переход вскоре состоялся, и я перевелся на новую работу. Контакты с советскими внешнеторговыми организациями были налажены. Работать мне было легко. Вскоре шеф московского офиса поменялся. Отношения с новым руководителем не складывались. Ему не нравилось, что представители советских организаций по привычке обращались ко мне для решения многих вопросов. Это его раздражало, и после года работы он объявил о моем увольнении.

Это был сильный удар под дых. Я остался без работы. Но не прошло и двух недель, как представитель шведской фирмы «АСЕА» Свен Бизе пригласил меня на работу в качестве инженера-консультанта фирмы. Формальности с УПДК были отрегулированы, и я приступил к новой работе. Мое внимание было направлено на тщательное изучение производимого высокотехнологического оборудования фирмы, которая была известна в мире производственными роботами, изостатическим прессованием и электротехническим оборудованием.

Это был 1977 год. Внедрение высокотехнологических процессов и современного оборудования было главной задачей советской индустрии. У многих руководителей министерств было недостаточно элементарных знаний выпускаемого в мире современного оборудования. Этот вакуум я решил заполнить выпуском научно-популярных книг с описанием самого оборудования, выпускаемого фирмой «АСЕА», и его применения в производстве. Успех не заставил себя долго ждать. Книги, написанные на русском языке расходились с молниеносной быстротой. Главными потребителями были работники аппарата министерств и ведомственных институты. Популярность фирмы росла. Заказы увеличивались. Оборудование, особенно для авиационной промышленности, вызывало особый интерес. Институт физики высоких давлений пригласил меня провести презентацию технологического процесса изостатического прессования. К этому времени я уже был хорошо подготовлен для проведения такого рода презентации, написав об этом

процессе книгу. Вскоре ко мне обратилось руководство института с просьбой организовать поездку заместителя директора института Николая Ковалева для ознакомления с производством лабораторного прессы в Швецию. Институт также ходатайствовал, чтобы Ковалева сопровождал я. Задача у института была стратегической. Осваивалось производство изоляционных керамических покрытий летательных аппаратов в космосе. Такие материалы создавались путем изостатического прессования. Требовались исследования с использованием лабораторных прессов. Руководство «АСЕА» великодушно отнеслось к просьбе ознакомления с такого рода лабораторными прессами, зная о том, что за этим последуют закупки производственных прессов, поскольку технологией их производства владела исключительно фирма «АСЕА». Видя такую перспективу, «АСЕА» разрешила Н.Ковалеву поработать со мной в цехах фирмы.

Летом 1988 года мы отправились в шведский город Вестерос. Поездка была успешной. Моя статья об этом лабораторном прессе вышла в научном журнале «Порошковая металлургия», а институт при нашем участии создал свой лабораторный пресс. Моя работа была отмечена, и институт готовился к научной оценке моей деятельности.

Это было время массового выезда многих семей из Советского Союза на постоянное жительство за границу. В основном поток людей еврейской национальности был направлен в государство Израиль. Моя дочь с мужем, свекром и двумя маленькими детьми получили вызов от родственников и приняли решение репатрироваться в Израиль. Правил требовали, чтобы я дал на отъезд семьи разрешение. Признаться, разрешение я дал не сразу, но, взвесив все обстоятельства, вскоре бумагу подписал, и семья дочери улетела вначале в Вену, затем в Италию, где репатрианты отстаивались перед переездом в Израиль, в США или другие страны.

Я понимал, что мое пребывание на работе в системе УПК было несовместимо со статусом отца, как тогда говорили, «предателей родины». Понимал, что могу иметь неприятели со стороны госбезопасности. Я принял решение выйти на досрочную пенсию. Семья была разделена.

Подрастал сын. Грозившая ему опасность быть призванным в армию, страдающую болезнью «дедовщины» и беззаконием, привела нас к решению последовать за дочерью. Мы заказали вызов.

ЧАСТЬ III
В Америку

ЭМИГРАЦИЯ

До получения вызова размышления об эмиграции не давали покоя. Мы жили в относительно материальном порядке. У нас отсутствовало, как у многих эмигрантов, ощущение перереализованной судьбы. Мы не относились к категории граждан, находившихся в условиях преследования, но все наше близкое окружение дышало интеллектуальной и духовной изоляцией от потока существовавшей коммунистической идеологии и морали тоталитарного государства. Мы всегда были внутренними эмигрантами. Борьбу мы не вели, но были пассивными диссидентами и, как писал Илья Эренбург, «жили, стиснув зубы».

Советский режим всегда вынуждал нас думать о лучшем, о другом, идеальном порядке жизни, свободе, гражданстве. Мы всегда хотели жить в свободном мире, особенно чтобы наши дети ощущали в полной мере альфу и омегу жизни.

После отъезда дочери вся наша семья оказалась заложницей у правящего советского режима. К тому же у сына Миши наступал призывной возраст. Доходившая до нас информация о дедовщине, невыносимых условиях службы в Советской армии, часто доводивших солдат до суицида, приводила нас в отчаяние. Кроме того, многие друзья и родственники уже находились в Израиле и в США. Все это уводило нас в поток эмигрантских мыслей, и уже вполне осознанно. Мы поддались общей тяге — бежать...

Моя кузина, светлой памяти Эстер Писанова, очень близкий мне из родственников человек, обосновалась с семьей в Бруклине, в Нью-Йорке. Она жаждала, чтобы моя семья оказалась там же. Она же организовала нам официальный вызов. Оформление документов на выезд в московском ОВИРе практически времени не заняло, и мы с трепе-

том и волнением ждали разрешения. Всем было известно о препятствиях, чинимых властями желающим уехать из страны. Было известно об огромном количестве так называемых «отказников», которые ждали годами разрешения на выезд.

Летом 1989 года неожиданно наступила пора послабления запретам на выезд, и многие, обратившиеся в ОВИР, получали разрешение. Я помню, как мы втроем, с женой и сыном, в очередной раз, прибыв в это учреждение, ставшее уже в народе популярным, чтобы осведомиться о положении дел с нашим обращением, неожиданно получили разрешение на выезд. Мы чуть не бросились в пляс. Время было еще рабочее, и мы, на удивление прохожих, буквально запыхавшись, бегом, стрелой направились в голландское консульство, которое оформляло выездные визы. Мы, представители третьей «диссидентской» волны, были уверены, что уезжаем навсегда, и, как троянские женщины сжигали корабли, мы также освобождались от всего имущества. Мы были уверены, что никогда не возвратимся обратно.

Конечно, жаль расставаться с любимыми предметами, которые приобретались на трудовые деньги и которые служили тебе постоянно в обиходе или ждали своего применения, спрятавшись в глубине шкафов или красуясь на полках. Мы с бездосадной щедростью раздавали нажитое за много лет имущество соседям и родственникам, приехавшим нас провозжать. Предметы коллекционирования и увлечения ментально превращались в обесцененные деньги — рубли.

Самое сложное в эмиграционном процессе — паковать-ся... Что брать с собой и в каком объеме? Предпочтение отдавалось, естественно, прежде всего предметам абсолютной необходимости, а потом — доставлявшим удовольствие и комфорт. Уже, находясь за кордоном, мы обнаруживали у себя в багаже такие предметы, как разделочная кухонная доска, туристический набор посуды или банный халат, который занимал половину чемодана и стоит в Америке 6 долларов. Было принято решение: берем с собой 2 места на человека. Одно из шести мест — это мои живописные работы. Для них убиенный в Ленинграде после нашего отъезда бандитами племянник, светлой памяти Борис Сак-

сонов, специально спил из сумочного материала удобный чехол по размеру самой большой картины. Квартиру нам пришлось сдать в правление кооператива «Лебедь», потому что, согласно правилам, без справки о сдаче квартиры мы не имели права на выезд. Нам причиталась какая-то сумма из выплаченных за квартиру денег, на которую мы оставили доверенность моему кузену.

28 июня 1989 года мы с супругой Нелли и сыном Мишей вылетели из московского аэропорта «Шереметьево» в Вену. Огромную дистанцию с разными идеологическими системами, капиталистической и социалистической, мы преодолели за два с половиной часа. В Вене нас встретил представитель САХНУТА и отправил на автобусе в гостиницу. Большинство из прибывших тут же рассыпались по городу, в их числе были и мы.

Мы не были туристами и смотрели на эту красоту уже глазами эмигрантов, которые жадно впитывали все живое и неживое, вырвавшись из закрытого мира вечных ограничений.

Вена был городом, овеянным величием и роскошью, в котором нужно было начинать осмысливать новую жизнь. Обычное занятие эмигрантов — осмотр достопримечательностей и знакомство с торговыми заведениями. Первое человеческое качество, которое вырабатывается внутри у эмигранта, — это бережливость. Мы экономили каждый австрийский шиллинг, питались очень скромно, старались не тратить деньги на транспорт и ходили пешком.

Мои бывшие коллеги по работе шведы, с которыми я не терял связь, были трогательно внимательны к моей семейной эмиграционной одиссее. Моя большая работа по ознакомлению советских специалистов с судовыми гидравлическими кранами шведской фирмы «Хэглундз» привела к серьезным результатам. Я написал и издал книгу с подробным описанием этого уникального оборудования. Вслед за этой книгой мы со специалистом по гидравлике (кстати, моим кузеном) Альфредом Владимировичем Круткиным написали и издали большой справочник для инженерно-технических работников в этой области, который вышел в свет как раз в 1989 году, незадолго до нашего выезда из СССР. Все

эти усилия завершились заключением больших контрактов фирмы с советскими организациями. Фирма «Хэглундз» хорошо понимала мой вклад в этот успех. Благодарность руководства фирмы и личная внимательность Гарри Фуремана выразились в том, что он, вице-президент компании, специально прилетел из Швеции в Вену и из всех сил старался сгладить тяготы первого этапа нашего эмигрантского существования.

Предварительно договорившись по телефону, мы встретились с Гарри Фуреманом на центральной площади Вены — Штефанплац, в самом сердце города, откуда начинаются все туристические маршруты. Мы нашли эту площадь легко. Здесь находится готическое сооружение, кафедральный Собор Святого Стефана, всемирно известное культурное достояние, национальный символ Австрии, одно из главных достопримечательностей города.

Фуреман встретил нас как родных. Эта встреча тронула нас до глубины души. Шведы в течение всей моей десятилетней работы с ними, вопреки штампу о них как о людях с холодным, нордическим характером, всегда проявляли теплоту и мягкость, а во время моего пребывания в Швеции — дружелюбие и гостеприимство. Мы прошли по венским улицам, слушая рассказ Гарри Фуремана об этом замечательном городе, который он знал достаточно хорошо. Первое заведение, с которым он нас познакомил, это известное в Вене кафе «Централь». Там обычно собирается вся интеллектуальная элита австрийской столицы. Кафе расположено вблизи дворца Хофбург, императорской резиденции Франца Иосифа. Дворец расположен напротив одного из домов, построенных Адольфом Лоосом в стиле модерн. Существует легенда: Франц Иосиф терпеть не мог этого здания в стиле модерн настолько, что даже запретил слугам отодвигать гардины на тех окнах, которые выходили на это чудовищное, по его мнению, сооружение.

Мы находились в надежных руках. Гарри Фуреман, образованный и хорошо информированный человек, не жалел ни времени, ни средств, чтобы показать нам столицу бывшей империи, которая живет памятью о своем былом величии.

Мы объездили на такси почти весь город. Перед нами вырастали великолепные здания в романском стиле, шедевры готики, многие дворцы и храмы в стиле классического барокко, особенно — Национальная библиотека. Мы познакомились с городским парком, в начале которого находится знаменитый памятник Моцарту. Мы любовались модерном, отличающимся своим особым австрийским стилем. У истоков модерна в Австрии стояли такие известные живописцы, как Густав Климт и Эгон Шиле, а у зарождения модернистской прозы — творчество такого писателя, как Франц Кафка.

Центр Вены застроен ласкающими взгляд зданиями постмодернистского стиля. Среди сооружений современной архитектуры — здание Международного агентства по атомной энергетике и здание австрийского Сецессиона, объекты мирового художественно-исторического наследия. Само название (сецессион — раскол) вызвано протестом против традиционного искусства венского Дома художников, где царил консерватизм. Девизом художественной группы стали слова, которые написаны над входом в здание Сецессиона: «Каждому времени — свое искусство, каждому искусству — своя свобода». Эта надпись звучала как аллегория к нашему вступлению в новую жизнь.

Еда в ресторанах, в которых мы побывали с Гарри и за которую он щедро платил, была очень вкусна, а порции просто огромные, даже больше, чем в русских ресторанах на Брайтон-Бич в Нью-Йорке. Мы впервые столкнулись с возможностью после окончания ужина брать оставшуюся еду с собой. Так здесь делали многие, и даже самые респектабельные по внешнему виду посетители. В гостинице, куда мы возвратились после ресторана, мы устроили для наших эмигрантских попугачиков буквально пир, используя эту самую завернутую нам с собой вкусную еду, которой хватило на 10 человек. Гарри Фуреман провел с нами три незабываемых дня. Без его участия многое осталось бы для нас на тот период недоступным. Его моральная поддержка придала нам сил и развеяла в какой-то степени неуверенность в нашем большом жизненном переломе.

После его отъезда мы с любителями живописи из нашей эмигрантской группы посетили галерею Верхнего Бельве-

дера, где представлена крупнейшая коллекция работ Климта, Шиле, Кокошки, Вальдмюллера и Макарта.

Дочь Марина со своей семьей находилась в Италии в ожидании нашего приезда и получения разрешения на дальнейшее движение то ли в США, то ли в Израиль.

После двухнедельного пребывания в Вене мы — большая группа эмигрантов, заполнившая весь железнодорожный состав, — отправились в Италию. СОХНУТ предпринял все меры предосторожности от возможных террористических нападений. Каждый вагон поезда охранялся автоматчиком. Мы впервые увидели защищающих нас израильтян, которые заботились о нашей безопасности, и это вызывало необыкновенное чувство умиления и благодарности.

Прибыли мы ночью на небольшую станцию недалеко от Рима. Нам говорили, что это тоже в целях безопасности. Оттуда автобусами нас доставили в специально построенный для временного проживания эмигрантов лагерь в лесу, где каждая семья разместилась отдельно в маленьком деревянном доме. К нашему прибытию все было хорошо подготовлено и рассчитано. Скучно в импровизированном поселке не было. Люди сближались очень быстро. Все оказались в одинаковом положении. Те друзья, которых дала нам судьба в процессе эмиграции, нам казались самыми близкими и искренними.

В поселке был телефон-автомат, по которому мы общались с дочерью. Для нас Марина арендовала квартиру в Санта-Маринелла, где с семьей, мужем и двумя детьми, находилась уже несколько месяцев.

Санта-Маринелла — небольшой курортный городок. Находится в середине Западного берега Апеннинского полуострова, там, где начинается голенище элегантного «сапожка». Квартира была невесть какая, но огромный балкон в виде террасы, где можно было жарить мясо на углях и в жару поливать друг друга водой из шланга, делал нашу жизнь рационально устроенной и даже праздничной.

Мы понимали, что нам отведено ограниченное время на пребывание в Италии, стране музеев и исторических памятников. Нас буквально срывало с места поскорее окунуться в этот мир древностей и наследия античного искусства с отголосками древней цивилизации.

Санта-Маринелла находится в 50 километрах от Рима, и чтобы добраться до Рима электричкой, требуется 30 минут. За окном вагона уплывали куда-то необычные, как будто уже знакомые картинку с ровными квадратами виноградников, беленькие аккуратные домики на фоне закрывающих горизонт гор.

РИМ

«Кто видел Италию, и особенно Рим, тот никогда больше не будет совсем несчастным», — писал Гёте. О Риме говорят, что это самый насыщенный достопримечательностями на один квадратный метр площади город в мире. Город-легенда, рай и музей под открытым небом. Мы с Нелли и сыном Мишей носимся как угорелые под палящим солнцем пешком, экономим на транспорте, хотим прочувствовать этот город глазами и ногами! В каждом городском звуке, в каждой улице, выложенной брусчаткой, в каждом здании, в каждом памятнике есть что-то мистическое и что-то вечное, а балконы жилых домов, залитые морем зелени, создают праздничность бытия. Мы впитывали в себя эти ощущения, пытались запомнить каждую деталь.

В Риме есть места, куда непременно стремятся попасть приезжие, да и местные жители при случае туда заглядывают. В первую очередь это самый большой фонтан столицы «Фонтан Треви». Главная цель посещения — бросить монетку, чтобы возвратиться. По рекомендации наших друзей мы отведали очень вкусное мороженое, которое продается тут же в магазинчике. Построен фонтан на месте захоронения Св. Петра, который был распят (в начале нашей эры) головой вниз за веру в Христа.

Другая достопримечательность в серии многочисленных фонтанов — «Фонтан черепах»: четверо бронзовых юношей подталкивают черепах в чашу в виде вазы. Этот фонтан уже хрестоматийно вошел в русскую поэзию хорошо известным стихотворением Иосифа Бродского «Пьяцца Маттеи» (1981).

Я пил из этого фонтана
В ущелье Рима.
Теперь, не замочив кафтана,
Канаю мимо.

По преданию, фонтан, фигурирующий в стихотворении, поставил на своей площади князь Маттеи за один-единственный день — когда отец его невесты решил отказаться от свадьбы дочери. Фонтан произвел впечатление, и свадьба состоялась.

В комментарии Петра Вайля к упомянутому стихотворению сказано: «Площадь — на краю старого римского еврейского гетто, где теперь попадаются кошерные лавочки и закусовые, неподалеку — лучшее в городе заведение римско-еврейской кухни «*Pirepno*» со специально панированной треской и жареными артишоками *alla giudea*». Ощущения поэта Бродского Вайль передает такими словами: «То, от чего становишься физически счастливым» (почти по Гёте).

В нынешние времена бывшее римское еврейское гетто превратилось в «квартал художников», место любителей искусства, одним словом — в римский «Монмартр». У фонтана находилась небольшая группа англоязычных туристов, и мы, присоединившись к ним, прослушали рассказ экскурсовода о возникновении еврейского гетто.

Первоначально произошло это в Венеции. Там было сильно развито литейное производство. Шлак, как отходы этого производства, оставался на одном из островов. Этот остров находится далеко от центра города и со всех сторон окружен водой, практически являясь естественной тюрьмой. В XVI веке власти Венецианской Республики решили собрать в одной зоне всех евреев, живущих в городе. Власть считала этот остров, куда выбрасывались шлаки, подходящим местом для евреев, к которым выработалось определенное отношение. Отсюда возникла легенда о происхождении слова «гетто»: «*getto*» или «*gheto*» означает по-итальянски «шлак». Имеется альтернативная этимология, идущая от итальянского «*borghetto*», уменьшительное от «*borgo*», что означает «городок». Читателю предоставляется возможность принять на веру ту легенду, которая ему понятней.

Венецианское гетто было ограничено по площади, и вскоре возникла необходимость предоставить евреям дополнительное место для изолированного проживания. В 1541 году такое место было предоставлено в Риме в районе Пьяцца Маттеи. Так было основано «Старое гетто» как дополнительное место еврейского заключения. В 1797 году Наполеон отменил старые ограничения против евреев, и потом, во время австрийского господства, евреи были абсолютно свободными. Вместе с тем фашистский режим и время республики Сало (1943–1945) были тяжелейшим периодом для итальянских евреев.

Весь центр Рима — пешеходная зона. Мы гуляли с путеводителем в руках. Все достопримечательности (Колизей, Форум, Пантеон, площадь Испании) обошли быстро. Все они находятся недалеко друг от друга. Мы не заметили, как наступили римские сумерки.

Впечатление миража. Многие церкви и замки построены на возвышенностях и подсвечиваются в темное время суток. Такое же применение света для подчеркивания архитектурных форм и деталей зданий сегодня использовал на моей родине муниципалитет г. Баку, в Азербайджанской Республике, где я недавно побывал. Все сооружения, представляющие хоть какую-то архитектурную ценность, также подсвечены мощными светильниками. Зрелище необыкновенное. Невольно вспомнил Рим. Возвратились мы в Санта-Маринеллу поздно ночью.

ВЕНЕЦИЯ

В один из дней мы записались на организованную экскурсию в Венецию с русским гидом. Возможность познакомиться с Венецией уже вызывает эмоциональный трепет. Это чудо-город в облике шедевров архитектурной мысли, который обманул природу и расположился в условиях, доселе не имевших прецедентов. Венеция была основана в 452 году нашей эры, когда тевтонские рыцари, овладев Италией, вытеснили местное население из северных итальянских городов на острова в лагуне. В 697 году была основана

республика, которой правили герцоги (по-венециански — дожи). Вскоре Венеция превратилась в богатый торговый центр, город, напоминающий театральные декорации. Магическая атмосфера прошлых эпох сохранена полностью. С ее образом соединены стаи голубей, (к нашему удивлению размером с курицу), толпы иностранцев, лавочки с изделиями из венецианского стекла. С этим городом связаны имена таких гениальных художников, как Тициан и Тьеполо, таких писателей, как Гоцци, и таких знаменитых авантюристов, как Казанова.

Этот необычный город разделен на 122 острова связанных 400 мостиками. Жилые постройки и церкви стоят на многочисленных древних деревянных сваях. Например, на одну из церквей пошло более миллиона свай. Фасады дворцов кажутся вырастающими прямо из воды.

Весь город разрезает Канале Гранде (Большой канал) в форме огромной буквы «S», ширина канала 6 метров. Узкие улицы разделяют хаотично расположенные древние строения с тротуарами. Все это окружает вас чарующей мистической атмосферой застывшей в веках Венеции.

А разговоры о влажности, которая непременно вызывает заболевание артритом, беспочвенны. Люди там живут веками и благополучно проводят старость.

Все эти интересные сведения мы получили от нашего русско-язычного гида Александра. Нам повезло. Хорошо образованный ленинградец отлично знал предмет и рассказывал обо всем увлеченно и интересно. Когда мы с катера выбрались на землю Венеции, он начал экскурсию с посещения площади Пьяцца Сан-Марко.

ПЬЯЦЦА САН-МАРКО (САН-МАРКО)

Я думаю, что все туристы начинают свои экскурсии с площади Сан-Марко. Это — «прекраснейший салон Европы», как писал о ней Наполеон. Из всех площадей Сан-Марко самая старшая, если считать ее началом небольшое пространство перед собором Базилика ди Сан Марко. Великолепный в своей византийской роскоши, необыкновенном смешении

стилей и эпох, собор утонченно индивидуален. Строительство современного собора было завершено в конце XV века. Одновременно была построена отделенная от храма девятностодевятиметровая колокольня, которая в 1902 году рухнула. Ее тут же восстановили в прежнем облике.

Именно эта площадь привлекает огромное количество голубей, которые чувствуют себя там хозяевами. Часть площади отведена под открытое кафе, где летом нелегко найти свободное место. Звук на этой площади необычный, он перемешан с мягкими всплесками волны, бьющейся о мраморные фундаменты зданий, с воркованием голубей, с шумом случайно проносящейся лодки или катера с полицейским или скорой помощи или песней гондольера, но полностью отсутствует шум уличного транспорта.

ПЕГГИ ГУТЕНХЕЙМ

Обойти все дворцы и музеи в Венеции за один экскурсионный день невозможно. Мы сориентировали себя на знакомство главным образом с современным искусством, к которому в СССР мы доступа практически не имели. Первое столкновение с реальным современным искусством состоялось здесь в коллекции «Пегги Гутенхейм». Это самая большая в Италии коллекция современного искусства Маргариты (Пегги) Гутенхейм. Она собрала свою коллекцию в то время, когда художники бежали из оккупированной нацистами Франции. После смерти Пегги (в 1979 г.) ее коллекция, представляющая примеры всех важных движений в искусстве XX века, согласно ее завещанию, перешла городу. Жилищем Пегги был «Дворец львов», название которого произошло, как гласит легенда, потому что хозяева держали во дворце льва. Свою коллекцию Пегги Гутенхейм открыла публике в 1949 году. Пегги была большой любительницей собак, и многие из них были похоронены у ее могилы, в саду дворца, где экспонируются статуи. В ее коллекции находятся такие шедевры, как первые кубистские работы Франца Марка, Пабло Пикассо, Жоржа Брака, Василия Кандинского и по одной картине Сальвадора Дали и Хуана Миро. Там

также представлены несколько сюрреалистических работ Марка Эрнста, мужа Пегги Гугенхейм.

КА ПЕЗАРО

Другой дворец, где хранится собрание современного искусства, это дворец Ка Пезаро. Его главный фасад смотрит на Канале Гранде. Галерея в этом здании находится с 1902 года. На выставке собраны картины разностороннего современного итальянского и мирового искусства. Здесь находятся работы Климта, Кандинского, Шагала, Матисса, Клее, де Кирико, Миро, Ива Танги и других. Эту экспозицию мы просмотрели бегло. Нужно было возвращаться на катер.

Роскошные дворцы, галереи, прелестные мостики и таинственные отражения в каналах все это выглядело как прекрасные декорации для большого спектакля, который засел в памяти на всю жизнь.

ВАТИКАН

После нескольких дней передышки мы отправились в Рим для посещения Ватикана. Встав пораньше, мы запаслись временем, чтобы быть там в числе первых. Оказалось, что в 9 утра мы пристроились к огромной очереди на знаменитой площади перед Ватиканом. Говорили, чтобы увидеть всю коллекцию Ватикана, нужно проделать путь длиной 8 км. Здесь хранится величайшая в мире коллекция античности и эпохи Возрождения. В очереди мы простояли более часа, прежде чем наш взгляд коснулся шедевров музеев. К сожалению, знаменитое здание — Ватиканский, или Папский, дворец, состоящий из более чем 1000 комнат, — был закрыт на реставрацию. Нам удалось осмотреть нескольких часовен и Музей папской библиотеки, Музей Пио Клементино с его великолепной коллекцией. Самые выдающиеся экспонаты музея разместились в восьмиугольном дворике, где мы увидели знаменитую скульптурную группу «Лаокоон», созданную в 50 году до н.э. на острове Родос. Там же находится скульпту-

ра «Аполлон Бельведерский», римская копия 130 года н.э. с греческого оригинала 330 года до н.э., Музей Кьярамонти и Ватиканская пинакотекa с большой коллекцией работ итальянских мастеров. На этом мы решили ограничить себя.

ФЛОРЕНЦИЯ

Конечно, познакомиться со всей Италией невозможно. Мы стремились увидеть наиболее значимые места с сознанием того, что мы больше в этот замечательный мир искусства никогда не попадем. Но мы, к счастью, ошибались. Через несколько лет мы здесь побывали в качестве туристов.

Флоренция — колыбель Ренессанса Италии. Здесь оказываешься приблизительно в веке пятнадцатом. Но город живет современной жизнью. Шикарные витрины магазинов, мужчины и женщины, по-деловому одетые, заполняют центральные улицы города, потоки машин и, что свойственно Италии, огромное количество мотороллеров, проносающихся мимо нас. Говорят, что Флоренция остается в сердце любого, кто здесь побывал. Кажется, что искусство было главным занятием жителей этого города. Для создания того, что остается до сих пор и что уже исчезло, были необходимы усилия нескольких поколений художников. В этом городе жили Леонардо да Винчи, Микеланджело, Боттичелли, с Флоренцией неразрывно связаны имена Данте и Боккаччо, здесь сформировался литературный итальянский язык, распространившийся впоследствии на всю Италию.

ГАЛЕРЕЯ УФФИЦИ

Наши физические возможности и эстетическое восприятие искусства постепенно ослабевали. За короткий срок мы переварили огромное количество информации. Во Флоренции мы решили ограничиться только осмотром Галереи Уффици. Признаться, это тоже не мало. Здание Галереи Уффици было построено в 1575 году. Первоначально правитель Флоренции Козимо I Медичи замышлял разместить

там все административные службы города. По окончании строительства семья Медичи приняла решение сформировать там музей, чтобы разместить свою семейную коллекцию. Постепенно коллекция стала пополняться.

Нам довелось увидеть шедевры Леонардо да Винчи, Рафаэля, Джотто, Боттичелли, Тициана. В этой галерее также немало образцов античного, французского, испанского, немецкого, голландского и фламандского искусства.

Оставшуюся часть дня мы решили прогуляться по городу и найти наиболее экономически приемлемое для нас заведение, где можно было «заморить червячка». Этот поиск закончился забегаловкой, где мы отведали традиционную «пасту» (макароны с соусом). Мы обратили внимание, что многие итальянцы не говорят по-английски. Весь обслуживающий персонал — мужчины.

Начиная с момента принятия решения об эмиграции и в процессе движения на Запад, осознанно или нет, мы постоянно находились в состоянии психологического стресса. Такое плотное знакомство с западной культурой, главным образом искусством, безусловно, сглаживало наши переживания. С другой стороны — закомплексованность в связи с нашим эмигрантским состоянием не позволяла нам расслабиться и воспользоваться в полном объеме возможностью осмотреть все прелести цитадели творений великих мастеров. Даже в усеченном виде на нас обрушился поток магической энергетики увиденных произведений. Мы оказались заласканными их воздействием. Все это мягко ложилась на наше беспокойное состояние. Видимо, в этом великая сила искусства. В Италии, в этой чудесной стране, с чудесным приветливым народом, который смог перенести большие неудобства в связи с еврейским нашествием, мы получили много положительных эмоций и стимулов для размышлений. Но почва начала уходить из-под ног. Организация, которая занималась репатриацией тысяч застрявших в Италии людей, объявила, что Госдепартамент США отказал в приеме иммигрантов из Советского Союза. Возникли паника и беспокойство в среде эмигрантов. Сразу же наплись лидеры для реализации плана. Появились люди, которые объявили голодовку и распо-

ложились на пешеходной части площади. Был назначен день митинга протеста против решения американцев. И вот «день истины» настал. С раннего утра переполненные электрички с эмигрантами без проездных билетов (руководители митинга договорились с городскими властями о бесплатном проезде участников) прибыли в итальянскую столицу. На площади перед американским посольством, в центре Рима, собрались протестующие, скандируя по команде операторов через портативные громкоговорители. Воздух сотрясаясь от напряжения, откликаясь эхом на фразы, произносимые толпой. Четко запомнилась одна из скандируемых фраз: *Let my people go!* — известная просьба из Старого завета Библии и американского блюза «Мозес». Такое мощное выражение единых чувств эмигрантов, с их переживаниями о покинутых домах, о расставании с родными, друзьями, с могилами близких людей, превращалось в вошь горести.

Прошло очень немного времени, и началось движение к заветной цели. Нам с Нелли и Мишей выдали визу на въезд в Соединенные Штаты. Дочери с семьей визу не открывали. Их принуждали ехать в Израиль, так как отец зятя репатрировался в Израиль и отъезд в США противоречил общей идее воссоединения семей. На семейном совете было решено мне с Нелли и сыном отправиться в США и таким образом востребовать потом другую половину семьи для воссоединения. Трудно забыть расставание с семьей дочери, особенно с маленькими внуками, машущими нам ручками, на которых мы смотрели сквозь слезы из окна автобуса в Риме, уходящего в аэропорт. Эта картина расставания с родными неизвестно на какой срок глубоко запечатлелась в нашей памяти.

ЧАСТЬ IV
В Америке

ПЕРВЫЕ ШАГИ

При перелете с одного континента на другой пассажиры в самолетах при приземлении обычно аплодируют экипажу за оказанный благополучный сервис. Такого опыта у советского пассажира в прошлом не было, но в этот прилет чартерного рейса из Рима в Нью-Йорк гром оваций с возгласами восторга, как это бывает на гала-концертах, долго не смолкал. Это был естественный эмоциональный взрыв радости от важного этапа победы в сложном психологическом процессе эмиграции. 28 сентября 1989 года мы прошли визовый контроль и таможеню в аэропорту Кеннеди. Мы с Нелли и сыном Мишей вышли с пятью чемоданами и с сумкой с картинами к толпе, встречающей эмигрантов.

Мы попали в объятия моей племянницы Аллы и ее мужа, доктора Эрика Ханукаева, сменившего фамилию на Кейн. Алла — дочь моей кузины Эстер Нисановой, с которой связаны решение о нашей эмиграции и процесс оформления вызова. Прожили мы около двух недель в семье Эстер и ее супруга Натана. Они эмигрировали из Баку в начале восьмидесятых годов. По прибытии в Америку доктор-радиолог Натан Нисанов в силу уже почтенного возраста не стал подтверждать свою квалификацию и занялся медицинской электронной диагностикой. Он уделил нам много внимания в оформлении иммигрантских документов. У него уже был опыт прохождения всей процедуры. Натану приходилось каждый день с нами ездить в Манхэттен.

Вскоре мы арендовали квартиру в частном трехэтажном доме на улице Дитмас в Бруклине. Хозяева дома — пожилые евреи, эмигранты из Аргентины, приятные, приветливые люди, но с существенным недостатком. Они жестко эконо-

мили топливо, и зимой мы спали в одежде и часто болели. Начались американские будни.

Каждое действие в новых условиях было событием, и мы с большим любопытством и тщательностью осваивали его. Грезы и размышления, которые нас одолевали в Союзе, не давали покоя. Представление об Америке было другим. Это Американская выставка в Москве, журнал «Америка», фильмы с участием знаменитых американских звезд, американский джаз с его звездами Фрэнком Синатрой, Эллой Фицджеральд, джазовыми оркестрами Глена Миллера, Дюка Эллингтона и т.д. Все это тогда формировало какой-то фантастический флер и любовь к американскому образу жизни и культуре Америки. В канун отъезда сильное впечатление произвел на нас фильм «Джазовый певец». Где мы раздобыли эту кассету, я уже не помню, но помню, что прокручивали ее бесконечное количество раз и знали фильм почти наизусть. Там в главной роли Нил Даймонд, родившийся в том самом Бруклине, где поселились и мы, воплотил в жизнь «американскую мечту», стал яркой звездой экрана. В Бруклине родилась и известная певица Барбара Стрейзанд, которая стала звездой американского кино и также воплотила в жизнь эту самую мечту.

ПУТЬ К «АМЕРИКАНСКОЙ МЕЧТЕ»

Где же хранятся ключи от «американской мечты», с чего нужно начинать? Было очевидно: каждому из нас нужно заниматься поиском своего пути к успеху. Понятно, что главное внимание было направлено на сына. Мише 16 лет. Важно сохранить с ним взаимопонимание, поддержать его физическое и психологическое состояние. В Москве он активно занимался большим теннисом. Это воспитывало в нем самостоятельность, отвагу, энергию и целеустремленность. Все это было полезно для преодоления предстоящих трудностей в эмиграционной жизни.

Мишу приняли в 11-й класс городской государственной школы (Public School). Обычно у детей эмигрантов возникает проблема контакта с местными ребятами. Мешает язык

ковый и эмоциональный барьер. Те знания, которые сын приобрел в московской английской школе, были недостаточны.

Несмотря на довольно быстрое овладение английским языком, по нашим наблюдениям, Миша еще долго оставался среди школьных сверстников чужаком. Мы с женой, иногда посещая школу, чтобы удостовериться, как идет учеба сына, поражались свободными нравами старшекласников. Во время учебных перерывов в коридорах можно было встретить обнимающихся и целующихся учащихся. Нас, советских пуритан, эти сцены приводили в ужас. Вместе с тем, главным достоинством этой школы было то, что Миша за время учебы блестяще отшлифовал свой английский, получил нужный объем знаний для поступления в колледж. Он без труда сдал языковой экзамен (TOEFL) при поступлении в Нью-Йоркский университет.

Обучение в вузах в Америке, в отличие от СССР, платное. Эти деньги он сам добывал у благотворительных организаций. Позже ему пришлось взять под низкий процент студенческий лон, с которым он до сих пор еще не рассчитался.

Чтобы самим не заблудиться в этом густом лесу эмигрантских будней, мы с Нелли должны были найти и себя, а также выглядеть перед сыном достойными участниками всего этого процесса, которым необходимо было состояться в новых условиях.

Для Нелли первостепенная задача была поступить на курсы английского языка. Она имела в памяти небольшой запас английских слов, оставшийся от сдачи зачетов по английскому языку в виде так называемых «тысяч» в Менделеевском институте в Москве, который она окончила. Обучение английскому языку в Нью-Йорке на курсах предоставлялось бесплатно еврейскими общественными организациями.

У меня же была задача более сложная: получить работу. Я понимал, что у каждого своя «американская мечта» и за нее нужно бороться, и это никогда не поздно. Это нелегкий путь, который требует сосредоточенности, отрешенности от зависимости, комплексов, заработанных в социалистической действительности, которые мы привезли с собой. В СССР карьера строилась на совершенно другой основе.

Американское общество со своими неведомыми для нас социальными связями познавалось постепенно. Английский язык я знал прилично и имел опыт работы в иностранных компаниях, но возраст 60 лет явно не подходил для получения работы. В первую очередь я обратился в отделение фирмы АВВ в Нью-Джерси. В этой гигантской компании я проработал в Москве более 10 лет и имел хорошую репутацию. Процесс рассмотрения моего обращения длился очень долго. В этот период из Швеции из той же фирмы АВВ позвонил мне мой шведский друг Карлсон и попросил проверить в одной из американских торговых фирм, находящейся в Нью-Йорке, как идут дела с их заказом на запчасти.

Я явился в эту фирму и представился временным представителем АВВ. Один из клерков, беседовавший со мной, провел меня к президенту фирмы «Global Technology». Симас Велонскис, успешный предприниматель, эмигрант из Литвы, прибывший в Америку в семидесятых годах. В процессе беседы он предложил мне с завтрашнего утра выйти на работу в его офис. Это было как в сказке. Офис находился в Манхэттене, на 5-й авеню, угол 20-й стрит. Я сразу оказался в гуще американской деловой жизни с довольно приличной зарплатой.

Дочь Марина с мужем Дмитрием и внуками Наташей и Илюшей в Италии получили разрешение на воссоединение с семьей, т.е. с нами, и прибыли в Нью-Йорк. Их боевой настрой и оптимизм, в котором они находились в Италии, не прошел без пользы. Марина работала переводчиком в англоязычной организации «JOINT», обслуживавшей эмигрантов из России. Это было хорошее материальное подспорье и языковая практика после окончания английского отделения Московского педагогического института. Наш зять, Дмитрий, с первого дня пребывания в Италии засел за изучение английского языка с помощью Марины и по методике, разработанной ею. Когда он прибыл в США, уже свободно говорил по-английски и был полностью готов к профессиональной работе. Окончил он с отличием Московский институт геодезии и картографии (МИГАИК) по специальности оптическая электроника. По прибытии в Нью-

Йорк Дмитрий занялся поиском работы, а Марина — подготовкой к экзамену на получение лицензии на преподавание английского языка в американской школе.

Дети подросли и были определены в ближайшую Public School. Вскоре Дмитрий воспользовался предложением своих друзей и улетел в Сан-Диего, в Калифорнию, где была большая перспектива получения работы по его специальности. Очень скоро он получил работу, и Марина с детьми вылетели к нему, где они обосновались в небольшом городке Перис недалеко от города Сан-Диего. Марина получила работу преподавателя в школе, и они арендовали дом.

К моменту, когда я пишу эти воспоминания, наш сын Миша уже давно закончил Нью-Йоркский университет (NYU), затем медицинскую школу, резидентуру и стал врачом, специализируясь в области лечения болей, связанных с позвоночником. Обосновался он в городе Майами, во Флориде, и теперь очень близок к полному осуществлению «американской мечты». Дочь с зятем живут в Сан-Диего, и их «американская мечта» осуществляется в детях.

В ПОИСКЕ ДРУЗЕЙ

Мы прибыли из СССР в Америку, страну с новым для нас укладом жизни, с совершенно непохожими социальными связями. Наша дочь оказалась среди американцев, и ее общение на этом начальном этапе было связано только с американской средой. У нас с Нелли в Бруклине не было необходимости общаться с американцами. Кроме того, в силу нашего возраста у нас была явная потребность находить новых друзей, людей русской культуры, и это заставляло нас задумываться о поиске таковых. Мы вспомнили о нашем родственнике, двоюродном племяннике Александре Найхине, который эмигрировал в Америку в 70-х годах недавнего прошлого столетия.

Об Александре Найхине хочется рассказать потому, что именно он шел трудным путем и пришел к «американской мечте». В Москве мы его знали как активного, несобран-

ного мальчика, выросшего в делового успешного юношу. Преуспевал он в области мебельной торговли. Стройный выразительный парень влюбился в балетную красавицу из коллектива ансамбля «Березка» Киру Гузикову. В тяжелый период гонений на работников торгового бизнеса Александр и Кира поженились и эмигрировали в Америку. На первых порах молодой паре было нелегко. Александр, теперь уже Алекс, получил тяжелую работу на большой мясной базе, где переваливал огромные мясные туши. Кира преподавала балетное искусство. Однажды Алексу представилась возможность пойти в подмастерье к ювелиру. Быстро освоив эту профессию, он стал работать самостоятельно и вскоре открыл свой бизнес. На момент нашего появления в Нью-Йорке у Алекса уже был свой ювелирный магазин в самом престижном в Манхэттене районе, на Мэдисон авеню.

В первые же дни нашего пребывания в Нью-Йорке Алекс (для нас он Саша) приехал за нами на собственном лимузине, отвез нас в Манхэттен, показал основные достопримечательности, от которых буквально закружилась голова. Первое эстетическое впечатление — это архитектура. Мы испытали какой-то эмоциональный радостный шок. Находясь в окружении этих великолепных зданий-гигантов, ты не задавлен их масштабной массой, а наоборот, чувствуешь свое человеческое величие, дарованное тебе гением зодчих. Саша с первого дня уделил нам много внимания, окружил заботой и даже, одолжив нам определенную сумму денег, помог купить первый для нас в Америке автомобиль. Застраховали мы автомобиль только в пределах необходимых условий (нанесения ущерба при аварии). Через неделю машину у нас украли. Мы остались без машины и с долгом. Это был чувствительный моральный и материальный удар по нашему сознанию новичков-иммигрантов.

Саша Лев-младший, из семьи, о которой я писал в первой главе этих воспоминаний, милейший человек и хороший специалист, получивший американское образование доктора-дантиста, также поддержал нас своим вниманием и, более того, узнав об истории с автомобилем, подарил нам свой, второй, которым он уже не пользовался. Такое ве-

ликодушие было чем-то новым доселе не встречавшимся в СССР, и мы всегда помним о таком подарке, сделанном Сашей в трудное время.

Обаяние, широта и гостеприимство Саши Найхина и Киры Гузиковой привлекали к общению с ними многих интересных людей. Это была та самая среда, к которой мы стремились и где нас понимали. Там мы сблизились с известным спортивным обозревателем Наумом Дымарским и его супругой Фридой, известными артистами московского Театра кукол имени Образцова Леней и Люсей Бунинными, с доктором Леонидом Дондышем и его супругой Нелли, с сыном выдающегося кинооператора Романа Кармена, тоже Романом, и его супругой Тамарой, с которыми дружба закрепилась и продолжается и сейчас, несмотря на то, что они теперь живут далеко от нас — в Москве.

Саша и Кира своим обаянием притягивали множество новых интересных людей, которые принимали участие в посиделках в их доме, а в дальнейшем в построенной ими комфортабельной даче на берегу озера в полутора часах езды от Нью-Йорка.

РОКОВАЯ ОШИБКА

Мои отношения с Симасом Велонскисом, президентом фирмы «Global Technology», где я работал, складывались хорошо, с нарастающим успехом. В течение двух лет работы в «Global Technology» Симас направлял меня в разные страны для решения вопросов по бизнесу. Я создавал перспективные проекты и заключил несколько выгодных контрактов. Последний проект, которым я занимался, — большегрузные автомобили на основе БелАЗов в городе Минске с кооперацией американских изготовителей двигателей.

В этот же период моей службы в «Global Technology» в Нью-Йорке появился мой московский друг Евгений Попов. Он прибыл из Москвы на переговоры с известной американской компанией «ТЕХИСО». Знание английского языка у него было слабое, и он привлек меня к переговорам как

переводчика. Суть проекта заключалась в том, что в этот период у России появилась необходимость привлечь иностранных инвесторов и промышленников к участию в разработках нефтяных и газовых месторождений. Для этой цели государство приняло решение разрешить советским учреждениям продавать геологическую документацию с прогнозируемыми запасами углеводородов. Впервые продажами такой документации было поручено заниматься Евгению Попову, доктору наук, профессору, руководителю фирмы «Главзарубежгеология».

Я постепенно все активнее подключался к этой работе и незаметно для себя ослабил внимание к основной. Я стал менее зависим, считая, что у меня серьезные тылы. Одна серьезная ошибка стоила мне потери работы в компании «Global Technology».

Для удобства ведения дел этого проекта, которым занимался Попов, в Нью-Йорке была зарегистрирована компания, в которой я числился формально. Однажды для аренды новой квартиры, куда мы решили переселиться с Нелли, потребовался документ о том, что я являюсь работающим арендатором. В это время я находился в командировке в Минске. Мне, по непонятной теперь причине, было легче попросить секретаря компании, ведущей дела Е.Попова, отправить подтверждение о моей принадлежности к этой организации, чем просить об этом «Global Technology». Секретарь по ошибке отправила это письмо не в администрацию дома, куда мы должны были поселиться, а в «Global Technology». Письмо попало к президенту Симасу Велонкису. Он позвонил в Минск и объявил о том, что я уволен в связи с тем, что ему стало ясно, что я также работаю на другую компанию и «конфликт интересов» не позволяет ему продолжать мой контракт. Это был очень чувствительный для меня удар. Зарплата, которую я получал, определяла установившийся бюджет семьи и выработывала своеобразный прожиточный финансовый ритм. Е.Попов, буквально подхватил меня, безработного, и зачислил в штат своей компании. Я полностью подключился к новым обязанностям, что никак не отразилось на наших дружеских с ним отношениях.

У ФУТУРИЗМА СВОИ ЗАКОНЫ

Новая работа не требовала ежедневной занятости, и я заполнял свободное время живописным творчеством. Часто бывал в Москве, общался со своими друзьями, был свидетелем преобразований, происходящих там. Москва стала сверкать роскошью. В стране появились имперские настроения и новый богатый слой общества. Шел пир. Заметно было, что эти преобразования в России устраивали не всех. Многие заскучали по тирану. Мои визиты в Москву Евгений Попов обеспечивал комфортно. На прилавках книжных магазинов появилось много интересной, в прошлом запрещенной литературы. Чемоданы на обратном пути в Нью-Йорк обретали все больший вес. Я скупал все книги, которые касались любимого мной русского авангарда и поэтов «Серебряного века». Еще в моей зрелой молодости, когда проявился острый интерес к литературе и искусству, среди моих друзей ходила снятая тогда с полок запрещенная книга Бенедикта Лившица «Полутороглазый стрелец». Это было мое первое знакомство с историей русского футуризма, и в частности с одним из лидеров этого движения Давидом Бурлюком. Творчество Давида Бурлюка, художника, поэта и, несомненно, глубокого теоретика живописной и поэтической культуры, в Советском Союзе не популяризировалось: Д.Бурлюк в 1920 году покинул Россию, стал эмигрантом, что с официальной точки зрения было равноценно предательству. Ни его произведения, ни упоминания о нем цензурой не пропускались.

И вот случайно я узнаю, что Давид Бурлюк — великий реформатор искусства, призывавший «сбросить с парохода современности» рутину традиций и обыденности бременной жизни, — жил со своей семьей в Лонг-Айленде и умер там в 1967 году. Его старший сын Давид умер в 1991 году, а младший сын Николай с женой Джанет и вдова Давида Маргарет живут там же. Новость о существовании наследников Д.Бурлюка вдохновила меня на непременно с ними знакомство. Трудно было представить, что оно реально. У меня появилось страстное желание получить ощущение непосредственного соприкосновения с творчеством этого ги-

ганта русского авангарда. Предчувствие подсказывало, что возможна перспектива заняться исследованием его творческой жизни в Америке. Этим никогда никто не занимался.

Я разыскал номер телефона и, заручившись согласием принять меня, направился в Лонг-Айленд. Знакомство с Николаем Бурлюком и Джанет с первой же встречи превратилось в дружеское общение, которое продолжилось многие годы, пока они были живы. Эта встреча в 1994 году дала толчок к погружению в увлекательную исследовательскую работу. Николай и Джанет, прониклись серьезностью моих намерений, связали меня с хранильницей архива Бурлюков дочерью Мэри, живущей в Канаде.

Не теряя времени мы с Нелли отправились к ней для знакомства и обсуждения задуманного проекта — создания монографии о Давиде Бурлюке. У Мэри я получил небольшой базовый архивный материал. Затем последовали поездки по университетам, музеям, библиотекам страны, где собирался по крупице, как говорят исследователи, полевой материал. Подробно об этой довольно нелегкой работе я написал в монографии.

Роман Кармен-младший, сын выдающегося кинодокументалиста, находился тогда в длительной творческой командировке в Нью-Йорке. Он, как истинно творческий кинооператор, заинтересовался моим исследованием и решил фиксировать на ленту впрок все места, связанные с пребыванием Д.Бурлюка в Америке.

Как-то, будучи в Москве, я показал рукопись еще сырой исследовательской работы моему другу вице-президенту Российской академии наук Н.А.Платэ. Большой интеллектуал и широко мыслящий человек отнесся к моей работе с интересом. Он считал, что русским зарубежным наследиям в России уделяется очень мало внимания и моя работа является прорывом в этой области. «Нужно, чтобы эта тема развивалась. О носителях и распространителях русской культуры за рубежом, особенно таких, как Давид Бурлюк, лидерах авангарда мы должны знать больше», — сказал Николай Альфредович. Он рекомендовал передать мою рукопись в Институт всеобщей истории Российской академии наук. Там положительно оценили мою работу и

на ученом совете рекомендовали ее к печати в издательстве «Наука».

В мае 2002 года книга вышла в свет, а в июне того же года в помещении здания Российской академии наук состоялась презентация, которую вел крупнейший ученый, директор Института всеобщей истории Российской академии наук Александр Оганович Чубарян.

На этой презентации выступил с высокой оценкой книги академик Н.А.Платэ. Приветственное письмо, адресованное участникам презентации, прислал находившийся в тот момент за границей академик Григорий Максимович Бонгард-Левин, принимавший участие в экспертизе моей работы.

В Москву на это событие из Канады прилетела внучка Д.Бурлюка, Мэри Холт. Она выступила с благодарностью автору книги и всем, кто участвовал в подготовке книги к изданию, за память о своем деду и за возрождение его светлого имени в числе людей, вложивших большой вклад в историю развития мировой художественной культуры. Присутствовали на презентации: редактор книги из издательства «Наука» Е.Ю.Жолудь, художник-оформитель книги В.Ю.Яковлев, директор Музея Маяковского С.Е.Стриженова, литературовед, специалист по творчеству Хлебникова Александр Парнис, который, прилетев однажды в Нью-Йорк, открыл мне перспективу знакомства с семьей Д.Бурлюка, а потом, в процессе работы над книгой, дал мне много полезных советов. Присутствовали на презентации также мои друзья Евгений Попов, Алтай Мусаев, Рустам Ибрагимбеков — известный сценарист, писатель, продюсер и режиссер, Рудик Аванесов, Артаваз Бекназаров, на начальном этапе внесший свой существенный вклад в работу над книгой. Пришел Гриша Гюсис со своей супругой и сыном (его родители наши ближайшие друзья, живущие во Флориде). На презентацию в Москву со мной прилетела из Америки моя семья, моя верная помощница супруга Нелли, сын Михаил, дочь Марина с уже взрослой дочерью Наташей. Участниками презентации были москвичи, дорогие мне люди, мои кузены: Марк Блинер с сыном Вадимом, Марк Бескин с супругой Инной, племянник, ныне покойный, Валерий Нисанов, мои дру-

зья академик Юрий Каган с супругой Татьяной, академик Тартаковский, Роман Кармен с супругой Тамарой, Виталий Дымарский — известный политолог, журналист с супругой Леной, Роман Каплан — хозяин известного в Манхэттене ресторана «Самовар», по случаю оказавшийся в Москве, академик Кабанов с внучкой Машей, которая взяла на себя синхронный перевод выступления Мэри Холт-Бурлюк.

Выступали с разными оценками искусствоведы, литераторы, историки. Присутствовал в зале мой друг артист, режиссер, писатель Вениамин Смехов. Он большой мастер чтения стихов поэтов-футуристов, и его выступление (он прочитал стихи В.Маяковского о Д.Бурлюке) оживило академическую атмосферу в зале. После официальной части состоялся банкет, который организовала семья Карауловых.

Интерес к книге оказался огромным, первоначальный тираж в 900 и дополнительный в 600 экземпляров были раскуплены в России, Японии, Израиле, Франции и США за очень короткий срок.

Вслед за книгой, вышедшей в Москве, я вместе с Акирой Сузуки, переводчиком прозы Давида Бурлюка на японский язык, издал в Японии книгу «Огасавара в бытность Д.Бурлюка» с параллельными текстами на японском и русском языках, где подробно описывается двухлетнее пребывание Д.Бурлюка в Японии в 1920–1922 годах.

Успех книги «Давид Бурлюк в Америке» предпринял заказ нового издания, которое вышло в исправленном и дополненном варианте в 2007 году, в том же московском издательстве «Наука». Книга в прекрасном полиграфическом исполнении, на хорошей бумаге, с цветными иллюстрациями выглядит как подарочное издание. Презентация состоялась в том же здании Российской академии наук. Открыл презентацию и выступил со своей положительной оценкой, как и на первой презентации, академик Александр Оганович Чубарян. Вторую половину презентации вел академик Илья Ханукаевич Урилов. Выступающие вспомнили о существенном вкладе Н.А.Платэ, проложившего путь к изданию моего труда.

На презентации состоялась премьера документального фильма «Заложники будущего» режиссера Романа Кармена-младшего.

В фильме он использовал кадры, снятые впрок в Нью-Йорке. В зале присутствовал весь творческий коллектив фильма. Мой соавтор по сценарию Андрей Шемякин объявил, что выход этого фильма связан с возрождением наследия русской культуры за рубежом.

Второе издание книги я посвятил светлой памяти Николая Альфредовича Платэ. Оно также быстро разошлось и стало библиографической редкостью. Воскрешая в памяти эти две презентации, и с огромным удовлетворением говоря, что эти события стали звездными часами моей творческой жизни.

За время работы над наследием Бурлюка я собрал большой материал, который в эти два издания не вошел. Так что впереди меня ждет большая и не менее увлекательная работа, которая войдет в реферативный материал о Давиде Бурлюке, призывавшем сбросить с парохода современности рутину и обыденность бременной жизни.

ОБЩИНА

Зима 2003 года. В моей нью-йоркской квартире раздался телефонный звонок из Москвы. Незнакомый голос в трубке представляется: Я из организационного комитета Учредительного съезда Всемирного конгресса горских евреев. Зовут меня Сергей Иванович Вайнштейн. Мне рекомендовали пригласить вас на этот съезд в Тель-Авив в качестве участника. Готовы ли вы прилететь? — осведомился на том конце провода звонивший.

Первое, что пришло в голову, что это розыгрыш: во-первых, такое сочетание, Сергей Иванович Вайнштейн — для моего слуха непривычно, во-вторых, слишком привлекательная поездка за чей-то счет в Израиль, где я еще никогда не был.

— Могли бы вы прислать мне письменное приглашение, спросил я, что должно было разрешить мои сомнения.

— Проблем нет, — ответил мне Вайнштейн. И вскоре я, действительно, получил по факсу официальное приглашение.

В аэропорту Тель-Авива меня встретил мой близкий друг Лева Кричевский. За нашей семьей числится особая признательность этому человеку за то, что в нужный момент он организовал вызов на выезд из Советского Союза моей дочери с семьей. Он эмигрировал в Израиль значительно раньше нас, перед этим находясь в Москве в течение нескольких лет в отказе. По профессии он был спортивным тренером по глубоководному плаванию. Участвовал в диссидентском движении и, лишившись своей профессиональной работы, дежурил в котельной, чтобы не быть тунеядцем, за что жестоко преследовали.

Я в горско-еврейском общественном движении, куда меня пригласили, был новичком. Видя мою растерянность, Лев предложил свою помощь в участии в работе съезда на правах бакинца. Мы оба зарегистрировались, как делегаты. К общественной жизни он был больше привержен, и легко вошел в механизм события, а я себя чувствовал с ним комфортнее.

Там же я узнал, что пригласили меня на конгресс по рекомендации москвича Манашира Якубова, искусствоведа, музыкального критика. Он оказался одним из идеологов создания единой организации (Конгресса) горских евреев, проживающих сейчас во многих странах мира. Когда готовился список потенциальных активистов, кто мог бы оказаться полезным в этом движении, Манашир вспомнил обо мне. Он был в моем доме в Москве много лет назад с моим кузеном Даниилом Евдаевым. Это было короткое знакомство, но оно оставило у нас добрый заметный след. Манашир интеллигент, с широким охватом знаний во многих областях нашей жизни. Занимается наследием великого композитора Дмитрия Шостаковича. Очень чуткий, внимательный и заботливый друг, обладает редким качеством обязательности, которое сегодня встретишь не часто.

Встреча на съезде в Тель-Авиве была прологом нашей дальнейшей крепкой дружбы и моего участия в горско-еврейском общественном движении, где ему принадлежит роль моего проводника в этот замечательный, родной мне мир.

Здесь я должен рассказать небольшую историю моего

отца, который еще в 20-х годах XX века жил в Баку, в районе компактного поселения горских евреев. Семья моего отца жила в этом далеко не благополучном анклав. Население здесь в основном было занято мелкой торговлей. С жаждой вырваться из этой среды отец нашел в себе силы и переселился в другой, центральный район города, желая освободиться от пут традиций, с целью начать новую жизнь. Я же в процессе эмиграции, прибыв в Нью-Йорк из Италии, оказался без намеченной цели в районе Бруклина, где по удивительному совпадению компактно поселились горские евреи. Что-то этим руководило, что привело меня «на круги своя»! Во всяком случае, я душой ощутил какую-то родную атмосферу, иногда даже со знакомыми запахами горско-еврейской пищи, которую помню с детства.

На съезде я познакомился со многими интересными людьми, с которыми завязались теплые, дружеские отношения. Среди них Биньямин Шалумов, одаренный талантами человек, доктор химических наук, резко изменивший свой карьерный путь: он занялся художественным творчеством и за короткий срок успел продвинуться в востребованного мастера. За последние 10 лет Шалумов завоевал признание специалистов и любителей живописи, был принят в Союз художников России, в Международную и в Американскую федерации художников. Такой стремительный взлет творчества Биньямина дался ему упорным трудом и, конечно, талантом, который дан ему природой. Но самое главное, что он свой талант распространяет и на дружбу с людьми, которые его окружают.

Тогда же я познакомился с замечательным человеком, высоким профессионалом — киносценаристом Владимиром Фараджевым. Он живет в Москве, поэтому общаемся очень редко, в основном по Интернету.

На съезде были избраны Генеральный совет и президент Всемирного конгресса горских евреев — молодой, успешный предприниматель Заур Гилалов. Своими личными симпатиями, неукротимой энергией этот молодой человек зарядил всю горско-еврейскую общину желанием духовно возродиться и проявить свой талант в большой мозаике этнического многообразия человечества. Съезд оказался

очень сильным катализатором возрождения, как оказалось, немалочисленной общины, насчитывающей около 200 000 человек, рассеянных по всему миру.

Когда я возвратился в Нью-Йорк, мне позвонил Ариель Илазаров, один из религиозных лидеров общины, который был делегатом съезда, на котором мы с ним и познакомились. Он пригласил меня прийти в синагогу для беседы о возможности моего участия в жизни общины. На встрече собрался небольшой актив, где обсуждался вопрос непригодности выпускаемой внутри общины малостраничной газеты «Восток», заполняемой пасквильными статьями, порочащими уважаемых активных членов общины. Меня спросили, возьмусь ли я за выпуск новой общинной газеты.

Я вспомнил свою репортерскую деятельность пятидесятилетней давности в Баку в газете «Молодежь Азербайджана», и во мне заиграл журналистский зуд. Я взял время на размышление и через неделю дал согласие редактировать газету и предложил дать ей название — «Новый рубеж».

В Бруклине выпускается много русскоязычных газет, но шансы новых периодических изданий на выживание невелики. Они исчезают так же неожиданно, как и появляются. Было понятно, что, если с самого начала не взять самую высокую планку журналистского творчества, это издание может потеряться в хаосе издательской газетомании.

Я попросил Людмилу Шакову, опытную журналистку, помочь мне на первоначальном этапе сформировать новую газету, которая должна выйти за рамки интересов не только местной общины, а стать рупором мировой общины горских евреев, утверждая их ценности. Людмила Шакова много лет проработала заместителем главного редактора в газете «Новое русское слово», начав свою карьеру еще в те годы, когда главным редактором «Нового русского слова» был корифей эмигрантской прессы Андрей Седых (Яков Моисеевич Цвибак). При их тандеме газета была очень популярной и находилась на пике журналистской культуры, чего никак нельзя сказать о сегодняшнем издании. Участие Людмилы Шаковой в выпуске первого номера нашей газеты и дальнейшие ее советы и консультации были очень важны, и я ей очень благодарен за неоценимую помощь. Материально

нас частично поддерживали Всемирный конгресс горских евреев и его президент З.Гилалов. Появилась реклама, и мы зажили нормальной издательской жизнью. Ежемесячная, не новостная газета, постепенно увеличивая свой объем до 32 страниц, довела тираж до 2500 экземпляров. Помимо распространения в Нью-Йорке, газета стала рассылаться в другие страны, где проживают потенциальные читатели, — это Канада, Израиль, Россия, Азербайджан и Германия.

После происшедших перемен в связи с распадом СССР криминальная обстановка в России заставила крупных предпринимателей заводить себе личную охрану. Имел такую охрану и Заур Гилалов. Но вот 5 марта 2004 года в Москве, расслабившись перед своей предстоящей свадьбой, он решил отпустить ее. Примерив свадебный наряд, он вышел из ателье и был убит бандитской пулей. Трагически ушел из жизни самый молодой лидер в мировом еврейском движении. Прошло уже пять лет со времени его гибели, но я до сих пор не могу прийти в себя от этой трагической несправедливости.

Помимо морального урона, который мы все понесли, мы оказались без материальной поддержки. Несколько месяцев газета существовала за счет личных пожертвований читателей, синагоги и всех членов редколлегии. Всемирный конгресс горских евреев практически приостановил всю свою деятельность. Вакуум стал заполняться активной работой Московской организации сохранения горско-еврейской культуры СТМЭГИ. Возглавляет фонд молодой, энергичный, грамотный предприниматель Герман Захаряев, сочетающий руководство большим хозяйством с научной работой (кандидат философских наук), практически единственный филантроп, поддерживающий существование горско-еврейского сообщества. Он лично уделяет нам много внимания и поддерживает нас морально и материально. Постепенно благотворительный фонд стал приобретать статус идеологического центра для всех горско-еврейских общин мира, где большую работу проводит советник президента С.И.Вайнштейн.

Порой противоречиво, а порой прямолинейно кипит интеллектуальная жизнь в общине. В процессе общения и



Мои родители



Мне 3 года



Я с мамой и дядей Григорием



Мне 20 лет



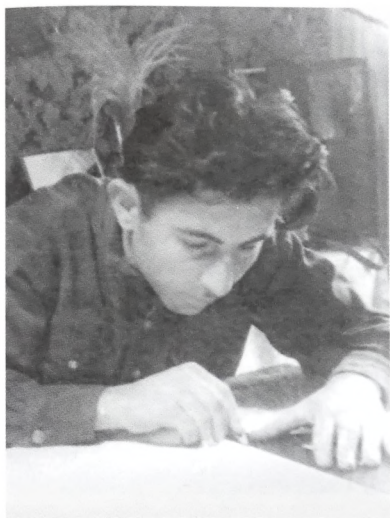
После футбольной игры.
Слева Изя Криворучко



В пионерском лагере



Я с товарищем по учебе в техникуме



Учусь в техникуме



Учусь играть



Факультет английского языка



На Первомайской демонстрации





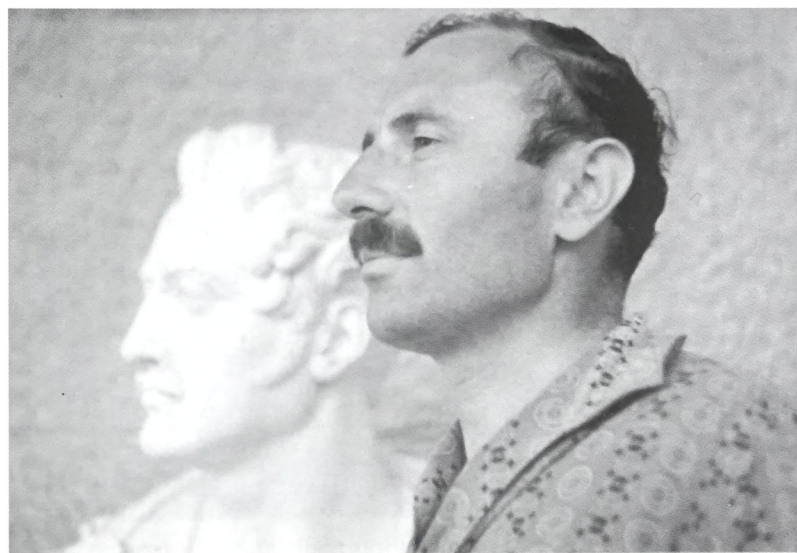


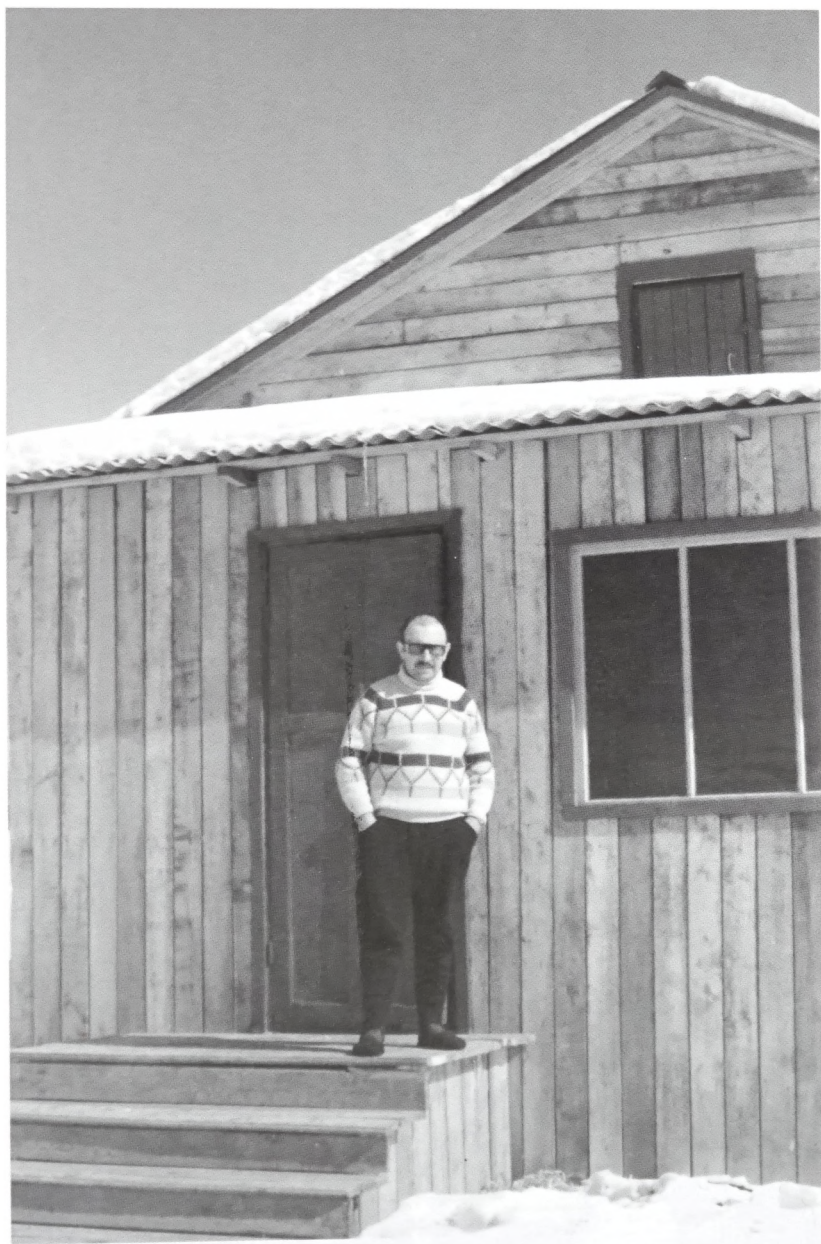
В Баку на одной из улиц





С молодежной организацией из Африки





В сибирском поселке на испытаниях японской техники



С родителями



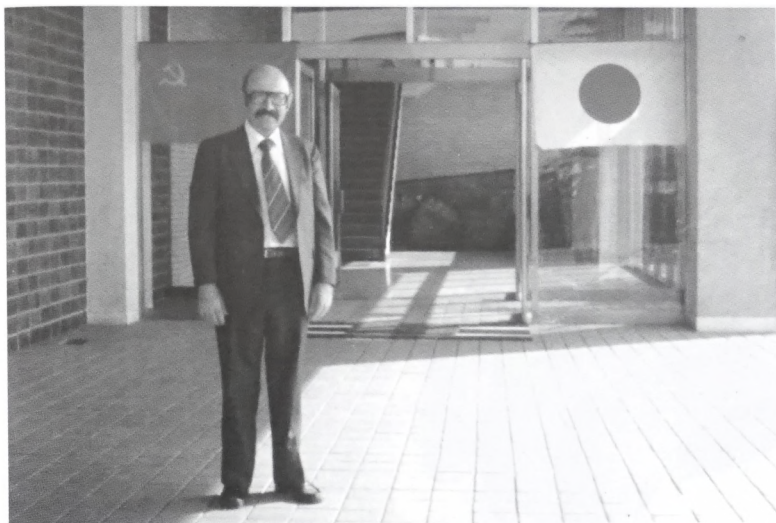
С Эриком и Лирой



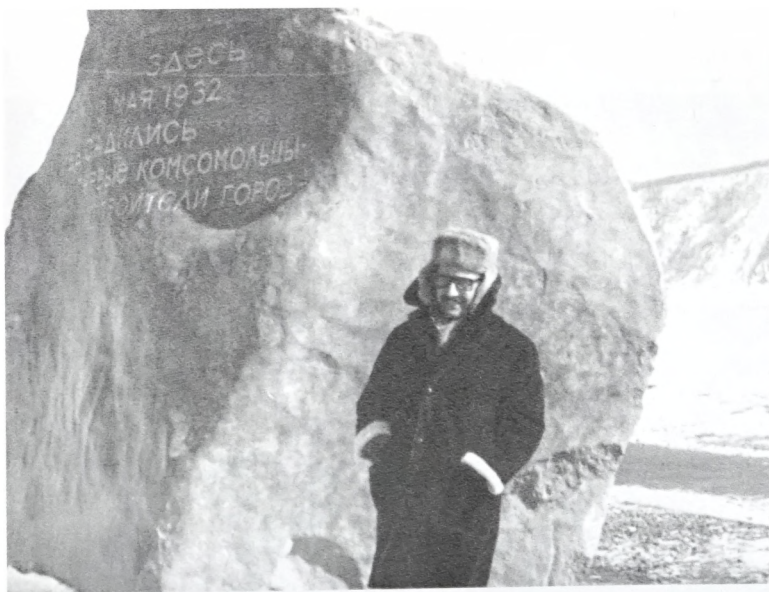
С Евгением Поповым
в Красногорске



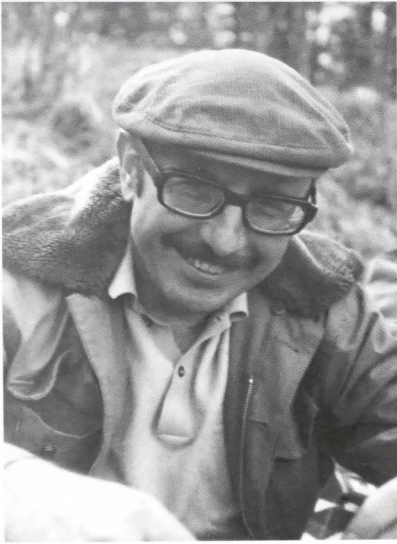
Работники Московского представительства «Мицубиси»

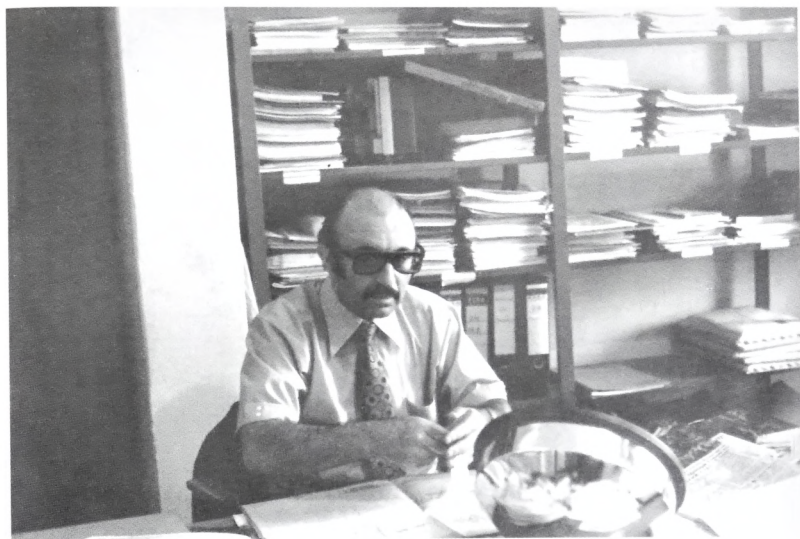


У входа в офис «Мицубиси» в Японии



В Комсомольске-на-Амуре. Температура воздуха -40°C







С ВЕНАМИНОМ СМЕХОВЫМ



Вся моя семья в аэропорту в Тель-Авиве



Празднование семидесятилетия в Нью-Йоркском ресторане
«Москва»



С Виталием Токаревым



Золотая свадьба



С.М.А. Якубовым и П.Х. Уриловым

работы над газетой я встречаю много интересных, образованных людей, которые вносили и вносят в работу в газете, в общинную жизнь много творческого и полезного.

Один из них Рашбил Шамаев, председатель совета старейшин общины. Он реальный помощник. Поэт, писатель, заполняет колонки издания на горско-еврейском, азербайджанском и русском языках, проявляя свое яркое дарование. Я ему также благодарен за помощь в решении организационных вопросов, связанных с выпуском газеты. Руководитель Культурного центра Яков Абрамов в течение многих лет уделяет большое внимание межобщинным связям. Благодаря его усилиям межобщинное сотрудничество стало очень заметным. На общинные вечера, которые проводятся каждый год, приглашаются представители разных этнических групп, и в программу включаются выступления, представляющие разнообразие их культур. Здесь я также вкладываю свою лепту, готовя сценарии мероприятий, и наша совместная работа выливается в интересные события, которые освещаются городской прессой и телевидением. Культурный центр устраивает международные симпозиумы, музыкальные вечера, выступления детской танцевальной группы, художественные выставки. Яков Абрамов участвует в выпуске каждого номера газеты, и я также ему за это благодарен.

Нам удалось провести много разных мероприятий, которые выдвинули нашу общину в одну из заметных этнических групп в Нью-Йорке. В газете мы постоянно уделяем внимание нашей, как говорят, исторической родине, Израилю. Эта страна заинтересована в сотрудничестве с умеренными мусульманскими странами, в частности с Азербайджаном. Этому феномену наша газета стала уделять большое внимание. Не у всех читателей это вызвало одинаковую реакцию. Я лично выслушал много неприятных слов от противников нашего внимания к Азербайджану. Некоторые члены редакционного совета даже вышли из состава редакции в знак протеста. Этот кризис мы пережили. В основном мы защищались знаниями. Это помогает. Наша деятельность, связанная с поддержанием развития иудео-мусульманского диалога и укрепления дружбы между нашими народами не осталась незамеченной Государственным комитетом

по работе с диаспорой Азербайджана и его председателем министром Назимом Ибрагимовым. Нас приглашают на многие мероприятия, проводимые в Азербайджане. Их представители приезжают к нам на проводимые акции. У нас установились замечательные личные контакты с министрами Азербайджана, с Чрезвычайными и Полномочными послами Азербайджана в США — Яшаром Алиевым и в ООН — Акшином Мехтиевым. Моя деятельность отмечена правительственной наградой — медалью «Терреggi». Интерес к газете и к культурным мероприятиям общины продолжает нарастать.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Должен признаться, что эта книга задумана не мной. Академик Илья Ханукаевич Урилов, прочитав мои стихи и познакомившись с фотографиями моих живописных работ, предложил издать к моему юбилею сборник. В этот сборник он посоветовал включать поздравления и воспоминания друзей. Наш друг Манашир Абрамович Якубов предложил расширить издание моими автобиографическими заметками. Я подумал: он прав, когда-то надо задать себе вопрос, а как ты прожил свою жизнь? Времени было немного, и я приступил к работе. Заглядывая в прошлое, я понял, что многого не знал о себе. Мы так устроены, что критически можно осмыслить прожитую жизнь только ретроспективно, но, к сожалению, ничего невозможно исправить, а еще труднее сотворить такое автобиографическое повествование, о котором не знаешь, как оно будет завершено. Оно охватывает три этапа, кроме безвременья, которого никто не знает. Я погружаюсь в период молодости в Баку, где я родился и получил образование, затем — в годы жизни в Москве, где прошло становление моей зрелости, и наконец — в Нью-Йорке, где прошел наиболее насыщенный творческими делами период.

К этим трем городам можно прибавить еще и Тель-Авив, где живут мои любимые внуки и где недавно родился правнук Бенджамин. С этими четырьмя городами я связан ду-

ховно и прочно. В каждом из них я часто бываю, навещаю друзей и родственников и могилы близких. Сейчас между странами нет идеологического противостояния, поэтому такие путешествия стали доступными. Каждый такой визит сопряжен с эмоциями радости, грусти или покоем умиротворения.

Обычно принято среди эмигрантов задавать вопрос, мучает ли тоска по родному городу? Когда наступает тоска здесь, в Нью-Йорке, я мысленно перемещаю себя в Баку, брожу по улочкам родного города и слагаю о нем стихи.

У меня впереди еще очень много работы, мыслей, необработанный архив, связанный с продолжением исследования творческой жизни Д.Бурлюка в Америке, материалы о русских и азербайджанских художниках, живших и творивших в Америке, участие в событиях жизни азербайджанского землячества и многое другое. Нужно торопиться печататься при жизни.

Однажды в один из самых престижных американских журналов «Нью-Йоркер» принесли для публикации рассказ очень известного писателя, ушедшего из жизни. Редактор «Нью-Йоркера», увидев фамилию автора, сказала: «В Америке предпочитают живых авторов. Мертвые — это те, кто проиграл. У нас те — кто выиграл»...

Выпуск газеты доставляет мне творческое удовлетворение. Каждый номер — это отчет перед самим собой и общением с большим количеством людей, которые читают газету «Новый рубеж». Когда я пишу эти строки, в свет выходит 71-й номер, надеюсь, что хватит сил на выпуск последующих номеров. Мемуары писать больше не буду.

Я с большим удовольствием использую возможность поблагодарить всех своих близких друзей, которые прислали свои заметки со своими мыслями обо мне в это юбилейное издание. Все имена моих родных и близких живут в моем сознании, и без них невозможно было мне состояться. Страницы этих воспоминаний, конечно, не охватывают подробно всю мою жизнь, а события описываются очень конспективно, поэтому некоторые имена не вошли в это повествование. Я надеюсь, обладатели этих имен в обиде на меня не будут.

Это издание не вышло бы в свет без усилий моих дорогих друзей — инициатора идеи и покровителя ее осуществления академика Ильи Ханукаевича Урилова, составителя Манашира Абрамовича Якубова, которые вложили свое драгоценное творческое время в работу над этой книгой, а также коллектива издательства «Собрание». Мой Вам низкий поклон!

Впереди незавершенные и задуманные проекты, и моя любовь и благодарность за поддержку моего скромного творчества моей жене Нелли. Исполнилась большая половина века нашей счастливой жизни. Отметим мы это событие в обществе детей и друзей во Флориде.

Я также благодарен моим детям и внукам, друзьям и благодарность Всевышнему, что они у меня есть.

БАКИНСКИЕ РИТМЫ

* * *

Подкралось время юбилеев,
Весна в осеннюю погоду.
Зелено-рыжие аллеи
Тебя влекут от года к году.

Не буду я рядиться в тогу,
Что были все пути прямые,
Но и кривые, ей же Б-гу,
В душе остались золотые.

Твой юбилей — итог событий,
Итог свершений и отметин.
А сколько ждет меня открытий
В тебе и, безусловно, в детях.

Дарю тебе все посвященья,
Любовь и дружбу и томленья,
И все волненья и горенья —
Боготворю за вдохновенье.

БАКИНСКИЙ ВОКЗАЛ

Здравствуй, старый бакинский вокзал,
Здравствуй, знойное жаркое лето.
Я, конечно, тебя не узнал,
Изменился за время за это.

Здесь цветами встречали гостей,
Наслаждались перронною негой,
Обнимались до хруста костей
Под дождем, и в жару, и под снегом.

В город детства доставил экспресс,
Прносясь сквозь года лихолетий
В закоулки дворовых чудес,
В детский уличный звон междометий.

Расскажи мне, порывистый Норд,
Как в согласии жили мы вместе
И из окон мажорный аккорд
Разливался раскатистой песней.

Здесь моя зарождалась судьба
В недрах стен известковой породы.
Помню, вяло тащилась арба
В дебрях улиц в те детские годы.

Парусиновой обуви треск
И «апаша» распахнутый ворот
Подавил лимузиновый блеск
И гламурно сияющий город.

Громких чаек крикливый напев,
Старый берег украшен причалом.
Я, на край его тихо присев,
Зацелован был бьющимся валом.

Я услышал укор плоских крыш,
Что живу километров за тыщу,
Где у сердца досадная тишь,
Нет, не предал тебя я, дружище.

РИТМЫ ЖИЗНИ

Вот и время! родимый вокзал
Отправляет из детства вагоны.
Город, что-то ты мне недодал,
Нет здесь чувства родного перрона.

2008 г.

ВЕРНИТЕ НАС ДОМОЙ В БАКУ

Верните нас домой в Баку,
В прозрачно-розовую давность,
В купальню, Шихову Косу,
Морской бульвар, Новрузбайрамность.

Туда, где жили мы в ладу,
Где всюду дружеские руки,
Там в Губернаторском саду
Оркестра духового звуки.

Там круглый год тепло, весна,
Там нас встречал всегда приветно
Английский парк, где ель, сосна,
Росли мы с ними незаметно.

Пришла война, девятый вал,
Кубинка, голод, маскировки,
«Пятьсотвеселый» прибывал,
Неся с фронтов беды осколки.

Курили «Приму», редко — «Кент»,
«Свободу» слушали ночами,
А «Пятый» шел в Арменикенд,
Нафарширован ширмачами.

Баку — наш маленький Нью-Йорк —
Всегда будил воображенье,
От южных ярких звезд восторг
И в плоских крышах отраженье.

Мы макинтоши в те года
Считали символом прогресса,
А для свиданий, как всегда,
Часы в стене АэСПээСа.

Чем дальше, тем моложе сны.
Судьба нас сильно разбросала.
Рыдал Будаговский базар
У Сабунчинского вокзала.

В Баку верните нас из строк
По призрачным ступеням трапа,
Туда, в загадочный Восток,
С акцентом современным — Запад.

Октябрь 1998 г.

ЛЮБУЮСЬ ТОБОЮ

Мне много не надо:
Лишь ломоть чурека
И гроздь винограда
Из прошлого века.

Соленые брызги
Каспийского моря,
И стоны и визги,
И радость и горе.

Здесь каждое слово
Звучало струною,
Как в детстве, я снова
Любуюсь тобою.

Июнь 1995 г.

КАСПИЙ

Родились мы на юге, у Каспия:
Пряный запах, замедленный зной,
Где у «Нордов» большое пристрастие
Завывать, нарушая покой.

Снится мне в перерывах бессонницы:
Я лечу за морской горизонт,
Напрягая все мускулы вольности,
Оставляя Нью-Йорк и Вермонт.

Подгоняют нас время и скорости,
Я мечтаю по той стороне.
Мне теперь ностальгически горестно,
Что не вижу я Каспий во сне.

Февраль 1998 г.

ЗАГУЛЬБИНСКОЕ ДЕТСТВО

В мире самое жаркое место,
Здесь песок нестерпимо жжет ноги.
Загульбинское яркое детство
В лагерях пионерских убогих!

Муштровали нас шагом парадным
Где-то окриком, где-то построже,
А под солнцем жары беспощадной
Волдыри наполнялись под кожей.

Запах моря здесь пряный, восточный,
Здесь всегда соревнуются ветры,
В загульбинские темные ночи
Забавлялись войной до рассвета.

Туалеты для позы орлиной,
Умывальники дышат сосками,
А за патиной ночи недлинной
Декорацией звезды мерцали.

Нас готовили с детства в вассалы,
Мы салют отдавали портрету,
Пионерские песни звучали,
Соловьи загульбинского лета.

Рядом скалы рисуют коллажи,
Окаймляя красивым узором
Загульбинские жаркие пляжи
Рядом с важным высоким забором.

Кто куда разлетелись по свету
Мы — богатств поколений транжиры,
Загульбинские наши чуреки
Заедали мы сочным инжиром.

Если б вдруг в волшебство я поверил
И года вычитались бы сами,
В загульбинское детство я двери
Распахнул бы своими руками.

Загульба, 25 июля 2001 г.

ДОВОЕННОЕ ВРЕМЯ

Апшерона принцессы и принцы,
Не забыть мне цветенье акаций,
Каждый знает, что всюду бакинцы
Называются с гордостью — нация.

Параютная вышка над нами,
Как проросший гигант из глубин,
Мейхана наполняла стихами
Наше сердце — как зельем незлым.

Респектабельный парк «Ротэ Фанэ»
Был окутан маевочным флером,
А немой в черно-белом экране
Танцевал под брэнчанье тапера.

Фигус, слоники грубой поделки —
Признак сытости, благополучия.
Репродукторов черных тарелки
Доносили нам звуки хрипучие.

По доске рассыпалися зары,
«Шешу беш» — и игра все азартнее,
Фрукты свежие, только с базара
Мэхмэри, армуды ароматные.

Море в штиле, как шелк в будуаре,
И моряна не дует без дела;
Олеандры цветут на бульваре,
Осы льнут к лепесткам запотелым.

Среди звуков прибрежного шума
Альбатрос там вещал незабвенно.
Тот, кто голову ел от кутума,
Возвратится в Баку непременно.

Март 2003 г.

ИЧАРИ ШАГАР

Нет нам места роднее
Апшеронской косы.
Страж наш, добрая фея —
Башня Гыз Галасы¹.

Из Баку мы, с Востока,
Городского ядра,
Без беды и порока
Не рождалось добра.

Век ножа и кастета,
Густота темноты.
Там писалось либретто
«Справедливым» Лоты².

Восторгались героем,
Отсидевшим уж срок.
Гызылдыш³ для настроения,
На бровях козырек.

Гумарбасская⁴ нега,
Под коленками «Джай»⁵,
Дубянди⁶ для побега
Либо в ад, либо в рай.

¹ *Гыз Галасы* — «Девичья башня», откуда, по преданию, бросилась девушка в результате несчастной любви.

² *Лоты* — человек из воровского мира, который пользовался уважением (вор в законе).

³ *Гызылдыш* — золотая коронка на здоровом переднем зубе. Знак принадлежности к криминальной элите.

⁴ *Гумарбас* — игрок в азартные игры.

⁵ *Джай* — азартная игра в кости; играют, сидя на корточках.

⁶ *Дубянди* — легкие закрытые черные туфли. Изготавливались на заказ. Очень легкие, удобные для бега при преследовании.

А мастырка⁷ в ладони
Для согрева души.
Сердце сладостно стонет
В облаках анаши.

Клялся он «Эг агою»⁸,
Чтил он кровную месть
И гордился тюрьмою —
Либо жизнь, либо честь.

Дом был — двор, мостовая,
Тускло светит фонарь.
Крепость — мама родная,
Ичари мой Шагар⁹.

Февраль 2003 г.

⁷ *Мастырка* — табачная скрутка с добавлением анаши.

⁸ *Эт ага* — мясной человек — жил в «крепости». Желеобразный человек, которого считали святым. Ему поклонялись и клялись им.

⁹ *Ичари Шагар* — город-крепость внутри Баку. Там жила большая часть блатной публики.

Я ЛЮБЛЮ ЭТУ ЗЕМЛЮ

Я люблю эту землю,
Каждый камень здесь свой.
Ветер стебли колеблет,
Проносясь надо мной.

Здесь не балуют травы,
Лишь багульник в степи.
И суровые нравы
Предков мне дороги.

Край, воспетый мугамом,
Виноградной лозой,
Ты явился мне храмом,
Засиял бирюзой.

Февраль 2003 г.

АЛТАЙЧИК

Вот промчались галопом годочки,
Не устроить ли тихий привальчик?
В глубине моих искренних строчек
Дорогой мой дружочек, Алтайчик.

Вопреки нашим двум географиям
Приземлимся с тобой на диванчик
И откроем альбом фотографий,
Где всегда ты с улыбкой, Алтайчик.

А однажды мы солнечным утром
Сядем в красный бакинский трамвайчик.
Он помчит нас по рельсам разутым
Через годы и горы, Алтайчик.

Повезет нас, скрипя тормозами,
В старый город, в знакомый духанчик,
Клады памяти, скрытые нами –
Раскопаем с тобою, Алтайчик.

И в пылу молодого задора
Мы с тобой опрокинем стаканчик
За хранителей-ангелов взоры,
За тебя, мой дружище, Алтайчик.

Июль 1998 г.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Сегодня время тянет вспять,
К Бакинским берегам.
Как будто только двадцать пять
И вновь родной мугам...

Коснулся берега душой
И шелеста листвы.
Цветут здесь ночи бирюзой
И фонарей посты.

Шагаю по земле босым
Бульварной полосой, —
До самой Шиховой косы
Дорогою косою.

И моря плеск, и вышек лес,
И звезды до одной.
Трамвай разжевывает рельс,
И стон его — родной.

Балкона острое плечо,
Знакомых окон брешь...
Судьбу там отмеряет счет
Щелчками шешу беш.

Сентябрь 2003 г.

МОЙ БАКУ

Норд бакинский шлифует асфальт,
Проявляя забытые лица.
Снится мне филармонии альт,
И подкова залива мне снится.

На бульваре пустует скамья,
Под тенистым укрывшись платаном.
Сны давно будоражат меня
И тревожат меня беспрестанно.

У нагорного парка огни
Зажигают вечерние свечи.
Я мечтаю и годы и дни —
Полететь к тебе город навстречу.

Норд бакинский колюч и горяч —
Выедает морщины на лицах
А во сне прорывается плач —
Я живу все еще за границей.

Баку. Декабрь 2002 г.

РЕНЕССАНС

Не слепили нас рампы огни,
Без афиш и напыщенных фраз
В те бакинские сладкие дни
Мы создали свой собственный джаз.

Чуваки обрели имена
И лабали душою, без нот.
Танцевальных площадок шпана
Нам давала немалый доход.

Под влиянием западных мод
Брюки просто сужали на нет.
От бакинских соленых острот
Громыхал пожилой «Парапет».

Башли тратили в кире, в гульбе,
От лабанья входили мы в транс,
Загорали, устав, в Загульбе.
Разгорался в Баку ренессанс...

Июль 1999 г.

ПАМЯТЬ

Это из далекой были
На венце моей планеты,
В памяти, под слоем пыли
Фиолетового лета.

В дымке Каспий сединою
Омывает голый берег,
Норд таится за горою,
Не познав еще Америк.

Там и радости, и стоны
Издает струна ашуга,
Разноцветные балконы
Там влюбляются друг в друга.

Дом родительский знакомый:
На стене ковер старинный,
Под клеенкой стол кондовый
И подсвечник в стеарине.

А в углу казан луженый,
Чайник вздулся от кипенья,
Махмари и сахар жженный,
И айвовое варенье.

Копоть старой керосинки,
И прием гостей радушный.
Шерсть рука трясет тростинкой,
Рассекая воздух душный.

Помню детские пороки,
Уличных затей болото,
Горечь от отцовской порки
И голодных дней заботы.

Память — мечется как стая,
Отстает в полете млечном,
Тихо, медленно, как тают
Непогашенные свечи.

Ноябрь 2004 г.

ПЯТИДЕСЯТЫЕ

Мусаеву

О прошлом не слабеет память.
Годов не сбавить, не прибавить.
Еще есть шанс пройтись по детству,
На то испытанное средство
Обнять без слов за плечи друга,
По детскому промчатся кругу
Бакинских дней пятидесятых,
Еще войны там смрад проклятый,
А общий фон — одежды блеклой
Полоской слепленные стекла.
Очередей там образ вечен,
Химическим карандашом отмечен,
И хлеб по карточкам — восьмушкам,
Саккыз у сморщенных старушек.
Давились с голоду до рыга,
Спасала каша — мамалыга.
Бидон с запасом керосина
Для примусов невыносимых,
А керосинки с фитилями
Горели острыми огнями.
В уборных едкий запах хлорки,
Желудки ныли от касторки,
И в бане тухлый запах Таро,
Блатные пели под гитару.
И мусор в ящиках без крышек
Шуршал от крыс и мелких мышек,
Ватаги мух на липких лентах,
Шедевр всех экспериментов.
Убогость темных подворотен,
Достойных Рабина полотен.
Распухший пах от игр в лямки,
И самокаты с кличкой «санки».
Мячи футбольные из тряпки,
Дворовые утехи в прятки.

Бежали «на шатал» из школы,
На бесконечные просторы,
Трамвай, как жук, обросший жиром,
Наполнен тощим пассажиром,
У многих лацканы в наградах,
Приемники еще на складах,
А в «особторге» изобилье,
Трофейного кино засилье,
Нохуд в кульках соленый с пивом,
С янтарно-бархатным отливом.
Мы жили полные надеждой
В перелицованной одежде,
Но все равно места родные
Остались вечно молодые.

2008 г.

* * *

В ночи я слышу Каспия рыдание
И редкий с судна бархатный гудок,
У каждой ночи с днем свои прощания,
У моря с небом свой любовный рок.

Там скрыт девятый вал сердцебиенья,
Там мгла безумия звучит на ты,
Из глубины ночи рождено вожделение,
Я губы целовал томящей темноты.

Баку, 2008 г.

ЛЬВОВИАНА

ДОКТОР ...

Дом обычный, их в городе много.
Тот у сада угла Хагани,
На двери — имя краткого слога
И наказ: «В эту кнопку звони!»

В то далекое сложное время
Там всегда дружелюбна рука
По веревочной блокосистеме
Открывалась защелка замка.

Детский жар и желёзки припухли,
Ножек след на ступеньках протерт.
Покрывало серебряной бухты
Не погасит ребячий костер.

Доктор Лев — и достаточно взгляда,
Чтоб диагноз был точен, как круг.
А с листвы Молоканского сада
Музыкальный доносится звук.

...

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

Гость в том доме в огромном почете.
Там потоки прочитанных книг,
Там любому воздали по ноте,
Там с любим сочиняется стих.

Тут друзья, тут друг друга не слышно
Допоздна. Уже прятная ночь.
Даже «норд», прописавшись на крыше,
Не ворчит и не гонит нас прочь.

И не знали ни злобы, ни мести,
Пили всласть «Гюняшли» и «Агдам».
Водосточные трубы из жести
Напевали нам сладкий мугам.

САША ЛЕВ

Там родился взлохмаченный львенок,
В те далекие сладкие дни
Обладатель присыпок, пеленок,
Против сада угла Хагани.

Повзрослев, он прослушивал Запад
Сквозь помехи короткой волны,
И направились стопы по трапу
В ту страну, где сбываются сны.

На углу Сто восьмой – той, что в Квинсе,
Созревает знакомый хартут,
Шелковицы знакомые листья
Пахнут, словно мы снова в Баку.

ЛЕНА ЛЕВ

Дитя Азерконсеватории,
Струна бакинской звонкой ноты.
То не забвение истории,
А грань красивых поворотов.

Меня не сбить с моих открытий,
А истину не выбить пулей.
Баку тобой был колоритен,
Теперь тобой известен Джульярд.

Ты вся в лучистых побужденьях,
Где светят радостные краски.
Ты суть добрейших окружений,
Ты платишь им любовью, лаской.

С тобою искренность кристалла,
Любовь, как жар от финских саун,
Другой по жизни ты не стала
Тобой теперь живет Нью-Таун.

1996–2000 гг.

БЛИКИ НА ЛИЦАХ

НАУКИ ПИК

Академику Илье Урилову

Остры младенческие взоры.
Илья, он только лишь с аршин,
Уже познал дорогу в горы
И суть чарующих вершин.

Кавказ ему родил скрижали
И вдохновенья эха крик,
Он шел с талантом, с прилежаньем,
И одолел науки пик.

Наука — это труд и копоть
На плахе множества потерь.
Прижатый к рукописям локоть
И неожиданностей зверь.

Не всем дано постичь науку
И даже приближенье к ней.
Родится озаренье в муках,
В любви — признание друзей.

8 июля 2008 г.

НАРОД МОЙ

Нашли ли мы себя?
В скитаньях, поисках утраченного дома,
Вставая, падая, теряя свой язык...
И встречный ветер, место у руля
Блуждающего в вечности фантома,
И каждая удача — только миг.

Устали ль мы?
От травли, унижительной погони...
По горным тропам, по брусчатке городов...
Вдали затеплилась заря среди тьмы —
Плоды, родившиеся в стоне
Набухших почек солнечных садов.

Зачем мы здесь?
Кто нам судьбу такую уготовил —
Отечество веками стертых лет?
Да, есть решение небес:
Указан путь, тропа
Выводит нас из ночи в свет.

Февраль 2003 г.

ШЕСТНАДЦАТИЛЕТИЕ

Моей внучке Наташе

Небо сегодня такое кокетливое!
Сходит на землю торжественный год.
Маски, загадочные и приветливые,
Роем вплетаются в хоровод.

Шестнадцатилетие — дело особое:
Красочно-яркий гудящий зал —
Все непривычно и все незнакомое,
Первый значительный карнавал.

Забил барабан, заиграли трубы,
Ловкий лидер веселья — диджей.
Вижу, как рдеют девичьи губы
От взглядов мальчишечьих острых ножей.

Вечер — клоун, воздух смеется,
Свет газонных ресниц фонарей.
Клятвенно сердце душе признается:
Лучший из лучших праздничных дней.

Сентябрь 2000 г.

ПРИЧАЛИЛ ЖИЗНЕННЫЙ ПАРОМ

Пришла суровая пора —
Экзамен по деяний тыщам.
Куда запишет суд пером.
Воздаст по делу либо възщет?

Доволен будет или нет,
Что в острие судьба сложилась?
Был честен или это бред?
Добро ли только в сердце билось?

Весы стоят, ни тпру, ни ну...
Я жду! Склонились бы к добру.

Сентябрь 2001 г.

ДРУЖЕСКИЙ ВЕТЕР

Евгению Попову

Та ночь была слегка тревожной.
Окно живьем срывало с петель,
С каким-то придыханьем сложным
Вещал в стекло мне громко ветер:

«...С Лагуны — друга я посланник.
Я с Бланки», — голос мне признался. —
Вы думали, залетный странник?
Откройте мне окно, пожалуйста.

Прошу послушать со вниманием,
Ваш друг привет вам шлет от сердца,
Чуть не напутал по незнанию —
Хотел ворваться по соседству».

Впустил, стопец ему поставил
И тоже передал послание.
И в нем напомнил, как без правил
Велось грузинское вливание.

Он был там гостем, а я — сбоку.
Валило с ног нас цинандали.
Не знали времени, ни срока,
Хоть впору заглянуть в скрижали.

Вино — причина, я не скрою,
Связало наши души крепко.
Теперь заросшею тропюю
Мы ходим к камням наших предков.

С запасом водки за щекою
Мой ветер улетел в фрамугу.
Я буду ждать его, не скрою.
Когда вернется он от друга.

Сентябрь 2003 г.



Хризантемы с красными тюльпанами



Цветы в овале



Перед 11 сентября



Букет на желтом фоне



Букет на синем фоне





Мугам



Наранга



Озерцо в подмосковье



Ритмы жизни



Южный базар



Играем в карты



Галина



Миша в Маями



Инженер Дзядель



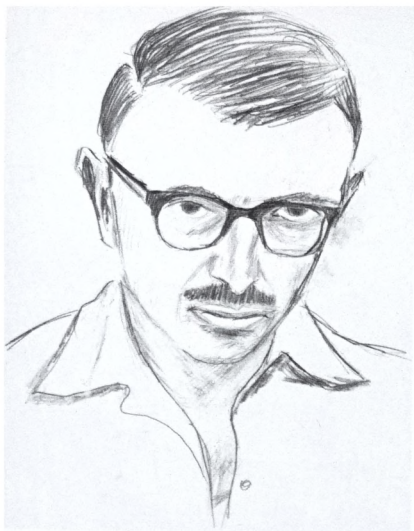
Бригадир Васильев



Прораб Гуриков



Мой друг Эдик Мартиросов



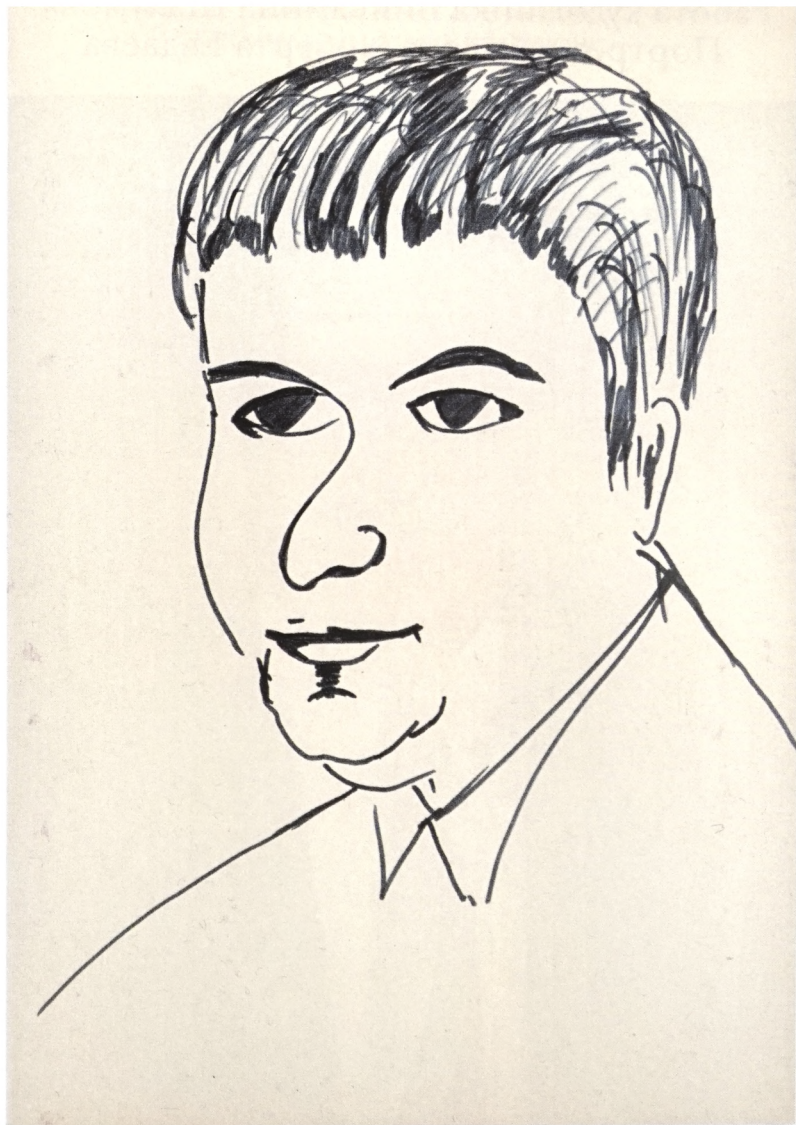
Мне 19 лет



Моя Мама



Вид с веранды моего дома



Алтай

Работа художника Биньямина Шалумова.
Портрет юбиляра Ноберта Евдаева



В ШАШЛЫЧНОЙ НА БРАЙТОНЕ

«В каждой луже — запах океана» —
Как однажды сочинил поэт.
Мы в плену душистого духана,
Закавказья солнечного свет.

За окном течет немолчный Брайтон,
Лязг вагонов, глупых чаек гул.
Каждый камень дышит эмигрантом,
Здесь веселье, праздник и загул.

Не одну бутылку раздавили,
Бруклин с нами, с нами весь бордвок.
Где бы только вкусно ни кормили —
Все равно мы смотрим на Восток.

Июнь 2001 г.

СЛАДКАЯ МУЗА

Кире Гузиковой

Я хотел рисовать тебя прозой,
Но у прозы несладкая муза,
А я вижу, душа твоя – роза,
Чуть прикрытая тонкою блузой.

В танце крыльями плещутся руки
В свете ramпы и люстры сияний,
Как же нежно поэзии строки
Говорят о твоём обаянии.

Ты – создание муз и искусства,
Свет, родившийся в солнечном мире.
Как бы было лилово и пусто,
Если б не было имени Кира.

Март 2000 г.

В ГЛАЗАХ ОГОНЬ

Бекназарову

Заботы скрылись в седине,
По клеткам скачет конь.
С тобой сверкает свет в окне,
В глазах горит огонь.

Стремглав одолевая путь
То вкривь, то по прямой,
С тобой мы понимаем: пусть
Хоть с ярмарки — домой.

Ты добрый и душевно свой
Еще с молодых годков,
И за тобой, как за стеной,
Надежно и легко.

Ноябрь 2000 г.

ПРОСВЕТЛЕННЫЙ ОБЪЕКТИВ

Памяти фотохудожника Самария Гурафия

Создал истории портрет
С бесценных негативов,
В которых лжи ни капли нет,
Лишь правда объективов.
 Штатив треногий в землю врос,
 Пред ним — гроза и сила.
 Снимал их в фас и даже в рост —
 Хозяев судеб мира.
Слепил направленный софит
Приплюснутые лица.
А он кидал в гипосульфит
Их с бангами в петлицах.
 Затем война, трещал затвор,
 Напыщенные речи,
 И отступление, и позор,
 И лагеря и печи.
Он летопись войны лепил
Пластично каждым кадром,
Запечатлел, как враг палил
В бегущих с жалким скарбом.
 Казалось бы, совсем простой
 Набросок жизни нашей.
 Вождь — полубог, насквозь рябой,
 Нам с мавзолея машет.
У стен Кремля парадный марш,
Погост немецких свастик.
Победно вскинулся палаш
Теперь уж мирной масти.
 А после боя мирный труд,
 И гнусный фарс с врачами,
 И, как в тридцать седьмом, берут
 В ГБ людей ночами.
А вот и траурный аспект —
Наш вождь к одру прикован.
Лежит статический объект
Для фотографий новых.

Ноябрь 1996 г.

ПОЙДЕМ СО МНОЙ В ИЕРУСАЛИМ

Моему другу Марку Вольфсону

Пойдем со мной в Иерусалим —
Там предков сохранился глас,
Там засиял манящий нимб,
Там бьется в дверь желанный час.

Туда судьбы ведет тропа,
По ней пройдет весь мой народ,
Коснется святости стопа
Порога дома, что нас ждет.

Пойдем со мной в Иерусалим,
Оставив ценностей порок,
Пойдем, собрав духовных сил,
Пойдем, чтобы добратся в срок.

Апрель 2008 г.

СЕГОДНЯ Я – КОРОЛЬ

Куда-то просто так
Бегут косые стрелки,
Их торопливый такт
Нас адресует в век.
Но, несомненный факт, —
Они судьбы проделки,
У нас прямой контракт
На званье — Человек.

Мы обострили слух,
Когда нам пела юность,
Но это только звук.
И, мысли господин,
С годами нам пастух
Пригнал мечту и мудрость
И закаленный дух,
А не подсчет седин.

Так вот в чем жизни соль:
В кипенье поколений,
Нас поедает моль,
Когда мы не в строю,
Мы превозможем боль
От черных лет гонений,
Сегодня я — король,
А песнь пою — мою.

* * *

Еще ничего не потеряно,
В пиру заблудившихся чувств
Я брошусь по зову по первому
И скуку развею, и грусть.

Мне надо остыть от нелепости.
Душевный огонь погасить.
Наш мир, мне казавшийся крепостью,
Мог лопнуть, как тонкая нить.

А поле мое всё засеяно,
Я думал, возможно, и зря,
Душа вся тобою прострелена,
Теперь залатать мне нельзя.

1989 г.

МЕЖ НАМИ МОСТ...

Меж нами мост — как будто прост,
Из бреда выстроены планы.
Сезон, поджавший жалкий хвост,
Бежит, залечивая раны.

На Юге птицам брошен клич,
Восходы вдруг оторопели,
Листву готовится подстричь
Холодный ветерок, осенний.

Но не успел еще остыть
Былого лета бал прощальный,
А нам все плыть, и плыть, и плыть
В сценарий вписанным — отчаянный.

И не всегда прозрачен путь,
Луч света преломляет призма,
Преград простуженная муть,
За ней — озябшая отчизна.

2001 г.

ГДЕ ОТДЫХАЕТ НЕБО

Где отдыхает небо?
На острогрудых соснах.
Знаю, никто там не был
И не мечтает вовсе.

С ним отдыхает правда,
Строго потупив взоры.
Может быть, неповадно
Прятаться ей за горы?

Там тишина свободно
Дышит легко ноздрями,
Мягкие гнезда свили
Фениксы с голубями.

Яркой там светлой бездной
Видится мир бескрайний.
Нужно прожить с надеждой,
Чтобы раскрыть те тайны.

2001 г.

ВЕСЕЛЫЙ ДЖОКЕР

Веселый джокер ржет в ночи,
На пальцы устремились взоры,
Мерцает огонек свечи,
В сукне нарисовав узоры.

Легко доверия рука
Упала в пустоту надежды,
Замерзла голая строка
Без острой мысли, без одежды.

Я знаю, где-то бродит шанс,
Он подойдет ко мне красиво,
А чип, прорвавшись в преферанс,
В горячих пальцах не остынет.

Лас-Вегас, 1998 г.

ПОЭТУ РАШБИЛУ ШАМАЮ

Куда волной прибьет мелодию поэта,
Кого стрелой пронзит он словом из строфы?
Есть детства райский край, что родила планета,
Заброшенных лесов — мальчишечьей тропы.

Он влился в эту даль, как в млечный путь астролог,
И в аромата чай в подножье Бешбармак.
Направо поворот и через мост поселок,
Источник музы там, немеркнувший очаг.

Он в облака вознес воспоминанья детства,
Кудиал-чая пенье Красной слободе,
И синь далеких зорь, их свет, луны кокетство
И отраженье гор в серебряной воде.

Он рифмой упоен и сыт тандырным хлебом.
И словом славит дом, где пляшет детвора,
Где кеманча звучит, и тар уносит в небо,
И за собой ведет гудящий нагара.

Его острейший взор оставил на примете
И праздник бытия, и быта суету,
Продвинулся в века на расстоянье света
К Талмуда мудрецам и времени костру.

Он преподавал урок истории стихами,
Традиции воспел и вечность доброты,
Он среди нас как страж, он остается с нами!
А мы — всегда его доверия посты.

Сентябрь 2005 г.

ЕГО ДУХ В ОТРАЖЕНИИ ДНЯ...

Памяти поэта Яши Сионовича Машияхова

Вот нарушен и мир, и покой,
Прорвало пелену атмосферы,
Все бушует — и буря, и зной,
Тучи цветом окрасились серым.

Сильный ветер, оставивший след,
Горько выдал известие людям,
Что скончался мудрец и поэт,
Летописец и жизнью, и судеб.

А обычно веселый Шагдаг,
Загрустив под чадрую тумана,
В небо выбросил траурный стяг
Из своей кровоточащей раны.

Эту весть, сохранив речи дар,
Кудиал разносил в своем русле
По долинам, до моря Хазар,
Где волна захлебнулась от грусти.

Прокричала она слово «Ной»
Быстрым птицам, покинувшим гнезда,
И луна потеряла покой,
Повторив это солнцу и звездам.

Так ушел с чистым сердцем поэт.
Он оставил нам вечные грезы.
От земли только слышится — «нет!»,
Не сдержать наши горькие слезы.

А прозрачный родник, забурлив,
Нежно названный кем-то «фиалкой»,
Произнес: Он не умер, он жив,
Он во мне, он в сиянии ярком.

Его дух в свете ночи и дня,
На поверхности рек, океанов
Будет вечно блестеть, как и я,
Пробиваясь сквозь тени платанов.

Авторизованный перевод с горско-еврейского Рашибила Бен Шамая

ЯРКИЙ ЦВЕТ

Когда Господь растит цветы,
Он с горсти рассыпает семя.
Ростком там появилась ты,
С тобою связанное время.

А самый яркий цвет из всех
Родился на твоём надворье,
Бутон красив, из редких тех,
Что из породистых сословий.

А распутившийся цветок
Любви, удобренные всходы.
А был ведь маленький росток,
О, чудо матери-природы!

Доносит на семи ветрах
Мне аромат цветочной пыли.
Играет солнце в жемчугах
В любви неугасимой были.

2008 г.

РЕСТОРАН «РУССКИЙ САМОВАР»

Вот опять мы в гостях у Романа,
Волей Б-га нам выданы шансы,
Развалившись на красных диванах,
Тонем в грусти старинных романсов.

Здесь скрываются Бродского тени,
И Барышников танец шлифует.
Здесь сияют крутые колени
Русских барышень и поцелуи...

Самовары, богемные пары,
И рояльные звуки глухие...
Мы сегодня – и млады, и стары –
Пребываем в стране Ностальгии.

1999 г.

ГОВОРЯТ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ

Рустам Ибрагимбеков
ПИСАТЕЛЬ, ДРАМАТУРГ, РЕЖИССЕР
АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, США

Мой друг Ноберт Евдаев

Бакинцы очень любят вспоминать о выдающихся людях, некогда живших и работавших в их родном городе, пусть даже не очень долгий период. Зорге, Ростропович, Ландау, режиссеры и актеры, работавшие в Русском драматическом театре. Эти и многие другие имена знают и чтят несколько поколений бакинцев. И у каждого поколения свой перечень знаменитостей — выходцев из Баку. Есть он и у меня. И одно из первых мест в этом моем личном списке занимает Ноберт Евдаев.

Азербайджанская пословица гласит: имя героя становится известным раньше, чем удастся его увидеть. Многие годы мои друзья Эмиль Лев, Рудик Аванесов, Кямал Манафлы, Тофик Мирзоев в своих бесконечных воспоминаниях о бакинской молодости упоминали имя Ноберта среди других бакинских знаменитостей 50–60-х годов, таких, как ударник Леня Лубенской, композитор Мурад Кажлаев, писатель Виктор Голявкин, саксофонист Володя Сермакашев, трубач Тартаковский, создавших вместе со своими друзьями-азербайджанцами потрясающий «бакинский» колорит, уравнивший столицу Азербайджана с самыми великими городами мира.

Ноберт уехал из Баку молодым человеком, сразу после окончания института, но, даже не имея с этим городом крепких родственных связей, он так и не смог уехать из города своей юности совсем. Баку занимает особое место в душе моего друга, десятки лет прожившего в Москве и уже давно ставшего ньюйоркцем.

Мы познакомились в Америке. И я поразился широте интересов и увлечений Ноберта, не связанных с его профессиональной работой. Живопись, поэзия, музыка, обществен-

ная деятельность, серьезное научное исследование жизни и творчества создателя футуризма Давида Бурлюка — вот неполный перечень того, на что с юношеским азартом тратит свое время мой друг Ноберт.

Книга о Бурлюке переиздана, и второе издание столь же высоко оценено известными учеными и широким кругом читателей, как и первое.

Неувядающая творческая активность Ноберта имеет объяснение. Еще сто лет назад, то есть за двадцать лет до рождения Ноберта, одним из главных человеческих и профессиональных достоинств считался накопленный опыт. Мудрость и опыт воспринимались как нечто обязательно взаимосвязанное. Но в XX веке жизнь стала столь динамичной, быстро меняющейся, что профессиональному человеку, чем бы он ни занимался, приходилось (и приходится сегодня) несколько раз отказываться от накопленного опыта и переучиваться, чтобы поспеть за стремительными изменениями жизни. Сегодня, наряду с приобретенным опытом, необходимым качеством творческого долголетия, является способность воспринимать и перерабатывать новую информацию, не отторгать вновь открытое, недавно возникшее.

Поколению Ноберта в этом смысле пришлось непросто; не все оказались способными идти в ногу со временем. Ему это удалось. Это очевидно по тому, как динамична его жизнь, начиная с 90-х годов прошлого столетия по сегодняшний день. Ноберт смог решительно изменить многое в своей жизни и довести до высокопрофессионального уровня совершенно новые для себя направления деятельности.

Убежден, что еще многие и многие годы мой друг Норик Евдаев будет удивлять новыми свершениями и тех, кто знает его близко, и людей, читавших его стихи, статьи и книги.

Евгений Попов

ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР,
ПРЕЗИДЕНТ МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ ГЕОЭКОЛОГИИ
РОССИЯ – США

Путь в искусство

Я познакомился с Нориком (так его называют друзья) и его женой Нелли в 1958 году в Москве, в доме моего друга, геолога Эрика Льва. Нас объединяло то, что мы все родились и жили в Баку. Там мы с Нориком не встречались, несмотря на то, что имели общих друзей. Очевидно, имела значение разница в возрасте. Молва о разносторонних способностях Норика, которые привлекали к нему друзей, дошла и до меня. Это стало причиной нашего сближения, а потом, по мере укрепления нашего знакомства, и с его близкими друзьями. Московский период жизни Ноберта Евдаева был не простым. Работал он в строительно-монтажном управлении одного из московских трестов. Ему приходилось руководить работягами, пользовавшимися соответствующей лексикой. Эта среда была далека от его привычного интеллигентного общения с семьей и друзьями. Тем не менее, он успешно справлялся с задачами.

Жил он тогда с Нелли в комнате ее родителей в общей квартире. Комната была одной из нескольких, где жили другие семьи, разделявшие пропорционально места общего пользования и кухню. В комнате висела белая простыня, которая отделяла личную жизнь молодой пары и родителей и плавно отодвигалась в пользу молодых по мере рождения детей. В таких условиях жило большинство людей нашей страны, но это была Москва — мечта всех, живших на периферии, и она давала веру в скорые изменения жизни к лучшему. Трудности мгновенно забывались при общении в компаниях друзей самых разных профессий. Нас в основном объединяло качество, название которому — единомыслие.

Разносторонность моего героя, соответствующее образование помогли ему получить работу через УПДК МИДа в иностранных компаниях. Помимо функциональных обязанностей, связанных с переводами и коммерческой деятельностью, он глубоко вникал в специализацию этих компаний и занимался публикацией на русском языке книг, где описывал технологические процессы и конструкции оборудования, производимого этими зарубежными фирмами. Эти публикации помогали советским организациям, связанным с закупкой импортных технологий и оборудования, знакомить широкий круг специалистов с новыми достижениями зарубежных компаний.

Помню, как он был инициатором строительства первой в СССР современной японской бензозаправочной станции, которая начала функционировать в Москве. Затем целая сеть этих станций была построена в Ленинграде, Киеве, Тбилиси, Баку, Львове, Пензе.

Работая со шведскими фирмами, он занялся изучением механизации технологических процессов с применением роботов и морского погрузочно-разгрузочного оборудования, выпустив подробное описание и справочник для проектировщиков.

Ноберт принимал также непосредственное участие в научно-техническом сотрудничестве Института сверхвысоких давлений Академии наук СССР со шведской компанией в области порошковой металлургии, опубликовав несколько статей с описанием процессов и оборудования (прессов), и был отмечен институтом за серьезный вклад в эту работу.

Поездки за границу, расширение личных связей воплотились в улучшение качества жизни семьи Ноберта. Казалось, что и в нашей стране может быть достойная жизнь, если бы у сына не приближался призывной возраст. Эта перспектива сильно тревожила родителей, и они решили пожертвовать достигнутыми благами и нашли спасение в отъезде в США, в страну, еще смолodu чарующую Норика великой джазовой культурой. Джаз всегда приносил радость в самые тяжелые периоды его жизни.

По прибытии в Нью-Йорк Ноберту сопутствовало везение. Его приняли на работу в компанию, занимающуюся

коммерческими проектами, в том числе в странах, образовавшихся после распада СССР. Ноберт активно включается в бизнес компании, участвует в подписании крупных контрактов, пользуется неограниченным доверием владельца. Во всех его начинаниях проявляются энергия и накопленный опыт подобной деятельности в СССР, и эта активность вызывает зависть работников, отодвинутых на второй план. В результате деятельности этих завистников он оказывается без работы. Многие, оказавшиеся на его месте, спасовали бы перед обстоятельствами. Ноберт, продемонстрировав силу воли, вспомнил свои привязанности и все свое свободное время посвятил искусству. Он знакомится с художественной жизнью США, возрождает былой поэтический опыт, выпускает первый сборник стихов, занимается живописью.

Счастливым событием в его жизни стало знакомство с Мэри, внучкой Давида Бурлюка. Давид Бурлюк, замечательный русский художник и поэт, «отец русского футуризма», большую часть творческой жизни прожил в Америке. Заинтересовавшись этой темой, Ноберт проводит много времени в музеях, библиотеках, архивах, собирая материалы о Бурлюке и о других русских художниках, продвинувших русскую художественную культуру в США. В результате большого исследовательского труда им была написана монография «Давид Бурлюк в Америке», которая была издана Российской академией наук в 2002 году. Труд Н.М.Евдаева оказался востребован, интерес к этой книге был такой, что тираж был раскуплен в очень короткие сроки.

Учитывая спрос и популярность книги, издательство «Наука» Российской академии наук предложило автору продолжить работу, пополнить исследование новыми материалами и подготовить его к новому, расширенному изданию. В 2008 году издательство «Наука» выпустило вторую, новую версию книги. Она существенно отличается от первой новыми материалами, в том числе добытыми в архивах Японии, где Д.Бурлюк проживал во время эмиграции в течение двух лет. Книга получила широкий резонанс в научной среде. Не случайно во время ее презентации звучали такие оценки, как «открытие» и «научный подвиг».

Одновременно с изданием книги в Москве на документальной киностудии при участии Ноберта Евдаева в качестве сценариста был выпущен фильм о жизни и творчестве Давида Бурлюка «Заложники будущего», также получивший высокие оценки зрителей и профессионалов.

Параллельно с научной деятельностью Ноберт ведет большую общественную работу, создавая организацию «АЗЕМ» — Азербайджанское землячество в эмиграции, прилагая усилия для объединения выходцев из Азербайджана. Он организует культурные мероприятия: концерты джазовых коллективов, дискуссии о современной жизни земляков. Эта огромная, активная деятельность Ноберта Евдаева не остается незамеченной, и он удостоивается государственной награды Президента Республики Азербайджан Ильхама Алиева — медали «Тэрреги». Являясь главным редактором, Ноберт Евдаев выпускает в Нью-Йорке ежемесячную газету, освещающую жизнь горско-еврейских общин. Несмотря на занятость, он продолжает жить в искусстве, создает художественные полотна, пишет стихи.

Длительное общение постоянно демонстрировало нам в Норике самое бесценное человеческое качество — умение дружить. Его неиссякаемая энергия в работе, подкрепленная недюжинным талантом, придает его жизни яркие краски, гармоничное звучание и активную динамику в движении вперед. Это служит примером больших возможностей человека в зрелом возрасте.

Хочется пожелать ему реализации этих возможностей в течение многих лет.

Савелий Перец

ИЗРАИЛЬ

Засеянное поле

Всегда трудно поверить «алгеброй гармонию», холодным стальным скальпелем хирурга проходить по живому, пульсирующему телу поэзии, да и вообще творчеству. Хотя, впрочем, иногда видишь себя в роли своего рода акушера, который пытается трезво оценить достоинства и, может быть, недостатки появившегося на свет создания.

Ноберт Евдаев, опубликовавший свой первый сборник стихов всего несколько лет назад («Бакинские ритмы», Нью-Йорк, 2003) удивительным образом сохраняет непосредственность, свежесть и чистоту восприятия. Поэзия для него — это способ удивлять читателя и удивляться самому. «Еще ничего не потеряно. / В пиру заблудившихся чувств / Я брошусь по зову, по первому. / И скуку развею, и грусть... / А поле мое все засеяно. Я думал, возможно, и зря. / Душа вся тобою прострелена, / Теперь залатать мне нельзя».

Душа, «прострелянная» поэзией, творчеством... На мой взгляд, взгляд человека, знакомого с Нобертом Евдаевым где-то с конца 40-х годов прошлого века, с наших студенческих лет, приведенные выше строки — очень точная и отнюдь не преувеличенная самооценка его как поэта, художника, исследователя, специалиста и — даже! — общественного деятеля.

Такой посыл тем более оправдан, что во всех перечисленных сферах творческая составляющая Ноберта Евдаева неразрывно переплетается с его биографией, его линией жизни. Отсюда — открытый и прямой «автобиографизм» творчества, когда стихи, картины, исследования, общественная деятельность, дополняя друг друга, сплавлены в единое целое, представляя разные грани жизненного пути

с его зачастую непредсказуемыми, но неизбежными крутыми поворотами.

Поэтому будет справедливым, мне кажется, хотя бы концептивно рассказать об авторе книги.

Ноберт Евдаев родился в Баку. В студенческие годы увлекался джазом и живописью, историей западноевропейского искусства. Я помню, с каким наслаждением он и его покойный друг Валя Багиров «лабали джаз» в составе популярных в городе музыкальных коллективов, и сам это прекрасно помнит: «Не слепили нас рампы огни,/ Нет афиш, титулованных фраз./ В те бакинские сладкие дни/ Мы создали свой собственный джаз».

Окончив институт иностранных языков, переехал в Москву, где с 1956 года работал над переводами и публикациями в области современных технологий. В этой сфере его перу принадлежат несколько книг и технический справочник.

С 1989 года живет в США, Продолжает писать стихи, серьезно занимается живописью. Многие его работы находятся в частных коллекциях в Израиле, США и России.

В этой связи представляется интересным сопоставление живописных произведений Ноберта Евдаева с поэтическими. Кажется, что его холсты и рисунки говорят на том же художественном языке, что и стихи. Вот пример: полотно «Ритмы», на котором запечатлено выступление трио народных музыкантов. Всмотриваясь, будто одновременно слышишь и стихи: «Сегодня время лезет вспять/ К Бакинским берегам,/ Как будто только двадцать пять/ И вновь родной мугам... и тягучую восточную мелодию.

Главный источник творческого вдохновения – русская художественная культура, творчество художников-авангардистов начала прошлого века. Особенно тех, кто после Октябрьской революции 1917 года осел в Соединенных Штатах Америки Ноберт Евдаев опубликовал несколько работ на эту тему. В 2002 году издательством «Наука» Российской академии наук издана в Москве монография «Давид Бурлюк в Америке». В 2008 году в том же издательстве вышло второе, расширенное и дополненное, издание этой же монографии. А в Нью-Йорке–Токио в 2006 году вышла в свет

книга «Огасавара в бытность Д.Бурлюка и В.Фиалы» (в соавторстве с Акирой Сузуки).

С такой же полнотой чувств, как и к поиску поэтического слова, линии рисунка, анализу творчества полюбившегося ему мастера, относится Ноберт Евдаев к общественной деятельности. Со времени эмиграции он раскрылся в этой новой для себя ипостаси, посвятив себя делу «собирания камней» о жизни и истории кавказских евреев, народа, с которым он себя полностью идентифицирует: «Нашли ли мы себя?/ В скитаньях, поисках утраченного дома, / Вставая, падая, теряя свой язык.../ И, встречный ветер, место у руля/ Блуждающего в вечности фантома, / И каждая удача — только миг».

Он активно участвует в налаживании связей между остатками диаспоры на Кавказе, и в частности в Республике Азербайджан — новыми диаспорами в России, США, Европе и теми, кто в полном соответствии с древними пророчествами — поднялся в Израиль и обосновался там. Огромную работу в этом направлении он проводит как журналист и главный редактор газеты «Новый рубеж». За считанные годы из влачившего жалкое существование секториального листка она превратилась во влиятельное издание, к голосу которого внимательно прислушиваются в Москве и Иерусалиме, в Нью-Йорке и Баку, Махачкале и Берлине.

Кстати, в этой газете были опубликованы почти все стихи Ноберта Евдаева, которые теперь нашли место на страницах книги. Примечательно, что значительная часть стихов посвящена детству автора, его родине — Баку и Азербайджану: «Если вдруг в волшебство я поверил, / И года отсчитались бы сами, / Загульбинские детские двери / Я открыл бы своими руками».

Миражи живых и ярких воспоминаний смыкаются в творчестве Ноберта Евдаева с сегодняшним мироощущением, так же живым, чувственным, ярким. «Баку — наш маленький Нью-Йорк. / Всегда будил воображенье, / От южных, ярких звезд восторг, / И в плоских крышах отраженье». Или в другом стихотворении: «Снится мне в перерывах бессонницы: / Я лечу за морской горизонт, / Напрягая все мускулы вольности, / Оставляя Нью-Йорк и

Вермонт». «Подгоняют нас время и скорости.../ Я мечтаю по той стороне,/ Мне теперь ностальгически горестно,/ Что не вижу я Каспий во сне».

Редкая способность замечать все с большими и большими подробностями. В этих миражах детства Баку и Нью-Йорк, Запад и Восток живут вместе как добрые друзья. И такой подход тем органичнее, что Ноберт Евдаев вырос в особом городе, в котором на протяжении жизни одного, двух поколений ментальность и традиции Востока, как пазл, состыковывались с ментальностью и традициями Запада: «Расскажи мне порывистый "норд",/ Как в согласии жили все вместе,/ И из окон мажорный аккорд/ Разливался раскатистой песней».

Будто кто-то свыше указал на возможность преодоления конфликта цивилизаций, сотрясающего ныне современный мир. Увы, урок остался невывученным. Естественно возникшая связь так же естественно на глазах этих поколений обрушилась, обратилась в прах, хотя и осталась запечатленной в стихах, картинах, музыке... В наших сердцах. «И не всегда прозрачен путь,/ Луч света преломляет призма./ Преград простуженная мать./ За ней озябшая отчизна».

Вместе с тем Ноберт Евдаев стремится находить в проявлениях достаточно суровой в наш век действительности «сиянье жизни и тепла» (И.Северянин). В этом отношении привлекает внимание цикл «Блики на лицах» — портреты друзей и близких. Их глубокие и емкие характеристики — это характеристика и самого автора. Скажи мне, кто твой друг... «Доктор Лев — и достаточно взгляда,/ Чтоб диагноз был точен, как круг,/ А с листвы Молоканского сада/ Музыкальный доносится звук». Или: «Ты добрый и душевно свой,/ Еще с младых годков,/ А за тобой, как за стеной / Надежно и легко».

Говорят, что стихи выливаются из стихии, бушующей в душе художника... Стихия, которая выражает себя в гармонии упорядоченных строчек, сохраняя при этом свою энергию, свой ритм, свое движение. И в итоге каждое стихотворение является нам «со своим особым богом, особой верой и особым уставом» (В.Хлебников). На мой взгляд, с «засеянного поля» собран достойный урожай. Палитра Но-

берта Евдаева — человека творческого — достаточно богата и разнообразна. Открытость, искренность его стихов, уверенность в непременной победе добра над злом, в торжестве истины — это тот незыблемый поэтический фундамент, на котором так опасно раскачивается наша неустойчивая действительность.

Эта книга стихов, как все творчество Ноберта Евдаева, поэтическое ли, художническое, научное, его общественная деятельность тесно связаны друг с другом... Поэтому при всем их различии — тематическом, жанровом, стилистическом — они естественно «читаются» как части единого целого, что многократно увеличивает творческий потенциал автора настоящего сборника.

Алтай Мусаев
РОССИЯ

Сердца, бьющиеся синхронно

В один из теплых октябрьских дней я отправился к своему в прошлом однокласснику и другу — Вове Калинину. Он еще с той поры интересовался искусством фотографии, и эта его увлеченность, включая интересы ко всему современному, притягивала меня к частым дружеским общением с ним. Вова Калинин жил в квартире двухэтажного дома по улице Льва Толстого, в десяти минутах ходьбы от меня. Это типичная узкая бакинская улица в старой части города, покрытая булыжником с тротуаром, где с трудом могли разойтись два человека. Такие дома, построенные из известкового камня, с плоскими крышами и с нависающими над тротуарами балконами, обычно стояли цепочкой вдоль улиц и составляли основной пейзаж районов, примыкающих к центру города.

Вова рано остался без отца и мама, работая учителем в школе, едва сводила концы с концами. В квартире еще жила мамина сестра, тетя Дуня, с волжским говорком, в котором преимущество отдавалось звуку «о». В нашей среде часто цитировалась фраза, однажды произнесенная тетей Дуней, которая на вопрос, дома ли Вова, ответила: «Мать спит, Вовка о-обедает».

Вова встретил меня не один, у него находился сокурсник по техникуму, где они оба учились.

«Хорошо, что ты пришел, Вот это тот самый чувак, о котором я тебе говорил. Он учится со мной в одной группе. Играет на аккордеоне не хуже, чем ты на саксе, так что у вас может что-то получиться», — произнес Вова. Возле меня стоял сутуловатый, с волнистой шевелюрой парень, в модном, на американский манер двубортном пиджаке, который сра-

зу мысленно приобщил этого незнакомца к нашему, продвинутому, как мы считали, клану друзей, стремящихся быть похожими на героев американских фильмов, пестревших на экранах клубных, периферийных кинотеатров, крутивших трофейные ленты.

Слегка прищурился, он произнес: «Я, где-то тебя видел».

«Наверное, в каком-то оркестре», — важно произнес я.

«Может быть», — с недоверием в голосе сказал он.

Это было 65 лет тому назад. Норик оказался мягким и деликатным человеком, с которым общаться было очень легко. Мы понимали друг друга с полуслова. Очень скоро обнаружилось, что интересы наши сходились во многих областях искусства, особенно в живописи и музыке. Мы были фанатами американского джаза. Нашими кумирами были Дюк Эллингтон, Бенни Гудман, Глен Миллер, Томи Дорси, Джими Дорси и другие корифеи американского джаза.

По ночам мы слушали вражеское радио, упиваясь чарующими звуками оркестровой музыки, сопровождающей такие любимые голоса, как Фрэнк Синатра, Бинг Кросби, Элла Фиджеральд, Тони Бенет, Наткин Кол и многие другие. Джинн был выпущен из бутылки. Советское руководство сильно беспокоило увлечение молодежи этим идеологическим, на их взгляд, влиянием, и со свойственным коммунистам репрессивным мышлением эта категория молодых людей попадала под преследование.

Саксофон, на котором я играл, был инструментом символа буржуазной музыки. Существовавшая система выработала доктрину сохранения власти за счет противопоставления врагу образа преданного патриота, ненавидящего все буржуазное, как в облике, так и в мыслях. А тут появилась молодежь в узких брюках, с длинными волосами, яркими галстуками, да еще играющая на буржуазных инструментах. В газетах статьи, высмеивающие подобные типы, сопровождалась карикатурами и всевозможными пасквилями на образы «стиляг», как нас тогда называли. Один из классиков пасквильного поэтического творчества написал:

«Сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь».

Да, это были трудные времена, но мы не горевали, были верны себе и сильно заняты своими увлечениями. Днем прогуливались по центральным улицам города, следуя одним и тем же маршрутом: Торговая, Кривая, Ольгинская, где мы демонстрировали эрзац-американскую одежду и набриолиненные волосы. Вечерами рассаживались на бульварных скамейках или в сквере самого центра города, который назывался «Парапет». Острили, рассказывали анекдоты, говорили о политике и пели любимившиеся джазовые мелодии. Компания наша все разрасталась и нас многие уже узнавали в городе. Мы уделяли очень много времени этому праздному образу жизни, отвлекались от внушаемой родителями необходимости заниматься серьезным образованием, но были счастливы и любимы девушками.

Со временем Норик становился для меня одним из самых близких друзей. Я часто бывал у него дома, так же как и он у меня, и был своим для его родителей, особенно для его мамы, тети Баси, как ее называли родные. Я сохранил о ней самые добрые воспоминания. Берта Ефимовна, так к ней обращались официально, женщина небольшого роста, говорила медленно, слегка и мягко картавя, милейшей души человек, сочетала в себе домашнюю мягкость и доброжелательность с жестким характером руководителя, возглавлявшего коллектив почты, где она проработала всю свою жизнь. Я хорошо помню праздничные запахи, заполнявшие квартиру ароматом фаршированной рыбы, которая всегда готовилась Бертой Ефимовной в ноябре ко дню рождения Норика. Это была особая рыба, которую я когда-либо ел.

Наша судьба переплеталась все больше и больше. Мы играли вместе в университетском джазовом оркестре, музицировали на танцевальных площадках, играли в бильярд, но однажды, взявшись за ум, продолжили образование и окончили Институт иностранных языков. Стремление изучать язык было связано с надеждой, что когда-нибудь у нас появится возможность заглянуть в мир наших мечтаний и увлечений, которому мы посвятили всю нашу молодость.

Наши мечты сбылись, я оказался на работе в Министерстве иностранных дел, а Норик — в этой же системе в дипломатическом корпусе. Созданная им семья унаследовала устои родителей и продолжала для меня оставаться очень близкой. Увлекающийся и пытливый характер моего друга не оставлял его в спокойном состоянии, и, как бы восполняя упущенное в молодости время, он стал наращивать исследовательский пыл в технических науках, в частности в области физики сверхвысоких давлений, и добился признания. Параллельно у него вспыхнуло увлечение историей искусства, в частности изучение русского авангарда, и он углубился в этот предмет уже в возрасте, но с юношеской страстью.

Распад страны, в которой мы жили, а жили последние 30 лет в Москве, изменил форму нашего общения. Мой друг Норик с семьей оказался в Нью-Йорке, а я остался в Москве. Телефонные коммуникации быстро наладились, и мы продолжали знать друг о друге все. Вскоре у него появилась возможность прилетать в Москву по своим делам, а у меня — в США. Годы пребывания в США не прошли зря. В 2002 году Норик, а его полное имя Ноберт, сдал в печать свой многолетний труд — монографию об «отце российского футуризма» Давиде Бурлюке. Книга вышла в издательстве «Наука» Российской академии наук, вызвала большой интерес у специалистов и читателей и разошлась в течение нескольких месяцев.

Вскоре в 2003 году Ноберт Евдаев издал в США свой первый сборник стихов, в основном посвященный своему родному городу Баку, где он родился и прожил свои молодые годы. Стихи очень эмоциональные, отражающие большую любовь к городу, с которым связаны лучшие годы нашей жизни.

В одном стихотворении, посвященном нашей дружбе, Ноберт пишет:

А раскутанным солнечным утром
Сядем в красный бакинский трамвайчик.
Он помчит нас по рельсам разутым
Через годы и горы, Алтайчик.

В стихотворении «Любуюсь тобою» у него скромный за-
прос к прошлому:

Мне много не надо –
Хоть ломоть чурека
И гроздь винограда
Из прошлого века.

Стихи пронизаны добром и благодарностью к судьбе за подаренное время появления на свет и проживание в молодости в этом замечательном городе Баку.

В сентябре 2008 года в издательстве «Наука» вышло второе, дополненное и расширенное, издание монографии «Давид Бурлюк в Америке». Ноберт учел замечания к первому изданию и, доработав некоторые главы, расширил его и создал объемную, красивую и интересную книгу, в которой много сведений о герое и о развитии искусства как в России, так и в США. Я преисполнен радостью, сознавая, что оценка научного труда моего друга сделана на таком высоком форуме, как специально проведенная презентация книги Институтом всеобщей истории Российской академии наук. Специалисты историки, искусствоведы говорили о большом значении появления такого труда для прославления русской культуры. Русская культура за рубежом – это огромный неразведанный пласт, который требует большого внимания и вкладывания интеллектуальных усилий. Таких работ немного, и это еще больше подтверждает значимость этой работы. На презентации состоялась премьера фильма «Заложники будущего», созданного на киностудии документальных фильмов в Москве по книге Ноберта (сценарий написан Нобертом вместе с Андреем Шемякиным и поставлен режиссером Романом Карменом-младшим).

Вот и завершился один из циклов его очередного труда, где Ноберт доказал, что он действительно способен доводить все задуманное до конца, и это еще одна замечательная черта его характера.

Нам с Нобертом уже много лет, но наши сердца продол-

СЕРДЦА, БЬЮЩИЕСЯ СИНХРОННО

жают биться синхронно, и он наполнен энергией и продолжает трудиться, удивляя своей работоспособностью своих близких.

Юрий Каган
АКАДЕМИК РАН
РОССИЯ

К юбилею Ноберта Евдаева

Юбилей рождает уникальную возможность высказать свою высокую оценку личности юбиляра и выразить искреннюю признательность за характер и масштаб сложившихся дружеских отношений. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью и сказать несколько слов о моем друге Ноберте Евдаеве.

С Нобертом Евдаевым нас познакомил наш близкий, к сожалению, ныне покойный, друг академик Николай Платэ. Дело происходило на даче у Платэ, в Подмосковье, и Норик сразу же покорила мою жену Таню и меня потрясающими качествами поистине незаурядной личности — живостью ума, доброжелательством, чувством юмора. Очень быстро возникло ощущение, что мы давно знакомы, сходимся во взглядах на что-то самое главное и можем раскрепощенно и свободно общаться. Вскоре наше знакомство переросло в настоящую дружбу, и она продолжается по сей день.

Бакинец по происхождению, типичный московский интеллигент по своим склонностям, привычкам и кругу общения, а в настоящее время обитатель Нью-Йорка, Ноберт всегда оставался самим собой, распространяя вокруг себя поле творческой активности, поразительной по разнообразию интересов и талантов.

С одной стороны, — живописец, достойный по меньшей мере персональной выставки. С другой стороны, — поэт с нотами искренней теплоты и лиризма в стихах, навеянных воспоминаниями о родных краях, о молодости, о дорогих ему людях... Наконец, редактор издаваемой в Америке на русском языке газеты, связанной с азербайджанской диаспорой (бакинское происхождение!).

Но вот обнаруживается еще одно дарование Ноберта Евдаева — он становится исследователем творческого наследия отца российского футуризма Давида Бурлюка. В центре внимания Евдаева «американский», малоизученный период жизни Бурлюка, продолжавшийся едва ли не полвека.

Евдаев с подлинной страстью следопыта по крупицам собирает сохранившиеся свидетельства, архивные документы, фотографии, редкие публикации, способные расширить и дополнить представление читателя о зарубежной судьбе колоритной фигуры выдающегося деятеля русской культуры в окружении представителей первой волны эмиграции, семьи, близких и, наконец, редких почестей из далекого отечества. Книга под названием «Давид Бурлюк в Америке. Материалы к биографии», богато иллюстрированная репродукциями с неизвестных картин Бурлюка, выпущенная впервые в Москве в 2002 году в издательстве «Наука», была настолько востребована читательской публикой, что потребовала переиздания, которое и было недавно осуществлено.

Переезд на жительство в другую страну представляется серьезным испытанием для любого человека. Нелегко оно, вероятнее всего, далось и Ноберту. Однако выдержал он его с честью. Мы с моей женой Таней посещали Нелли и Ноберта в Америке в их маленькой, но уютной квартире. Объявились мы у них в силу непредвиденных обстоятельств, совершенно случайно, однако встретили нас как самых дорогих, долгожданных гостей со всем радушием настоящего московского хлебосольства. Эти дни, проведенные с семьей Норика в Нью-Йорке, остались в нашей памяти как одно из самых ярких впечатлений из нашего посещения Америки. Отраднo было наблюдать, что Норик и Нелли не то что вписались в американскую действительность, напротив того, они внесли в нее дух того самого товарищества и сердечности, которыми мы все так дорожим и которых нам порой так недостает.

А Ноберт, невзирая на приближающийся весьма солидный юбилей, по-прежнему полон новыми идеями и планами. Можно только позавидовать его активности и энтузиазму.

Несмотря на расстояние, мы видимся сравнительно часто — Ноберт регулярно приезжает в Москву. Наша дружба приобретает все новые краски, и это, хотя бы отчасти, компенсирует тот факт, что нам не повезло встретиться в молодости.

Хотелось бы надеяться, что все задуманное Нобертом сбудется, а им с Нелли пожелать счастья, здоровья и всяческого благополучия.

Тофик Мирзоев

ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАН
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРОДЮСЕР, РЕЖИССЕР, КИНОАКТЕР
АЗЕРБАЙДЖАН – ИЗРАИЛЬ

Дар человеколюбия и дружбы Звуковое письмо, записанное в городе Арад (Израиль)

Дорогой Норик!

Скоро, в этом году, грядет твой большой юбилей. Полнокровно идти к такому солидному юбилею — это огромное счастье.

Бывают люди, с которыми общаешься в течение многих лет, с которыми дружишь на протяжении всей своей жизни, люди, чьи имена всегда хранишь в своем сердце.

Для меня имя Норик Евдаев — имя очень дорогое. Я вспоминаю наше первое знакомство. Если я помню верно, это было в первые послевоенные годы, во второй половине 1940-х годов, более 60 лет тому назад! Тогда завязалась наша дружба. Наши увлечения кино, музыкой, поэзией позволили нам, нашим друзьям создать группу, которая пронесла эти увлечения в течение всей прожитой жизни, а у кого-то стало профессией.

Ты удивительный человек огромного таланта. Если вспомнить все, дарованное тебе от природы, то это редкое явление, потому что во всех своих ипостасях ты всегда проявлял очень высокий уровень. Я вспоминаю далекое время, когда мы увлекались музыкой. Ты прекрасно играл на аккордеоне, особенно увлекался джазом. Все мы увлекались джазом. Очень много лет тому назад Илья Гусейнов — контрабасист, профессор Бакинской консерватории, которому теперь уже за 80 лет, Алтай Мусаев — саксофонист, которому недавно исполнилось 80 лет, Вова Владимиров — прекрасный пианист, которого, к сожалению, уже нет в живых, Валя Багиров — ударник, которого тоже, к сожалению,

нию, нет в живых, и автор этого письма, твой покорный слуга, — кларнетист составляли группу, которая играла прекрасную джазовую музыку на студенческих вечерах, устраиваемых, в частности, в Институте иностранных языков. Мы в то время слушали ночами передачи «Час джаза», которые вел Виллис Канонер из Америки. Мы были увлечены американскими и итальянскими фильмами, французской живописью, английской литературой. Нам тогда было по 15–16 лет. Я вспоминаю, что отношения с Америкой тогда испортились. В конце 1940-х годов был запрещен джаз. Мы уже тогда не могли слушать нашу любимую музыку. Передачи заглушались специальными устройствами. Называли их в народе глушилками.

Тогда мы устроились на работу в пионерлагерь завода имени Андреева. Директором завода был очень известный в Азербайджане Алиш Джамильевич Лемберанский, человек широкого склада ума, с модернистским мышлением, впоследствии государственный деятель. Пионерлагерь находился в селении Маштаги, недалеко от города Баку. Лемберанский построил его для детей рабочих своего завода. Именно туда на разные должности мы устроились на работу, чтобы ночью (парадоксально) в красном уголке продолжать слушать американскую джазовую музыку.

Впоследствии ты окончил в Баку строительный техникум и Институт иностранных языков, затем переехал в Москву, продолжил учебу и стал прекрасным инженером-строителем в самой большой строительной системе Москвы — Главмосстрое. Затем сочетание инженерных знаний и английского языка позволило тебе перейти на работу в иностранные компании в Москве в качестве научного консультанта. В то время, в один из замечательных периодов твоей карьеры, ты не забывал свой родной город. В это время тот же Алиш Лемберанский стал мэром города, и ты предложил ему построить мощную автозаправочную станцию. В Баку бензоколонки в то время были грязные, старомодные и неточные. Твое предложение было принято, и в районе Аэропорта была построена японская, современная, сверкающая чистотой, похожая на что-то космическое, автозаправочная станция, и когда мы улетали или прилетали

в Баку, всегда было приятно смотреть на это сооружение, связанное с твоим именем.

Твоя занятость, связанная с очень серьезной и ответственной работой, не мешала тебе заниматься теорией искусства и живописью. Тогда, еще в Москве, в своей мастерской ты написал одну из твоих главных работ — это прекрасная художественная композиция, отражающая твою любовь к национальной азербайджанской музыкальной культуре: «Три музыканта» — картина, которая висит у тебя дома и не оставляет равнодушным ни одного зрителя.

Впоследствии, когда ты уже переехал в Америку, для меня было большим открытием прочитать твою прекрасную монографию о художнике Давиде Бурлюке. Меня еще больше потрясло, когда ты написал цикл стихов о нашем дорогом, любимом городе Баку. В Нью-Йорке ты организовал удивительный фестиваль памяти выдающегося джазового музыканта Вагифа Мустафа заде, затем вечер памяти выдающегося композитора Кара Караева. Ты провел ряд научных конференций и, наконец, недавно организовал выставку художников Азербайджанской диаспоры, где наряду с талантливыми художниками — выходцами из Баку широко представил свои работы.

Ты являешься редактором прекрасной газеты «Новый рубеж», страницы которой ты посвящаешь бакинцам, истории нашего любимого города. Твоя общественная деятельность, которой ты занимаешься сейчас в Америке, являясь президентом азербайджанского землячества «АЗЕМ», не осталась незамеченной руководством Азербайджана. Ты заслуженно награжден президентом Республики Ильхамом Алиевым правительственной наградой — медалью «Терраги».

Я живу в Израиле и не имею полной информации о твоей деятельности, но все это вместе дает удивительное понятие о человеке, увлекающемся столькими направлениями в области гуманитарной науки, в области искусства, журналистики, общественной деятельности. А самое главное, ты обладаешь большим даром человеколюбия и дружбы. Вот с каким человеком я дружу!

Дорогой Норик, конечно, в те юные, молодые годы нас

жизнь как-то очень сблизилась, а потом каждый из нас начал заниматься своей карьерой, работой. Мы на какое-то время расстались и виделись очень редко. И вот судьба приготовила нам подарок. Сейчас, когда мы уже приближаемся к восьмидесяти, а нашему другу потрясающемуся драматургу, писателю и режиссеру Рустаму Ибрагимбекову исполнилось 70 лет, нам представилась счастливая возможность встретиться на его юбилее и вместе отметить эту замечательную дату.

Судьба распорядилась так, что мы стали видеться чаще, видимо, это возраст. У нас теперь появилась эта возможность. Мы приезжаем в Америку и Азербайджан, ты приезжаешь в Израиль и в Баку. Это огромное счастье, потому что тех друзей, которых судьба подарила более 60 лет тому назад, заменить невозможно. Наши сегодняшние встречи это настоящий подарок судьбы.

Я хочу тебе пожелать самое главное — большого здоровья. Пожелать тебе, чтобы никогда не кончалась твоя неиссякаемая энергии, и, как говорят у нас в Израиле, пожелать тебе до 120. Низко кланяйся Нелличке, потому что ее жизнь связана с тобой, и, конечно же, не без ее теплой женской ласки тебе позволено так много творить и так интересно жить.

Обнимаю, люблю,
твой друг Тофик.

Биньямин Шалумов
ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР,
ЖИВОПИСЕЦ, ЧЛЕН СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ
РОССИЯ – США

Маэстро Евдаев

Это было весной 2003 года в Израиле в Тель-Авиве во время Первого съезда Международного конгресса горских евреев — очень значимого для всех участников конгресса и для всех наших земляков, которых интересует судьба этой небольшой этнической группы людей, волею судеб разбросанных по всему миру от Кавказа до Американского континента, от Израиля до Австралии и Европы, людей, не мыслящих себя без сохранения корней и самобытности, устоявшейся на протяжении многих веков. Укрепить свое стремление сохраниться как народ и сохранить свою культуру, обычаи и язык, объединить вокруг этой идеи рассеянных по всему земному шару горских евреев, стало основной целью этого съезда. Решение этой задачи было бы невозможно без участия высокоинтеллектуальной прослойки нашего народа, среди которой оказалось значительное число именитых ученых и инженеров, врачей, артистов, художников и музыкантов, писателей и журналистов, героев войны и труда, государственных деятелей и бизнесменов. Именно благодаря этому событию мне в очередной раз повезло, и я приобрел замечательного друга в лице незаурядного человека Ноберта Евдаева, случайно оказавшегося в автобусе рядом со мной. Нам достаточно было перекинуться лишь несколькими фразами, чтобы понять, что наше общение продолжится еще очень долго и после того, как мы выйдем из автобуса, и в будущем по завершении этого великолепного мероприятия, что спектр нашего общения будет очень широк и, главным образом, на базе нашего общего желания сделать что-то полезное для реализации идей конгресса.

Вскоре после съезда Ноберту Михайловичу удалось организовать и поднять на высокий профессиональный уровень издание газеты «Новый рубеж» в Нью-Йорке, на страницах которой мы знакомимся с неординарными личностями — гордостью нашего народа; углубляемся в историю нашего народа и национальных праздников и в рамках просветительства учимся сохранять традиции предков; узнаем о новостях и событиях, происходящих в диаспорах; получаем подробную информацию о том, чем и как успешно занимаются наши дети и молодежь, и прослеживаем рождение и процветание молодых талантов. В газете много внимания уделяется вопросам межнациональной миротворческой деятельности. И во всех случаях Ноберт Михайлович — и главный редактор, и автор, и обозреватель. Этот титанический труд, выполняемый им бескорыстно, дает свои плоды и не проходит бесследно — благодаря ему эту газету читают и знают на разных континентах и через океаны обсуждают материалы, опубликованные в очередном номере.

Меня поражает многогранность этого человека — он художник и поэт, искусствовед, музыкант и общественный деятель. Физически ощутил его мощный и бескомпромиссный подход, когда он выступает как искусствовед. Колоссальной мощи труд — книга о Давиде Бурлюке, изданная Российской академией наук, подтверждает, что Ноберт Михайлович не просто искусствовед, но и большой ученый-исследователь. Подтверждение этому — переиздание по инициативе РАН книги о Бурлюке. Я как художник понимаю, насколько важна правильная и объективная оценка произведения искусства. Для меня мнение Евдаева является критерием уровня моих живописных работ. Он настолько точен в своих высказываниях, что не остается сомнения в его правоте и направленности его суждений. Вот одна из метких характеристик, данная им однажды при анализе моего творчества и ставшая для меня путеводной: *«...он вырезает определенный фрагмент природы и укладывает его на полотно...»*. Прочитав эти строки, я изменил свой взгляд на свои же работы. Теперь, глядя на законченную картину, мой мысленный взор распространяется за пределы полотна, и я реально ощущаю, как пейзаж на холсте смыкается с реальным пейзажем. Эти

простые слова, изреченные однажды Евдаевым, стали для меня ключом к пониманию неразрывной связи между изображением на полотне и реальной природой. Этот подход можно рассматривать как урок пейзажной живописи, который преподал нам маэстро Евдаев.

Дорогой Ноберт, при общении с тобой меня одолевают разные чувства: всегда волнуюсь, что бывает со мной редко, но всегда, когда я глубоко уважаю человека и очень ценю его мнение; предвкушаю похвалу, когда заслуживаю, и заранее переживаю, думая о том, что могу не заслужить твоего благословения. И, тем не менее, во всех случаях нахожусь в приподнятом состоянии духа, потому что имею честь быть близким тебе человеком и единомышленником. Продолжай учить нас, продолжай критиковать нас, продолжай радовать нас сознанием того, что есть среди нас гигант и что мы есть современники такого необыкновенного человека.

Марк Верховский

ЧЛЕН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ,
ЧЛЕН СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ АЗЕРБАЙДЖАНА,
ПРИЗЕР III ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЖУРНАЛИСТОВ
«ЗОЛОТОЕ ПЕРО»-2007

Полвека спустя

Путь к родной школе № 171 длился 20 лет, после последнего ее посещения в 1988 году. Тогда мы, бывшие одноклассники, решили собраться, чтобы отметить тридцатилетие выпуска нашего класса. Нас было человек двадцать, и мы, попросив охрану выпустить нас в уже другое заведение (Институт усовершенствования учителей), нашли свой класс еще в учебном состоянии.

Как и положено, каждый из участников сбора отчитался за свою тридцатилетнюю деятельность, после чего мы отправились в ресторан гостиницы «Баку» (ныне разрушенной).

Беззаботное и легкомысленное веселье совершенно не предполагало, что в дальнейшем придет суровая пора разрушения устоев идиллии сплоченности нации «бакинцев». А затем наступила растерянность и бегство в никуда.

И вот, двадцать лет спустя, меня снова потянуло в школу, в детство, в юность. Вполне естественное явление для любого нормального человека, посетившего родной город после стольких лет отсутствия.

Я с удовлетворением констатировал, что улицу Басина еще можно узнать, но когда я повернул на улицу Гоголя, я растерялся. Где мои родные убогие улочки с крутыми тупиками и разбитым тротуаром? Я шел наугад мимо импозантных высотных домов, загнанных узостью улочек на тротуары.

Ориентиром должен был быть горотдел милиции, все эти годы соседствовавший с нашей школой. Я рассуждал

так: «Без горотдела и его тюрьмы, город, пусть самый уголовно-экологичный, существовать не сможет, а потому и моя школа должна быть рядом. Это аксиома!» — смутно вспомнил я, как мне кажется, законы геометрии. Однако ни того, ни другого здания я, к моему сожалению, увы, не обнаруживал. В раздумье я остановился возле какого-то огоороженного решетчатым забором сквера. А тут и полицейский вырос передо мной. Я и поделился с ним своим горем в розысках школы.

Сержант весело (как бы не к месту) рассмеялся и, что еще более удивительно, заговорил со мной на чистом русском языке.

— Вот наш горотдел, — показал он на ближайший дом, у которого он, собственно, и дежурил, — а за углом, как и было раньше, здание вашей школы.

Я недоверчиво посмотрел на светлый дом с многочисленными приветливыми окошечками, уж очень он не был похож на бывший горотдел с его сплошной безоконной стеной.

— А откуда окна... — начал было я.

— Пробыли, — просто объяснил необычно вежливый сержант.

Бывшая школа была поделена: первые два этажа занимало отделение Славянского университета, а 3–4-й этажи — Лицей. Я остался доволен таким перераспределением наследия территории моей школы. Заглянув на кафедру русского языка Славянского университета, я получил полную информацию о просветительской деятельности азербайджанского заведения на благо славянских национальностей государств Восточной Европы. Было приятно наблюдать суету разноволосых и разноликих студентов, нашедших, именно в нашем городе, возможность продолжить свое высшее образование. Конечно, я отыскал «свой» класс. К счастью, он по-прежнему оставался «классом». Я застыл на пороге — сердце неожиданно громко стало выбивать гулкие удары. В смятении я перешагнул порог пустого класса и... очутился в гвалте и шуме середины 50-х годов прошлого столетия.

— Ура! «Англичанка» заболела! — пронесся восторженный клич по классу, и всесметающий вихрь безумства охватил не только таких заядлых «шательщиков», к примеру, как я и Забир Шалумов, но и ведущих отличников, в глубине души остро завидовавших нашей раскрепощенности.

Правда, за уроком английского следовал урок физкультуры, но это еще больше усиливало стимул пропуска занятий. Мы с Забиром понимающе переглянулись и стали пробиваться к узкой двери, заблокированной многочисленными желающими улизнуть из школы.

Девчонки с завистью смотрели на наши мальчишеские страсти, ибо они были «немки», то есть, в отличие от нас, они отдельно изучали немецкий. Да и вообще, в те времена они являлись нежелательными участниками наших похождений. У них в голове были качели и мороженое, а на последнее нам и самим не хватало денег.

Пока другие обсуждали, что им делать со свалившейся массой непредвиденного свободного времени, мы уже, сломя голову, мчались к парадной двери, на свободу — на улицу. Мы с закрытыми глазами могли примчаться на «наше» постоянное место. Сейчас я уже могу раскрыть эту, в принципе, не только мою, тайну. Это был, не удивляйтесь парадоксу, «Парк пионеров» или, если вас шокирует название, «Губернаторский сад», что примыкает к филармонии. Привлекали нас там бесплатные, раскачиваемые по асфальту, каталки и густая тень раскидистых деревьев.

Главной достопримечательностью парка являлся «Уголок натуралиста». Здесь можно было воочию познакомиться с бесподобным миром пресмыкающихся и прочих птиц. С миром же пионеров, а вернее, октябрят, парк связывала необычная статуэтка, как видно, стоящая еще со времен губернаторства Баку царского периода. Это был мальчуган, всегда зачуханный и грязный. Я подозреваю, что последний раз его купали, т.е. чистили, до прихода 26 бакинских комиссаров. Но что самое интригующее было в бессмертной композиции неизвестного автора, так это бесконечно бьющий фонтанчик из его малюсенькой пипильки.

«Пацан» ветшал и осыпался, история сменяла одну формацию за другой, но фонтанчик не иссякал. Я не удивлюсь,

если он и сейчас еще функционирует. (В мой приезд парк в связи с реставрацией был огорожен. Надеюсь, что теперь-то фонтанчик усилит свое функционирование!)

Но вернемся в школу, к парадному подъезду. Он — главное препятствие, охраняемое бдительным сторожем во все времена суток и «четвертей». Его можно было преодолеть только с помощью «рубчика». Но тратить целый рубль, эквивалентный 10 молочным мороженым или 5 пломбирам, было непростительным расточительством, тем более что и рубля у нас тоже не было. В принципе, в нашей практике встречалось, что и за полтинник можно было выскочить «за рубеж» школы. Но, опять же, к большому нашему сожалению, полтинника у нас тоже не было.

Ну, не подготовлены мы были к болезни «англичанки». А потому и стремились проскочить на улицу с каким-либо классом. Но время было раннее, и все классы еще были на занятиях. Замученные неопределенностью ситуации, мы увидели бегущего к нам старосту класса. Будучи отличником, а как же иначе, он, оказывается, собирал по приказу директрисы, разбежавшихся учащихся обратно в класс. Делать было нечего, и мы неохотно пошлелись назад, кляня сторожа и свое безденежье.

Когда все с ворчанием собрались, в класс ворвалась директриса — Марья Вагановна. Чтобы держать школу в узде, ей приходилось, с помощью крика и устрашающего вращения глаз, напускать на себя строгость и принципиальность. На самом деле, в бытность ее преподавателем химии сюрпризом обнаружилось, что она мягкая и милейшая женщина, к тому же так щедра на отметки, что даже я имел у нее «отлично». Итак, разложив нас на «цепную реакцию», Марья Вагановна представила нам молодого учителя, тоже «англичанина», заменявшего заболевшую нашу Эсфирь Иосифовну. Я раньше уже замечал этого элегантного преподавателя. Он выгодно отличался от остальной учительской рати, в основном состоящей из рыхлых бочкообразных женщин и немногочисленных неопрятных и задерганных мужчин.

Своей молодцеватостью и щегольством молодой педагог создавал контраст появления современного, послевоенного учительского поколения.

Но вот урок начался. Едва представившись, «англичанин» сразу же, без обязательного вступительного знакомства приступил к теме занятий. Этим самым он сразу же поставил свои условия — официальные. В общем-то, он был прав, ведь он только заменял коллегу, возможно, один лишь раз. Через некоторое время класс освоился с новым методом ведения урока и, не найдя в нем ничего принципиально отличающегося от привычного запоминания и заучивания, начал быстро раскрепощаться. Гвалт нарастал со скоростью приближающегося тайфуна.

Одним словом: все как обычно.

Мне тоже не сиделось на месте. Я тогда еще не понимал, что именно этому предмету необходимо уделять больше внимания, чем всем остальным, вместе взятым. Кто мог подумать, что в дальнейшем придется раскапывать те знания, которые вообще не закрепились в мозгу, сколько его ни напрягай. Вот теперь и аукнулись мои ранние ерзания на уроках. И тут я вспомнил, что я имею то, что необходимо для этого случая знакомства с новым учителем. Более догадливые читатели уже, наверно, поняли, что речь идет именно о ней: о рогатке. Да, о новенькой, еще вчера кропотливо изготовленной из хорошей доброкачественной проволоки, любезно подаренной мне моим приятелем Забиром, главным поставщиком «оружейного» материала.

— Ну что ж, вот и пришла пора опробовать систему, — с удовлетворением подумал я, извлекая из кармана брюк грозное оружие.

Не задумываясь о последствиях, как, впрочем, и принято у подростков, я немедленно стал тщательно готовиться к «террористическому» акту.

Выждав, когда педагог отвернулся к доске, чтобы написать неправильные глаголы, я натянул резинку, туго свернутой бумагой и выстрелил в его элегантную спину.

Конечно, я не целился и не имел намерения сделать ему больно. Это больше был акт озорства и хвальбы, чем злостное хулиганство. В глубине души я надеялся, что промахнусь и на этом мое удалство закончится. Но пулька попала прямо в затылок преподавателя. Он вздрогнул от неожиданности, рука его на мгновение замерла, затем

дописала фразу и опустила мел. Он повернулся и невозмутимо посмотрел в глубину класса. Я, чтобы он не заметил моей красной от смущения физиономии, уперся ладонями в подбородок, а локтями в парту. Но педагог, даже не взглянув в мою сторону, продолжал распространяться о достоинствах инфинитива. Одноклассники, вначале одобрительно откликнувшись на мою инициативу, теперь демонстративно неодобрительно смотрели в мою сторону. Я оглянулся на Забира — он смущенно отвел глаза. Все с напряженной внимательностью провинившегося смотрели в рот педагога, из которого выпрыгивали незнакомые словосочетания, как если бы все они завтра уезжали в эмиграцию и потому им было срочно необходимо понимание странностей английского языка.

Чувствуя неодолимый стыд, я с нетерпением ждал логичного в таких случаях вопроса: «Кто стрелял? Пусть встанет кто это сделал!» И тогда в моих планах вырисовывалось добровольное раскаяние. Однако учитель и не думал этого делать, справедливо заставляя своего обидчика испить всю чашу угрызений совести.

Так и присидел я до конца урока в ожидании от педагога первого шага к призыву моего оправдания. Когда я, наконец, понял, что справедливей было бы встать мне самому и извиниться, прозвенел звонок и «англичанин» быстро вышел из класса.

В дальнейшем я неоднократно старался встретить его в коридоре и признаться в своем непроизвольном «терроризме», но в последнюю минуту какие-то обстоятельства каждый раз мешали нашему объяснению. Возможно, это был бессознательный стыд за содеянное.

Когда наступили летние каникулы, мы расстались, как оказалось, навсегда, так как педагог вскоре ушел из школы. Но ничто не остается бесследно.

Спустя 50 лет на одном из праздничных приемов, устроенных послом Постоянного представительства Азербайджана при ООН, я разговорился с главным редактором газеты «Новый рубеж» Нобертом Евдаевым, с которым меня связывает дружеское и творческое сотрудничество по публикациям газетой моих авторских материалов.

Как выяснилось из беседы, мы уже встречались с Нобертом Михайловичем раньше, 50 лет назад, ибо он оказался тем самым «англичанином», педагогом из школы № 171.

«Лучше поздно, чем никогда», — решил я.

Я приношу свои запоздалые, но искренние извинения Вам, Ноберт Михайлович Евдаев, дорогому учителю 171-й школы, ныне уже «американцу» и главному редактору газеты «Новый рубеж», за тот неблагоприятный поступок, который тяжелой ношей я пронес через 50 лет.

Слово о моем друге

Шесть лет тому назад судьба свела меня с незаурядным человеком, Нобертом Михайловичем Евдаевым, и я стал сотрудничать с его газетой «Новый рубеж». Знакомство и дружба с ним позволили мне в полной мере оценить масштабность его личности: мощный интеллект, энциклопедичность знаний, разнообразие дарований. Он известный искусствовед-исследователь, поэт, прекрасный художник и журналист. У него благородный характер и доброе сердце.

Ноберт — прекрасный организатор, умеющий находить для своей газеты лучших журналистов нашей общины. Он создал широкий актив ее поддержки и превратил газету «Новый рубеж» в одно из наиболее популярных изданий нашей эмиграции. Задуманная первоначально как общинная, она стала авторитетной не только в горско-еврейской среде, но и среди других русскоязычных читателей.

Ноберт как главный редактор ставит в центр внимания редакционной коллегии и авторского коллектива укрепление религиозно-национальных традиций горско-еврейской общины, упрочение нравственных начал ее жизни, воспитание высоких моральных качеств у молодежи, укрепление семейных ценностей, дальнейшее изучение истории горских евреев, их самобытности и вклада в общечеловеческую культуру.

Он считает своим долгом уделять большое внимание сохранению и расширению связей с Азербайджанской Республикой, своей родиной, раскрывать уникальность дружеских связей между горско-еврейской общиной и азербайджанским народом. Газета знакомит читателей с современной жизнью Азербайджана, который, будучи исламской страной, открыт для диалога с Западом и США. В наши дни, когда президент Обама проводит новый курс в отношениях

с исламским миром, этот аспект деятельности газеты представляет особую ценность для будущего человечества.

У Ноберта не остаются без внимания такие важные темы, как помощь по вращению диаспоры в американскую жизнь, сдача экзаменов на гражданство и овладение традициями и великими духовными ценностями этой великой страны. Не упускаются также такие темы, как борьба против негативных сторон и поведение молодежи: наркомания, распущенность, алкоголизм и др. Газета ориентирует молодежь на получение образования и достижение профессионального успеха.

Неудивительно, что газету любят и стар и млад: первые находят в ней рассказ о своей прошлой жизни, вторые — уроки на будущее.

Ноберт — чрезвычайно деликатный, мягкий человек, но в работе проявляет требовательность и ответственность, справедливо полагая, что написанное слово — вечно!

Его отношение к журналистскому слову мне напоминает слова Цицерона: «...кто же не знает, что первый закон истории в том, чтобы не сметь сказать никакой лжи, затем — не сметь умолчать ни о какой правде и чтобы написанное не вызывало никакого подозрения ни в пристрастии, ни во враждебности».

Каждый номер газеты глубок и ярок, он становится событием в жизни нашей общины. Говорят, что испытательный срок для жизнеспособности печатного издания — три года, а наша газета выходит уже шесть лет и номер от номера становится все более популярной. Политики и дипломаты высокого ранга, ученые и писатели, религиозные и общественные деятели считают для себя за честь выступить на ее страницах. В этом главная заслуга Ноберта Евдаева, результат его неутомимой энергии, любви к людям, заданной и соблюдаемой высокой планки в отношении к своему делу.

Я всегда восхищался его юношеским задором и творческим горением, считая его моложе себя эдак лет на двадцать, но ныне с удовольствием принимаю в клуб восьмидесятилетних, справедливо полагая, что он станет примером активной, полнокровной жизни для нас — ветеранов.

У людей такого уровня, как Ноберт, лучшее — всегда впереди!

Элла Госис, Израиль Госис

США

Пятьдесят лет вместе

Мне кажется, я помню все, а было это 53 года тому назад. Моя ближайшая подруга Нелли познакомила меня со своим будущим мужем бакинцем Нобертом Евдаевым (Нориком). Была, как и полагается, свадьба в московской коммунальной квартире, где в одной из комнат жила Нелли со своими родителями.

Через четыре года я вышла замуж, и вот мы уже две дружеские семейные пары. Таким образом, всю нашу сознательную жизнь мы шагаем рядом и не перестаем восхищаться удивительными качествами нашего дорогого друга!

Обычно человек талантлив в чем-то одном, а наш дорогой Норик талантлив во всем.

За невероятно короткий срок Норик, начав в Москве свою карьеру с десятника, становится главным инженером, а затем начальником «Электромонтажного управления». И дальше крутой поворот, и он уже в представительстве иностранных компаний в Москве (японской, шведской). В то время это было просто невероятно!!!

За это время в их семье появилось двое детей, и Евдаевы из коммунальной квартиры, поэтапно, перебираются в один из самых престижных кооперативов в Москве «Лебедь». А ведь прошло всего каких-то 15 лет. Таких успехов за такой короткий промежуток времени мало кто смог достичь.

Характерно, что профессиональная деятельность — это лишь часть жизни Норика, скрытая от нас, от друзей. Мы видим только результаты.

А с нами он всегда в окружении огромного количества друзей и знакомых. Его хватает на всех.

В нашей семье за все эти годы ни одно значительное событие не проходило без участия Норика и Нелли. Норик

всегда тамада, всегда центр компании. Его тосты, часто в стихотворной форме, незабываемы. Его присутствие всегда вносит какую-то особую атмосферу, как теперь принято говорить «положительную энергетику». Не имея специального музыкального образования, он и за пианино сядет, и на аккордеоне сыграет, и споет, и станцует. Одним словом, «душа» компании.

Ну а об увлечении живописью можно говорить много и долго. Его картины, которые стали появляться еще в шестидесятые годы, просто потрясли нас. И это увлечение продолжается до сих пор. Созданные им картины украшают дома его семьи и многочисленных друзей. Мы ежедневно любуемся картинами, которые Норик подарил нам, и нам кажется, что он рядом.

Увлечение живописью перешло в искусствоведческое исследование, которое завершилось монографией о Давиде Бурлюке, которая представляет собой совершенно уникальный искусствоведческий труд.

Найти себя в условиях иммиграции далеко не просто, но энергия этого человека просто восхищает. Будучи уже далеко не молодым человеком, он находит в себе силы начать журналистскую и издательскую деятельность, выпускает книги, создает и выпускает газету, в которой является главным редактором. Его интересная газета «Новый рубеж» успешно конкурирует со многими русскоязычными газетами Нью-Йорка.

Мы благодарны судьбе, что она дала нам возможность в течение всей нашей жизни общаться с таким замечательным человеком.

Здоровья тебе, Норик, и долгих лет активной, плодотворной и творческой жизни!

До следующих юбилеев!!!

Йонатан Мишиев

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР «КАВКАЗСКОЙ ГАЗЕТЫ»,
ДИРЕКТОР ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «МИРВОРИ»

Мудрость опыта и юношеский задор

Мы никогда не были близкими друзьями. Нет, возрастные границы — это глупости и предрассудки, а вот пространственные — объективная реалья. Согласитесь, сложно съесть друг с другом даже килограмм соли (не говоря уже о требуемом пуде), проживая на разных континентах.

И всё же писать о Ноберте Евдаеве мне, может быть, даже легче, чем его близким и друзьям. Мне не нужно опираться на его биографию, многих подробностей которой я попросту не знаю. Мне не нужно придерживаться точности фактов, а следовательно, я могу позволить себе пофилософствовать, поразмышлять и высказать субъективное мнение о человеке, с которым встречался, возможно, с десятком раз, с которым периодически беседую по телефону, но которого безмерно уважаю и перед которым почтительно снимаю шляпу.

Сегодня Ноберт Михайлович вдвое старше меня. Ему — 80, мне — 40. Значит, он в два раза больше прожил, вдвое больше повидал, вдвое мудрее... Следуя простой арифметической логике, можно было бы предположить, что он должен быть вдвое практичнее меня, вдвое рациональнее, реалистичнее, но здесь арифметика даёт сбой.

Вдвое больше прожил — сегодня это так, но через год математическая ситуация изменится, а через 40 лет, когда я надеюсь поздравлять его со 120-летием, разница в возрасте у нас будет вообще не такая уж и существенная. Я буду таким, как он сейчас (надеюсь, не только физически, но и творчески), а он существенно не изменится, поскольку для личнос-

тей такого масштаба 40 лет — не повод для кардинальной перестройки.

Вдвое мудрее — безусловно. Не раз в сложных ситуациях я звонил ему и поражался простоте и правильности получаемых от него советов. И то, что вызывало у меня сомнения, после разговора с ним становилось абсолютно ясным, понятным, бесспорным и единственно возможным. И как я сам до этого не додумался?

А вот «практичнее, реалистичнее, рациональнее» — это скорее я, чем он, что тоже поражает. Как можно дожить до столь почтенных лет, набить немало шишек, но так и не снять розовые очки или хотя бы не откинуть вуаль прикрывающего их флёра?

Он не потерял способность восхищаться, всё ещё не перестал удивляться подлости и пошлости и в недоумении ищет то место, откуда они произрастают...

Удивительное сочетание мудрости, наивности, юношеского задора и жизненного опыта даёт мне возможность наслаждаться высокоинтеллектуальным коктейлем, имя которому Ноберт Евдаев.

Он пишет стихи и картины, статьи публицистические и научные, занимается своим непостижимым Бурлюком, возможно, делает и ещё что-то, чего я не знаю... Но в одной из его ипостасей я не без гордости могу назвать нас коллегами. Мы делаем с ним одно дело — ежемесячно в муках рожаем горско-еврейскую газету: он «Новый рубеж» в Америке, а я «Кавказскую газету» в Израиле. И общая боль, как известно, сближает.

Много раз я задавал себе вопрос: «Ну ладно я, но Евдаеву-то зачем это нужно?» Со мной уже всё понятно. Сколько раз я давал себе слово «завязать». Завязать с общинными делами, с газетой, со всеми нашими джуурскими проблемами и начать заниматься чем-нибудь другим. И завязывал. Недели на две! А потом всё возвращалось на круги своя. Кто-то обращается со своими проблемами, кого-то надо срочно бежать спасать... И телефон разрывается, люди требуют свою газету, кричат: «Вы не имеете права! Верните газету!» И я понимаю, что это моя жизнь и никуда мне от неё не деться.

Но он! Он со своими обширными интересами, талантами и массой блестящих знакомств во многих уголках земного шара. Он — человек мира. И в этом мире он уважаем, почитаем, любим. Ну и зачем? Зачем надо было в том возрасте, когда юношеский энтузиазм должен был бы уже поостыть, а иллюзии обязаны были рассеяться, нырять в самую гущу бурлящего общинного котла и браться за дело, за которое не то что гонорара, даже «спасибо» не получишь?!

Это атомный реактор проектировать и в космос летать не всякий может, а в газетном деле у нас каждый специалист. Спросите у Ноберта Евдаева, он знает. И у него, и у меня есть масса знакомых и незнакомых, которые знают, как издавать газету, и абсолютно уверены, что смогут сделать это не хуже нас. Да чего там, не хуже! Лучше, гораздо лучше! Ведь все точно знают: что надо писать, как писать, когда и зачем.

Ну и для чего ему этот каторжный труд, эта нервотрёпка, постоянные недовольства и поучения «знатоков»? Объяснение одно: это треклятый горско-еврейский ген, который не даёт жить спокойно, щиплет, колется, кусается. Он непременно проявляется в каждом из нас, но, к сожалению, не во всех одинаково. Кому-то он не даёт спать, потому что у соседа получилось, а у него нет. А кому-то, потому что у другой общины «получилось», а у его — пока ещё нет. Забота одинаковая, только масштаб разный.

Я знаю многих людей, по своей воле ушедших или по воле обстоятельств оторванных от нашей общины. И хотя порой физически они отрываются надолго, а иногда и навсегда, но душой никто и никогда не отрывается от неё совсем. Остаётся связующая ниточка, и какая-то ноющая боль внутри не даёт отключиться, забыться и жить своей жизнью. И всё же лишь единицы возвращаются обратно. Но возвращаются сильно, мощно, стремительно, как бы пытаясь наверстать упущенное. Таких людей мало, но делают они для своей общины гораздо больше, чем многие из тех, кто никогда из неё не уходил.

Ноберт Евдаев (уж простите меня за высокопарность, ведь применительно к такому юбилею она вполне уместна) относится к той великой плеяде сынов своего народа, ко-

торые, даже ничего конкретно не делая именно для этого самого народа, служат ему одним только именем своим и тем уровнем, которого достигли. Входя в интеллектуальную элиту многих стран, они поднимают статус общины, являются предметом её гордости и славы.

Но он вернулся в свою общину. Вернулся для того, чтобы отдать ей весь опыт, все знания, всю мудрость, накопленную им за жизнь. Вернулся, чтобы войти в историю своей общины как человек, внёсший огромный вклад в её культуру, как тот единственный, кто мог в Америке «вытянуть» такое сложное дело — издание общинной газеты.

**ПРИНОШЕНИЯ
ЮБИЛЯРУ**

Манашир Якубов

РОССИЯ

Прокофьев в Японии

I. «Я НЕ ВИДЕЛ ТАКОЙ ПРЕЛЕСТНОЙ СТРАНЫ, КАК ЯПОНИЯ»

Летом 1918 года двадцатисемилетний Сергей Прокофьев провел два месяца в Японии. Впоследствии, повествуя о прожитом и пережитом, Прокофьев отвел этому сюжету буквально несколько строк: «Я задержался в Японии до августа, дав два концерта в Токио и один в Иокогаме. Благодаря тому, что в Японии уже появились книги на японском языке о современной музыке и в одной из них, принадлежащей перу М.Отагуро, была глава обо мне, я получил в Токио под концерт Императорский театр. В европейской музыке японцы понимали немного, но слушали внимательно, сидели изумительно тихо и аплодировали технике. Народу было маловато, и иен я заработал мало...»¹. Столь же лаконично освещен японский эпизод даже в самых подробных новейших монографиях о Прокофьеве². В иных биографических трудах этот эпизод, как нечто малозначительное и мимолетное, не упоминается вовсе. Думаю, что в большой мере это объясняется оценкой самого Прокофьева, оказавшегося в Японии, в сущности, случайно и именно как случайность этот небольшой промежуток рассматривавшего. Другой, не менее важной, причиной было, конечно, отсутствие материалов.

Между тем, в жизни молодого композитора и пианиста Япония оказалась первой страной в веренице его долгих странствий по миру, именно здесь произошло первое его соприкосновение с зарубежной действительностью, таившей множество неожиданностей, испытаний, препятствий на пути к признанию и славе. Этот первый опыт, несомненно,

имел значение для всего дальнейшего зарубежного периода жизни Прокофьева.

Интереснейшие подробности его пребывания в Стране восходящего солнца запечатлены в опубликованном лишь через полвека после его смерти «Дневнике»³. Собственные свидетельства музыканта дополнены некоторыми находками русских и японских ученых последних лет. В совокупности эти материалы позволяют восстановить японские страницы биографии Прокофьева с большой полнотой и достоверностью.

В написанной в 1937–1939 годах, предназначенной для подцензурной печати в Советском Союзе «Автобиографии» композитор, полтора десятилетия проживший в Европе и в Америке, вынужден был как-то объяснять свой отъезд из Советской России и оправдывать свое полуэмигрантское прошлое: «О размахе и значении Октябрьской революции я не имел ясного представления. То, что я, как и всякий гражданин, могу ей быть полезен, еще не дошло до моего сознания. Отсюда и рождение мыслей об Америке: пока в России не до музыки, в Америке можно много увидеть, многому научиться и свои сочинения показать»⁴. Решение об отъезде изображено в «Автобиографии» как факт почти непредвиденный, следствие случайного знакомства с неким американским фабрикантом-меломаном, предложившим свою помощь в американском музыкальном мире.

В действительности же, бегство из страны, погрузившейся в хаос социальных катаклизмов, было результатом трезвой прагматической оценки ситуации и тщательно обдуманного плана. Мысли об Америке буквально не сходят со страниц дневника уже с конца 1917 года. «Ехать в Америку! Конечно! Здесь — закисание, там — жизнь ключом, здесь — резня и дичь, там — культурная жизнь, здесь — жалкие концерты в Кисловодске, там — Нью-Йорк, Чикаго. Колебаний нет. Весной я еду» (678).

С характерными для него практицизмом и целеустремленностью Прокофьев готовится к поездке. Он внимательно изучает атласы и путеводители⁵, рассматривает план Нью-Йорка и, напряженно следя за военными и политическими событиями, тщательно обдумывает маршрут предсто-

ящего пугешествия за океан. В конце концов, он пришел к выводу, что рациональнее двигаться не через охваченную войной Европу, а через Сибирь — в Японию и оттуда в Америку, сначала на юг континента, потом в США.

В отличие от той части российской интеллигенции, которая энтузиастически приветствовала переворот и пыталась активно участвовать в преобразовании жизни, Прокофьев, по собственным его словам, «совсем не был настроен быть в каких-либо комиссиях и депутациях, будучи твердо уверен, что дело композитора — сидеть и сочинять» (647).

И он упорно и плодотворно работал. 1917 годом помечены Третья и Четвертая сонаты и цикл маленьких шедевров — «Мимолетности» — для фортепиано, Первый скрипичный концерт, кантата «Семеро их» — «халдейское заклинание» — на стихи Константина Бальмонта. Наконец, в том же году была сочинена его первая, «Классическая», симфония.

21 апреля состоялось ее первое исполнение. После премьеры народный комиссар просвещения Анатолий Луначарский сказал композитору: «В то время, когда все занимаются разрушением, вы созидаете» (697).

И тот же Луначарский уговаривал Прокофьева, обратившегося к нему за разрешением на выезд: «Оставайтесь, зачем вам ехать в Америку» (696). Но решение об отъезде было продумано и принято давно, и оно не было связано с какими-либо идеологическими ограничениями или цензурными притеснениями. Еще в марте, после встречи с Кузевицким, по-видимому, сулившим композитору успех и высокие гонорары, Прокофьев пишет: «Меня не исключают из Москвы, мне предлагают устраивать концерты, но надо держать линию — в Америку. Кузевицкий и шесть тысяч "...а впредь, чем дальше, тем больше будете получать"» (691), — это выглядело крайне привлекательно.

«Я проработал год, а теперь хочу глотнуть свежего воздуха, — отвечает Прокофьев Луначарскому. — У нас в России и так много свежего воздуха. — Это в моральном отношении, а я сейчас гонюсь чисто за физическим воздухом. Подумайте: пересечь Великий океан по диагонали! — Хорошо, напишите на бумажке, мы дадим вам необходимые документы» (696).

2 мая 1918 года Прокофьев выехал из Петрограда в Москву, а вечером 7 мая экспрессом отбыл из Москвы. Но только через 16 суток — 23 мая — приехал во Владивосток. Он не планировал долго находиться в Японии, рассчитывая немедленно пересечь на пароход, отплывающий в Аргентину. Во Владивостоке он сразу отправился к японскому консулу за визой, но... Бюрократия существовала еще во времена Древнего Египта. Визу надо было ждать. «Этот негодный формалист требует пять дней на визирование паспорта, — с раздражением записывает Прокофьев 24 мая. — Японцы боятся из России большевиков и немецких шпионов. “Вы понимаете, — сказал консул, — что если мы вам просто так дадим визу, то она вообще не имеет никакого смысла?” А когда я стал настаивать, ссылаясь на мои бумаги и т.д., он ответил, что я скорее получу визу, если пойду сейчас за фотографией, необходимой для того, чем если буду долго разговаривать с консулом. Я был очень недоволен замечанием и отправился на базар к фотографу-моменталисту. Итак, я застреваю во Владивостоке на пять дней, до среды» (703–704).

Из-за этой задержки он опоздал на пароход в Южную Америку и вынужден был на некоторое время остаться в Японии.

Япония очаровала Прокофьева.

«Ступив на японскую почву, я испытывал особое наслаждение, как всегда, попадая в иноземные края, сулящие столько нового, — пишет он. — А теперь, после российской все же тюрьмы, попасть в цветущую страну, где нет ни войны, ни революции, — это ли не отдых?» (705). «Итак, прощайте, большевики! Прощайте, “товарищи”! Отныне не стыдно ходить в галстуке, и никто не наступит на ногу» (705).

Еще только приближаясь к берегам Японии, Прокофьев любовался красотой ее пейзажей: «Когда утром я вышел на палубу, мы уже подходили к Цуруге, и по бокам виднелись высокие, заостренные очертания гор. Жаль, в этот день в Стране восходящего солнца это светило восходило за облаками. Горы пышные, крутые, по-новому для нас очерченные, а внизу крошечные, игрушечные деревеньки» (705). Прокофьев был отличным ходяком, опытным и азартным путешественником. Сойдя на берег, он немедленно отпра-

вился осматривать местность. «Я гулял по окружающим Цуругу горам, поросшим пышной растительностью, и предавался мечтам. Затем на рикше, то есть на двухколесной коляске, ведомой японцем, поехал на вокзал. Это позорно — ехать на человеке, но он так просил, чтобы я взял его, и так радовался, когда я сел, что мне казалось — отчего же не дать ему заработать сорок иен за то, что он побегает двадцать минут. В поезде сначала набилась куча русских, а затем, когда я через час пересел в другой, прямой на Токио, то в нашем нарядном первом классе было просторно и удобно, а этот игрушечный поезд скакал временами, как настоящий английский экспресс. Я совсем не настраивал себя восхищаться Японией и даже немного злился на японцев, что они собираются занять восточную Сибирь, но должен сказать, что не видел такой прелестной страны, как Япония. Очаровательные крутые и зеленые горы чередовались с полями, разбитыми на крошечные квадратики и так любовно и тщательно возделанными, что, право, не мешало бы нашим товарищам, с их земельным вопросом, покататься по Японии!» (705–706).

В пять часов утра 1 июня поезд прибыл в Токио. «Комната тут же, в Station Hotel'e, очень хорошем и даже нарядном отеле в верхних этажах самого вокзала. Но первое, что мне попало на глаза, это объявление пароходного общества "Токио Кисен Каисчу" о парходах в Вальпараисо. И парход ушел три дня назад, а следующий через два месяца! <...> Я погулял по широко раскинувшемуся Токио, затем принял ванну (причем миллеровский массаж сделать было нельзя, так как тело сейчас же от теплого и влажного климата становилось мокрым) и в электрическом поезде поехал в Иокогаму.

Ах, какое большое впечатление, когда в Иокогаме я в первый раз увидел спокойную, светлую гладь Тихого океана! Я остро отдавал себе отчет, что это не просто море, а сам Великий океан.

Отвыкли мы от вежливой и лстивой прислуги: здесь за брек-фестом японец, раскланиваясь и оказывая тысячу внимательностей, извинялся у меня за плохую погоду, поблагодарил за честь, которую я ему оказываю, принимая его услу-

ги, а в smoking-room подложил по подушке под каждую руку. Очень мило, и в каждой стране свой режим, но, по совести, это лишне.

В Иокогаме я, во-первых, с наслаждением купил себе новые желтые ботинки (желтые ботинки были у Прокофьева своего рода “пунктиком”, — М.Я.), а затем начал беготню по пароходным компаниям и к аргентинскому консульству — узнавать, какие и когда пароходы в Южную Америку. И всюду пренеприятный результат: путь долог, а в ближайшее время пароходов не предвидится» (706).

Впрочем, композитор не унывал. «Сижу на веранде “Гранд-отеля” в Иокогаме, что в пятидесяти минутах электрическим поездом от Токио, — писал он другу в Петроград. — У ног стелется чистая, тихая гладь Великого океана. Несколько громад в двадцать, тридцать тысяч тонн украшают пристань. В кафе японцы, сгибаясь в три четверти, благодарят меня за оказываемую честь. С соседних столов доносится: “дубле” — это русские эмигранты играют в бридж. Мой пароход три дня назад ушел в Вальпараисо, поэтому на некоторое время остаюсь здесь» (707).

В первые же дни пребывания в Токио Прокофьев встретился — случайно! — со своими бывшими соучениками по консерватории — пианистом Альфредом Меровичем⁶ и скрипачом Михаилом Пиастро⁷, гастролировавшими в Японии, и с их импресарио Авсеем Строком⁸. Строк («самый бойкий импресарио по восточным берегам Азии и по экзотическим странам вплоть до Явы и Сиама», 706) предложил устроить его концерты в Токио и в Иокогаме, и это воодушевило Прокофьева: у него появилась перспектива. «А, в самом деле, не лучше ли вместо американского журавля в небе взять верную синицу у берегов Азии? — размышляет он. — Поездить по этим тропическим центрам, быть может, не менее увлекательно, чем Америка. Во всяком случае, я это уже имел в мыслях, когда покидал Россию, а теперь, раз парохода в Южную Америку нет, а здешняя антреприза под рукой, надо подумать. Уж очень мне надоело каждую минуту рассчитывать, хватит ли мне денег, и приберегать их» (707). Так начиналась его японская жизнь.

Два месяца в Стране восходящего солнца оказались на-

сыщены не только впечатлениями от страны, ее природы и обычаев, но и разнообразной творческой работой, новыми композиторскими замыслами, концертными выступлениями. Все это Прокофьев с присущей ему педантичностью и с откровенностью, подобающей настоящему дневнику, фиксировал в ежедневных записях.

«Вечером гулял по Гинзе, центру города, живописному и веселому, освещенному маленькими фонариками. Там оживленно и весело, — записывает он 3 июня. — Хорошо бы хорошенькую японку» (707). 4 июня он побывал на концерте Пиастро и Меровича и получил, таким образом, первые представления о музыкальной жизни японской столицы. «Впечатление пренедурное. Публика европейская, наряженная, играют неплохо и программа серьезная. Мерович неплохой, хотя и не перворазрядный пианист. Пиастро — отличный скрипач. Идея: надо написать скрипичную сонату! Вечером Мерович, Строк и я отправились посмотреть, что такое number 9. Мерович, в конце концов, отпал, а мы со Строком добрались. Это попросту публичный дом с комнатами для японцев и европейцев. Нас приняла старая хозяйка, по-моему, готтентотка (так у Прокофьева. — М.Я.). Затем явились четыре японки, из которых две очень хорошенькие. Эти четыре молоденьких, отлично выдрессированных рабыни чинно вошли, отвесили поклон и выстроились по стенке. Угостив их каким-то сиропом (причем они, взяв стаканы и подняв их, выпили за наше здоровье по глотку и поставили на стол), мы через десять минут уехали. Задних мыслей не было, просто любопытство» (708).

Едва освоившись с обстановкой и получив творческий импульс от посещения концерта, Прокофьев начинает работать.

«Начал пописывать скрипичную сонату, выгащил мои рассказы, — отмечает он в дневнике 5 июня. — Вечером гулял по расцвеченной фонариками Гинзе. Ужинал в кафе “Шимбаши”» (708).

Упоминание «рассказов», вероятно, требует пояснений. Прокофьев был щедро одарен не только музыкально, но и литературно, и литературные занятия увлекали его сильно. «Если бы я не был композитором, я, вероятно, был бы писа-

телем или поэтом», — заметил он в дневнике 23 ноября 1922 года, уже находясь в Америке.

В течение нескольких лет Прокофьев писал рассказы. Это было его тайной страстью. Даже самым близким друзьям композитор не только никогда не показывал свои прозаические опыты, но даже не сообщал о них⁹. В Японии, воспользовавшись неожиданно возникшим свободным временем, он особенно много занимался этой работой. Как человек исключительно организованный и во всем, касающемся профессиональных занятий, рациональный, он отдавал себе отчет в том, что на сочинение рассказов расходуется время, которое можно было бы посвятить сочинению музыки. И именно в Японии Прокофьев предельно ясно, без попыток самообмана, формулирует свой взгляд на собственное литературное творчество: «Как я отношусь к моему писательству? Во-первых — и в-последних — просто *мне это чрезвычайно нравится*. Это уже достаточный ответ» (712, курсив мой. — М.Я.).

6 июня он с утра продолжал сочинение сонаты для скрипки и фортепиано. «Днем был у Высоцких¹⁰, в Токио, где нарядная публика. <...> Обо мне длинные заметки в токийских газетах¹¹. Вечером японка. Но осторожность затмила удовольствие» (708).

На следующий день Прокофьев начал писать рассказ «Преступная страсть» и продолжил работу над сонатой, к которой почувствовал некоторое охлаждение: «Неужели скерцо пустое и глупое? — размышляет он. — А ведь надо писать хорошо или совсем не писать. Днем был у Айко Осэ¹², к которому [привез] письмо от Бальмонта. Говорит по-русски. Издает газету о России, по-японски и по-русски. Обожает Бальмонта» (708).

В тот же день Прокофьев (уже не впервые¹³) соприкоснулся с японской полицией: «Сегодня утром заходил ко мне полисмен и опять, как при спуске с парохода, допрашивал меня: кто, зачем, откуда, кто отец и т.д. Но этим не следует смущаться, тут так поступают со всеми. Он показал мне список человек в двадцать: и американцы, и русские, все оставившиеся в отеле» (708–709).

8 июня в дневнике впервые появляются тревожные за-

писи о событиях на родине: «Сообщение с Россией (телеграфное) прервано уже десять дней из-за столкновений большевиков с чехословацкими эшелонами в Иркутске» (708). Мысли о судьбе страны, воспоминания о друзьях и в дальнейшем встречаются на страницах дневника. «Вспоминую моих друзей и с большой нежностью Б.Верина¹⁴, Асафьева¹⁵ и Сувчинского¹⁶ тоже», — записывает Прокофьев 27 июня (712–713). Он возвращается мыслями к встречам с певицей Ниной Кошиц¹⁷, посылает письма Николаю Бенуа¹⁸, пытается пропагандировать музыку Николая Мясковского¹⁹ (подробнее об этом см. ниже).

Его размышления о России проникнуты сочувствием к соотечественникам и неприязнью к новой власти. «К брекфесту предлагают шестьдесят два блюда, — записывает он 3 июля после завтрака в отеле. — Вот бы показать нашим бедным, заголодалым петроградцам! Во Владивостоке чехословаки свергли большевиков. По всей Сибири бои. Очевидно, в России новый переворот. Не идет ли дело к порядку?» (714).

Особое беспокойство вызывает у Прокофьева участь матери, оставшейся в Кисловодске: «Меня всегда очень расстраивает, когда я вспоминаю маму и представляю, как она томится обо мне без известий. А с чехословацкой войной их, наверно, нет у нее, и не скоро будут. Но я должен был уехать, иначе я себя похоронил бы в гроб, да и неизвестно, на какие деньги мы жили бы с осени. Единственное утешение, что если Кавказ действительно занят немцами, или под непосредственной угрозой занятия, то мама сама радуется, что меня нет» (718).

Собственные планы Прокофьева на время пребывания в Японии прояснились в тот же день, 8 июня. Строк сообщил ему, что удастся арендовать зал так называемого Императорского театра для двух концертов: 7 и 8 июля (они состоялись 6 и 7 июля). После этого он рассчитывал устроить еще несколько выступлений Прокофьева. Это было бы решением финансовых проблем, которые сильно тяготили молодого композитора, не предполагавшего так долго находиться в Японии. «Затем, если у меня будет 1700 иен (и виза), я поеду в Нью-Йорк и там поживу месяц. Если окажется, что я

могу дать там ряд концертов, я останусь, если нет — вернусь к октябрю в Шанхай и дам концерт с симфоническим [оркестром]» (709).

Месяц, остающийся до дебюта в Токио, Прокофьев решил посвятить творчеству и знакомству с Японией. «Мерович, Пиастро и Строк уезжают давать концерты в Киото и Осаку. Мерович зовет меня отправиться тоже туда — это старинные, настоящие японские города, очень любопытные, а в Токио мне все равно нечего делать, если Строк не устроит чего-нибудь до 6 июля. Но он говорит, что в Японии надо начинать с Императорского театра, а раньше шестого Императорский театр не получить <...> Значит, наслаждайся Японией и работай» (709, 11 июня).

Прокофьев пускается в путь и восторженно впитывает впечатления от людей, быта, искусства, техники, горячим поклонником которой он был с детских лет, и, конечно, от природы Страны восходящего солнца. За короткое время он побывал в нескольких городах и городках или деревнях (Киото, Осака, Нара, Карцизва, Омори, Мианошиту) и оставил в дневнике меткие, колоритные записи обо всех этих местах и обстоятельствах их посещения.

«В полдевятого утра я и Мерович с экспрессом выехали в Киото, до которого одиннадцать часов пути. У экспресса маленький, но изящный салон и довольно бойкая скорость. Я был чрезвычайно доволен нашей поездкой по красивой, уютной и очень благоустроенной Японии. Мерович — славный малый. Сидя в креслах на площадке салон-вагона, мы смеялись, что думали ли мы в есиповом классе²⁰, что нам придется разъезжать в экспрессе по Японии, беседовать о “Фейерверке” Дебюсси? Иены мои фантастически уменьшаются и, если бы не уверенность в Строке, положение мое стало бы неуверенным» (710, 12 июня).

«Ездили в быстром электрическом трамвае в Осаку, оживленный, чисто японский город, где мы не встретили ни одного европейца. Особенно фантастическое зрелище — театр, и даже не сцена, а зрительный зал, где все сидят в каких-то коробках, лопают рис и со страшной быстротой машут веерами. Любопытны главные улицы вечером, с тысячами фонарей и фонариков и огромной гуляющей

толпой. Если в наших парикмахерских есть отдельный маникюр, то здесь — отдел чистки ушей. Очень любопытно. Сюда бы послать некоторых наших тугоухих музыкантов» (710, 13 июня).

«Гуляли с Меровичем по окрестностям Киото, среди тысячи буддийских храмов, удивительных водных сооружений (каналы сквозь тоннели), по прелестной местности. Вот здесь настоящая Япония. <...> У меня прелестная комната, полуевропейская, полуяпонская, с резными раздвижными стенками, циновками. Только ужасно дорого, и иены так и бегут» (710, 14 июня).

«Вечером с Меровичем отправились в Чайный домик. Их здесь сотни, и там танцуют гейши. Четыре девчонки танцевали нам *naked dance*, т.е. танец голых. Насчет танца, — по-моему, они просто прыгали, надувая европейцев, но раздевались честно догола и после даже предлагали *short-sleep*. В результате одна, самая хорошенькая, сидя у меня на коленях, сперла жемчужную булавку. Хорошо, что вовремя я спохватился, и тогда булавка нашлась. Зацепилась, видите ли, за ее волосы, когда она клала мне голову на грудь» (710, 15 июня).

19 июня Прокофьев переехал в Нару. «Отличный отель стоит на берегу озера, среди огромного священного парка, с массой храмов и памятников. По парку бродят священные олени, совсем ручные, которые окружают вас толпой, если вы начнете кормить их хлебом. В пруду золотые рыбы с аршин величиной, жирные и противные, тоже священные. Здесь тихо и привольно. Чудесный колокол по форме напоминает митру, по звуку — огромный благородный гонг» (711).

Не забывая о предстоящих выступлениях, Прокофьев продолжал присматриваться к музыкальной жизни. Его интересует и реакция публики, и финансовая сторона дела. «На концерты Меровича и Пиастро японцы ходят в дешевые места (50 иен). Отношение японцев (вообще эти концерты любопытны, как попытка дать серьезную музыку чуждым, но начинающим интересоваться европейской музыкой японцам): с одной стороны — очень внимательны, но с другой — ясно, что даже при их внимании они ни в чем не раз-

бираются, и играй им сонату или вообще импровизируй — этого они не разберут. Внешние занятности обращают их внимание, например, *pizzicato* (игра щипком на струнах, — М.Я.), гамма *perlé* (жемчужная, бисерная) у рояля и т.д. Сыграть два раза перед такой аудиторией интересно, но больше — стимула нет» (712).

Тем не менее, в конце месяца он решает вернуться в столицу: «Надо позаниматься перед концертами, хотя очень стараться для этой публики не стоит. Все же я не играл два с половиной месяца» (713). Отправляясь в обратный путь, он приобрел билет в *Observation car* — последний вагон со специальной площадкой для обзора местности. «Дневной переезд по красивой и нарядной Японии повторил с большим удовольствием. Каждый вершок, удобной и даже не очень удобной, земли обработан с невиданной для Европы тщательностью и любовью. Фуджи-Яма мелькнула только несколько раз, при поворотах, появившись из-за туманов. Коническая и мрачная. Я рад, что видел ее» (713).

1 июля Прокофьев переселился в Гранд-отель в Иокогаме. Это был дорогой отель, но Прокофьев решил, что «перед концертами надо немного парадировать» (713), то есть продемонстрировать себя. «Здесь прохладней и больше европейской публики. Очень хороша в знойный день линия горизонта, расплывчатая, незаметно переходящая в небо. Ночью чудесный Скорпион с красным Антаресом. Здесь все созвездие сияет полностью и действительно похоже на страшного мистического зверя» (713). А накануне переезда в Иокогаму, 30 июня, в выходящей там газете на английском языке появилось первое объявление о предстоящем концерте русского пианиста, и он педантично отметил это в дневнике (713).

Объявление имело одно неожиданное последствие: о приезде Прокофьева узнал из этой газеты музыкальный издатель Коио Сэноо²¹, сообщивший эту новость музыковеду Мотоо Оотагуро²². Оотагуро (Прокофьев пишет фамилию с одним «о» в начале) был на два года моложе Прокофьева, но к моменту их знакомства успел уже немало сделать и приобрести известность. В частности, он выпустил два тома популярных очерков под названием «От Баха до Шенберга».

Во втором томе этого издания, вышедшем в свет совсем незадолго до приезда композитора, в апреле 1918 года, была и небольшая статья о Прокофьеве — «восходящей звезде в музыкальном мире северной страны». Для Прокофьева это был приятный и пришедшийся очень кстати сюрприз.

Первая встреча Прокофьева и Оотагуро состоялась 2 июля на приеме, который устроил в японском ресторане директор Императорского театра. Книга Оотагуро «произвела чрезвычайное впечатление на прессу», — записал Прокофьев. «Оотагуро отлично осведомлен о русской музыке, и мы проразговаривали с ним весь обед (по-английски). Обедали на корточках, по-японски. Танцевали гейши, и против каждого обедавшего сидели по две молоденьких нарядных японки» (713).

Оотагуро издавал собственный журнал «Ongaku to bungaku». В этом журнале он и опубликовал интервью с Прокофьевым²³.

6 и 7 июля состоялись выступления в Императорском театре. Концерты не оправдали финансовых расчетов импресарио и надежд композитора. Строк не сумел собрать публику и в последний момент «предложил продать оба токийских концерта за 850 иен (500 — мне, 350 — ему). Я пришел в ужас от мизера, но он говорит, что больше мы никогда не получим: нет сезона и [концерт] днем. Поэтому решили спроституироваться и продаться.

Это очень плохо: для поездки в Америку мне необходимо 1700–2000 иен, и при таких грошах я рискую их не наскрести. <...> Но играть за двести пятьдесят рублей — стоило ли для этого становиться знаменитым!» (713).

Концерты прошли без особого успеха, и Прокофьев с деловой объективностью зарегистрировал это в дневнике.

«Играл я равнодушно, смотря как на деловое занятие. Народу очень мало (суббота, 1 час 15 дня, жарко), так что хорошо, что мы продались. Публика, почти исключительно японская, слушала очень прилично. Аплодисментов немного и исключительно за технические вещи. Диссонансы их нимало не смущали, ибо для японцев, привыкших к совершенно другим звукам, едва ли есть разница между нашим консонансом и нашим диссонансом»²⁴ (714).

В программы концертов Прокофьев включил Первую и Третью сонаты, а также финал Четвертой сонаты, который он представил под названием «Фантазия», и около двух десятков миниатюр, в том числе «Мимолетности», Токкату Ор. 11, «Призрак», «Отчаяние» и «Наваждение» из Ор. 4, «Марш», «Гавот», «Прелюд» и «Скерцо» из Ор. 12. По справедливому замечанию Д.Сато, он познакомил японских слушателей почти со всем лучшим из того, что было им к этому времени написано для фортепиано. Кроме того, он исполнил этюды, мазурки, вальсы, ноктюрн и Третью балладу Шопена.

Концерт 7 июля прошел, видимо, не намного успешнее, хотя слушателей было больше, поскольку дирекция распространила сто билетов бесплатно. «Зал выглядел вполне прилично, — отметил Прокофьев. — Слушали тоже чрезвычайно прилично. По просьбе местных музыкантов, «Наваждение», которое им больше всего понравилось, было включено и в этот концерт. Успех имели вещи исключительно технические» (714).

Продолжение незапланированных японских гастролей оказалось еще менее удачным: концерт в Иокогаме прошел при почти пустом зале, а остальные концерты пришлось отменить. «Вечером концерт в Иокогаме, в новом зале Гранд-отеля, — пишет Прокофьев. — Программа первого в Токио. Вход пять иен. Но [эта] цена оказалась настолько высокой, что многие уходили, не купив билета²⁵. Народу очень мало (сорок-пятьдесят человек), но слушали с большим интересом. Чистый доход в мою пользу — сорок одна иена. Кроме того, Строк получил письмо, что концерты в Кобе, Осаке и третий в Токио состояться не могут.

Вот тебе и две тысячи иен на Америку. Вместо них в кармане восемьсот пятьдесят и ничего в перспективе. <...> Поэтому я решил ехать в Гонолулу, дать там пару концертов, подкрепиться долларами и — в Нью-Йорк.

На сегодняшнем концерте ко мне подошли четыре русских музыканта, играющих в салонном оркестре отеля, очень почтительно комплиментировали и говорили, что они были в Гонолулу и что там большой голод по серьезным концертам» (715).

Прощаясь с Авсеем Строком, раздосадованный композитор не стеснялся в выражениях: «Когда он пожелал мне “всего лучшего”, я ответил: “и, прежде всего, — лучшего антрепренера”. Он ссылаясь и на жару, и на отсутствие сезона, и вообще был очень расстроен, что наши концерты прошли так бесславно, ибо у него все должно быть “только первый класс”. Я ответил: “В кои-то веки Бог послал вам настоящего первоклассного артиста, но тут-то вы ничего и не сумели сделать”» (715).

Мотоо Оотагуро написал восторженную рецензию, уделив основное внимание не пианизму музыканта из России, а именно его композиторскому творчеству: «Его музыка полна революционной мысли, которая стремится достигнуть нового свободного выражения, освободиться от условности. В сущности, в его музыке есть невыразимая тонкая красота. Она, пожалуй, отражает его душевную нежность. А мелодия иногда наполнена приятной лирикой, и это незабываемо»²⁶.

Благожелательный отзыв мог служить некоторым утешением (Прокофьев до отъезда из Японии неоднократно встречался с Оотагуро и, вероятно, знал о рецензии и о ее содержании), но, судя по дневнику, композитор не придавал этим концертам серьезного значения.

В ожидании парохода и американской визы он продолжал прежний образ жизни, деля время между музыкой, чтением²⁷, занятиями испанским языком, который он решил выучить (и выучил) в связи с предстоящей поездкой в Южную Америку, развлечениями, поездками и писанием рассказов.

Именно литературная работа оказалась в коротком японском эпизоде биографии Прокофьева наиболее значительной по результатам. В Японии родились, были начаты, целиком написаны или закончены его рассказы «Преступная страсть», «Какие бывают недоразумения», «Белый друг», «Жабы», «Блуждающая башня». Изучение обширного литературного, в том числе мемуарного и эпистолярного, наследия композитора — самостоятельная специальная задача. Здесь, опираясь на свидетельства самого автора, хочется отметить лишь некоторые факты непосредственной связи

биографии и творчества. Дневник представляет в этом отношении интереснейший материал.

28 июня Прокофьев впервые отметил в дневнике возникшую у него идею «рассказа о бескостном человеке» (713). Спустя неделю, 4 июля, в честь американского «Дня независимости» был устроен «блестящий праздник в Гранд-отеле, на который глазели толпы народа, топчась перед отелем» (714). «Я надел фрак и ходил по нарядным террасам и салонам отеля, и мне приятно радовали глаз нарядные туалеты и хорошенькие лица, — записывает Прокофьев. — Как ни так, за время войны, а тем паче революции, ни одного такого сборища я не видел в России. Знакомых было довольно много, и даже было весело. Одна черненькая филиппинка, лет семнадцати, жена какого-то дипломата, мне ужасно понравилась, я познакомился с ней, но, увы, — никакого успеха!» (714).

Приподнятая, радостная атмосфера вечера, казалось бы, никак не ассоциирующаяся с гротескно-мрачным содержанием задуманного рассказа (случайный разговор двух «жаб»: бывшего циркового акробата и бывшего палача), парадоксальным образом помогла оформлению замысла.

Импульс, появившийся в результате впечатлений этого светского «сборища», был так силен, что уже на следующий день, 5 июля, накануне своего концертного дебюта в Токио Прокофьев «начал набрасывать “Жабы”, первый статический рассказ». И прямо отметил в дневнике, что «идеей начала послужил вчерашний праздник».

Первая страничка рассказа текстуально перекликается с приведенной выше дневниковой записью 4 июля:

«В этот вечер в Гранд-отеле затеяли какой-то праздник. С улицы трудно было решить, в чем заключалось дело, но понаехало целое стадо автомобилей, и у подъезда зажгли большие фонари, которые обыкновенно стояли темными. Окна нижнего этажа, где находились залы и гостиные, сияли снопами света, но лучше всего была большая терраса, убранная то цветами, то флагами и освещенная круглыми электрическими фонарями, с целой сотней маленьких лампочек в подмогу. У террасы не было стен <...>. А творившееся на ней было пестро и довольно занимательно для гла-

за: иногда между колоннами, у самой решетки появлялись джентльмены в черных фраках с превосходными белыми жилетами, и луч яркой лампочки застревал в их бриллиантовых запонках, разламываясь на тысячи веселых оттенков. Еще любопытней были дамы: в нарядных легких туалетах, то похожих на пену, то на брызги. <...> Прохожие, собравшись перед балконом в довольно порядочную толпу, внимательно глазели на содержимое балкона»²⁸.

Начинающий прозаик был так увлечен новой работой (вспомним его признание: «мне это чрезвычайно нравится»), что, едва отыграв второй концерт, он вновь берется за перо: «Вечером писал “Жабы”» (714, 7 июля). На следующий день он «прочел вечером “Жабы” и нашел, что сбился с тона. Получилась какая-то горьковщина, словом, черт знает что. Зачеркнул и бросил» (714–715). Но еще через три дня Прокофьев вернулся к рассказу: «В “Жабах” то, что зачеркнул, написал заново, и вышло хорошо. Надо остерегаться в разговорах: конечно, такие типы не могут разговаривать как интеллигентные, но сохрани Бог пускаться во всякие “словечки”. Надо [было] найти какую-нибудь “психологическую грубость”, а никак не стилистическую» (715, 11 июля).

Закончив «рассказ о бескостном человеке», Прокофьев продолжил работу над начатыми ранее рассказами «Преступная страсть» и «Блуждающая башня». Интересно, что причиной возвращения ко второму из этих рассказов было чтение: «Писал “Блуждающую башню”, — отметил он 30 июля. — Кажется, на днях кончу. Я к ней было остыл, но книжка о Вавилоне вернула симпатии» (718). Насколько Прокофьев был захвачен своими литературными занятиями видно из записи, сделанной уже в океане, на пароходе 5 августа: «Закончил (в голове) “Блуждающую башню”, у которой была первая половина и был конец, но не выходили подробности в середине» (720).

Дневниковые записи вообще дают любопытнейший материал для наблюдения не только за процессом литературного творчества Прокофьева, но и за его реакциями на окружающее. Так, герой рассказа «Какие бывают недоразумения» задумывает (чтобы отомстить жене за измену) уехать на Принцесвы острова и купить там гарем. Прокофьев,

всегда стремящийся к максимальной точности, хочет выяснить, где находятся острова. «Удивительная вещь, — записывает он, — здесь все стены отеля увешаны картами, видами и прочим, но когда я хотел увидеть карту Европы, чтобы найти Принцевы острова для моего рассказа, то карты Европы нигде не оказалось. Пускай Европа — центр мира. Здешний мир живет без нее» (712).

26 июля Прокофьев передал Оотагуро заметку о Мясковском для его журнала²⁹:

«Среди современных русских композиторов Мясковский занимает самое заметное место. Даже если глубокая его мысль не всегда оценивается по достоинству широкой публикой, то истинным любителям музыки она внушает большое восхищение, и действительно, его музыка — поразительная, сильная, подчас мрачная и драматичная — производит неотразимое впечатление.

Николай Мясковский родился в 1881 году. Сын генерала Мясковского, он получил военное образование и, будучи уже военным инженером, окончил Петербургскую консерваторию. Он сочинил 5 симфоний, симфониетту, 3 симфонические поэмы, 2 сонаты для фортепиано, сонату для виолончели и много романсов. Из этих композиций наиболее замечательны последние симфонии и Вторая соната. Большая часть его сочинений изданы у Юргенсона и в Российском музыкальном издательстве.

На трехлетней войне он был контужен, оторван от сочинения музыки, но сейчас возвратился к творчеству с новым рвением.

Сергей Прокофьев

Токио

Разумеется, музыка не была забыта. Один из новых знакомых (англичанин, имя которого в дневнике не названо) предложил ему пустую квартиру с роялем. Каждое утро Прокофьев стал там музицировать. В доме обнаружилась хорошая нотная библиотека, и он с удовольствием знакомится с сочинениями современных композиторов Макса Регера, Роже-Дюкасса, Мориса Равеля, Клода Дебюсси, Исаака Альбениса, Энрике Гранадоса и записывает свои впечатления: «Все, несмотря на современную славу, очень благозвучно, от-

лично сделано, приятно, но не глубоко. У меня лучше» (716, 13 июля). «Испанцы Гранадос и Альбенис милы, но пустоваты и порой наивны по своей технике. Дебюсси во вступлении к “Фавну” прелестно-тонок и поэтичен, несмотря на бесконечное переливание из пустого в порожнее. В первых опусах он просто плох» (716, 16 июля).

Уединение и инструмент создавали возможность возобновить сочинение. 12 июля он «просматривал набросанный материал скрипичной сонаты [начатой еще 5 июня]. Пока как-то отвык от сочинения за роялем и ничего не сделал, но соната может выйти недурная. Первую часть порвал от начала до конца» (715). Это была уже не первая попытка сочинения музыки в «японском промежутке», но именно временность пребывания как-то мешала композитору, и он — уже не впервые — замечал это. «Здесь хорошо для работы, но я не могу вернуться в нее <...> Здесь я все же на пролете (весь этот год под знаком непрерывного стремления), и я не могу сосредоточиться и углубиться» (711). Впоследствии сделанные в Японии наброски Сонаты для скрипки и фортепиано и «белого» квартета были использованы в других сочинениях³⁰.

В эти же дни Прокофьев продолжал обдумывать план оперы на сюжет сказки Карло Гоцци, предложенный ему Всеволодом Мейерхольдом. «Перечитывал “Любовь к трем апельсинам”, — пишет он. — Мне очень нравится идея написать на это оперу, и, должно быть, напишу, но не нравится развязка. Бенуа дал мне итальянский оригинал, надо переделать по-итальянски. Затем надо разорвать параллельные события подземных сил и поставить их в соответствие с происходящим на земле» (710).

Среди новых знакомых композитора оказался маркиз Токугава, «молодой, чрезвычайно занятный японец, очень увлекающийся европейской музыкой»³¹ (715). 22 июля секретарь российского посольства барон Беер³² сообщил Прокофьеву, что Токугава хочет заказать ему произведение. Предложение заинтересовало Прокофьева, поскольку могло решить его финансовые проблемы.

Однако 31 июля он, наконец, получил американскую визу и 2 августа на пароходе «Гротиус» покинул Японию. «Выйдя

в четыре часа утра, перед самым рассветом, на палубу, я видел поразительное зрелище: на посветлевшем небе, на котором уже исчезли звезды, горели рядом: Луна на ущербе, Юпитер и яркая-яркая Венера» (719).

Так завершилась краткая, но насыщенная и значительная японская страница биографии Прокофьева.

Судя по всему, молодой музыкант покидал Японию с теплыми чувствами.

Он был покорен необычайной красотой этой страны.

Ему удалось много времени отдать любимой литературной работе и новым композиторским замыслам. В Японии родились, были начаты, целиком написаны или закончены его рассказы «Преступная страсть», «Какие бывают недоумения», «Белый друг», «Жабы», «Блуждающая башня», написана небольшая статья о самом близком его друге Николае Яковлевиче Мясковском.

Здесь же возник замысел Сонаты для скрипки и фортепиано, продолжалось обдумывание идеи оперы «Любовь к трем апельсинам» по сказке Карло Гоцци, была сделана фортепианная транскрипция одного из самых его популярных произведений — Гавота из «Классической симфонии», наконец, здесь же появились наброски, использованные впоследствии в таких замечательных сочинениях, как Третий концерт для фортепиано с оркестром и опера «Огненный ангел» по одноименному роману Валерия Брюсова.

Наконец, именно в Японии Прокофьев преодолел первый трудный барьер, стоявший на его пути концертирующего пианиста. Его дебют в Императорском театре в Токио в самом начале двадцатипятилетней эпохи странствий не был триумфальным, но все же не стал провалом. Через Великий океан Прокофьев отправлялся полный честолюбивых планов, замыслов и надежд.

II. ЯПОНСКОЕ ИНТЕРВЬЮ ПРОКОФЬЕВА

Беседа Прокофьева с Оотагуро шла на английском языке, которым оба собеседника владели не вполне свободно. «Мы оба плохо говорили по-английски», — сообщает Оотагуро. Во

время разговора он, вероятно, вел записи, но прямой констатации этого факта ни в публикации интервью, ни в Дневнике нет (отметим все-таки, что Прокофьев называет Оотагуро журналистом, — с. 713). Оотагуро напечатал интервью в своем журнале в собственном переводе на японский язык. На сайте Ассоциации японоведов текст представлен на английском. Все это, разумеется, не может не вызывать вопроса о достоверности текста. Однако в столь необычной (с точки зрения текстологии) ситуации есть неожиданная обнадеживающая сторона. Именно потому, что оба собеседника плохо владели языком, они говорили короткими, очень простыми и ясными фразами, не предполагающими разного, тем более двусмысленного или многосмысленного, истолкования. Это парадоксальное обстоятельство позволяет надеяться на минимальные отклонения от действительного содержания беседы и смысла высказываний Прокофьева, в частности. Я даю текст интервью в своем переводе с английского.

«Я никогда не мечтал о встрече в Японии с таким человеком, как вы», — были мои первые слова, обращенные к Прокофьеву. В этот момент я заметил капельки пота на кончике его носа и в уголках рта, потому что был жаркий вечер сезона дождей.

Прокофьев — довольно худой молодой человек, однако он выглядит здоровым. Он напоминает простого студента. Его открытость производит хорошее впечатление, и с ним легко общаться. Мы оба плохо говорили по-английски, но, тем не менее, были очень довольны нашей беседой.

Мой первый вопрос был:

— Каково нынешнее состояние российской музыки?

— Лучше, чем можно [было бы] себе представить. Даже я дал концерт в апреле этого года. Существует также достаточно оркестров.

— Кто сейчас лучший дирижер в России?

— Кто? Прежде всего, я думаю, Кусевицкий³³. Знаменит также Зилоти³⁴.

— Я слушал Зилоти как пианиста в Лондоне.

— Да, он ученик Листа. Конечно, он довольно стар для пианиста. Вот почему он стал дирижером. Тем не менее, я

не могу сказать, что он хорош как дирижер. Но он хорош в организации концертов, поэтому он пользуется большой популярностью. Есть еще англичан Альберт Коутс³⁵, это превосходный дирижер.

— Кто ваши любимые современные русские композиторы?

— Я люблю Скрябина, а также Стравинского³⁶ и Мясковского. Как в России относятся к музыке Скрябина?

— Я думаю, сегодня его понимают лучше.

— В самом деле? Я слушал его в Лондоне. Но его музыка довольно сложна. Я слушал его “Прометея”.

— “Прометея”? Это очень хорошо. Я тоже был в Лондоне в июле 1914 года. Возможно, в одно время с вами.

— Какие из сонат Скрябина вы любите больше всего?

— Что касается меня, я не слушал Десятой сонаты, однако слушал Девятую в его исполнении. Не могу сказать, что я люблю Девятую, но Пятая и Шестая хороши. И Десятая — тоже, хотя она несколько коротковата. Как жаль, что его больше нет. За несколько лет ушло много знаменитых людей.

— Да. Умер Макс Регер, умер Дебюсси. Я всегда любил Регера больше, чем [Рихарда] Штрауса. И смерть Гранадоса — огромная потеря.

— Да, согласен с вами... Но величайшая утрата — Дебюсси. Конечно. У меня не было случая встретиться с Равелем, но с Дебюсси я встречался.

— Когда это случилось?

— Незадолго до войны. Дебюсси приезжал в Петроград, он дирижировал в концерте оркестра Кусевицкого. Они играли его “Море” и “Ноктюрны”.

Мне хотелось продолжить разговор о Дебюсси, но в этот момент в комнату вошло несколько майко (молодые гейши. — *М.Я.*), и тема разговора, естественно, изменилась. Я показал на их красочные кимоно:

— Как вам это нравится? Красивые кимоно, не так ли?

— Действительно, очень красивые.

— Кстати, вы давно приехали в Японию?

— Я приехал в Токио 1 июня, а затем провел десять дней в Наре и в Киото.

— Вам понравились эти места?

— Да, тихие и красивые места. В Наге я даже начал сочинять сонату для скрипки. Но вокруг столько удивительных вещей, что для меня просто невозможно писать музыку в Японии. Я не могу сосредоточиться.

— Надеюсь, все-таки, что в один прекрасный день вы выразите свои японские впечатления, как Шарпантье, написавший свои “Итальянские впечатления”. Вы тоже напишете о Японии, и, я уверен, это будет интересно.

— Попробую... Сейчас я готовлюсь к поездке в Америку и предвосхищаю удовольствие от сочинения музыки о плавании через Тихий океан.

— Может быть, это будет сюита “На Тихом океане”, или “Восход солнца”, или “Закат”, или даже “Ураган”?

— Ох, не думаю. Во всяком случае, я с нетерпением жду этого трехнедельного морского путешествия, по сути дела — впервые.

— Сколько времени вы будете находиться в Америке?

— Я думаю, месяц или два. Я хотел бы посмотреть Ниагарский водопад, и мне интересен такой большой город, как Нью-Йорк. Во всяком случае, в первую очередь я буду там в качестве обычного туриста. Кстати, один из американских журналов писал, представляя меня, что я композитор-футурист. Это не имеет ничего общего со мной. Однако американские журналисты правы, когда говорят, что российские футуристы продвинулись вперед по сравнению с американскими.

— Знаете ли вы кого-нибудь из американских композиторов?

— Никого, кроме Курта Шиндлера³⁷. Он приезжал в Петроград. Он хорошо знает русскую музыку.

— Я тоже знаю его, но только по его песням. Они довольно популярны.

— Да, он подарил мне свои песни, а я, в ответ, — мои сочинения.

Пока мы разговаривали, принесли поднос с закусками. Прокофьев с удивлением посмотрел на маленькие чашки. Я объяснил, что они предназначаются для саке. И мы немедленно выпили. Он сказал: “Очень крепкое”. Тогда ему принесли пива, но он почти не прикоснулся к нему. Неловко орудуя палочками, он повернулся ко мне. Я хотел побольше

узнать о положении с оркестрами в России, и наша беседа продолжилась.

— Вы учились у Черепнина?

— Да. Он хороший композитор, отлично владеющий оркестровкой, но ему не хватает индивидуальности.

— А Кюи жив?

— Увы, его уже нет. Мы все называли его “Старым генералом”. Ведь он был военный, один из старейших и уважаемых генералов. Однако он не выносил мою музыку.

— Правда? А Глазунов — также из “старой гвардии”?

— И он из тех же. Глазунов тоже терпеть не может мои сочинения. Однажды, когда я исполнял мою “Скифскую сюиту”, он пришел послушать, но ушел, не выдержав до конца³⁸.

— Правда? И Лядову тоже не нравилась ваша музыка?

— Конечно. Хотя он и был моим учителем, он был, скорее, моим оппонентом.

— А что вы знаете о Рахманинове?

— Я слышал, он в настоящее время в Швеции. Он очень ранимый человек, и война тяжело повлияла на него. Говорят, что он скоро будет выступать в качестве дирижера в Америке.

— Он будет исполнять свои собственные произведения?

— Я так думаю. И он будет выступать как пианист.

— Рахманинов прекрасный пианист, не так ли? Я слушал его в Лондоне, слушал с восхищением. Он поражает воображение! Вы согласны?

— Вы правы. В России он номер 1. Его произведения некоторым нравятся, другим нет, однако как пианист он признан лучшим. Он особенно хорош, когда он играет свой Первый концерт. Я направляюсь в Америку через Сибирь и Японию, а Рахманинов — через Швейцарию и Северные страны. Будет любопытно, если мы встретимся и пожмем друг другу руки в Америке.

— А что вы скажете о Василенко и Акименко?

— Наверно, они в Петрограде. Но это не первоклассные композиторы.

— Ах, вот как? Я думал, Василенко довольно знаменит.

— Конечно, нет. Метнер³⁹ намного лучше.

— Medtner... В нем есть что-то немецкое.

— Что-то немецкое, может быть, есть, может быть, нет, но он превосходный композитор. Но еще больше, чем Метнер, мне нравится Мясковский.

— Я никогда не слушал его музыку. И здесь ее невозможно найти. По правде говоря, я и о вас впервые узнал из книги Монтегю⁴⁰. И в его же книге я впервые прочитал о Мясковском. Монтегю там цитирует ваши слова о том, что его сонаты довольно сложны⁴¹.

— Правда? Ну, его сонаты действительно трудны. Мясковский был ранен на войне, а вернувшись с фронта, он написал пять симфоний.

— Пять? Довольно много. А что вы можете сказать о его музыке?

— Если кратко, — его музыка мрачная. Он очень застенчивый человек, и, как правило, весьма неохотно публикует свои работы, поэтому известны лишь немногие из них.

— Интересно, где сейчас Стравинский?

— Не знаю. Он живет обычно во Франции или в Швейцарии, и в России он, в сущности, чужестранец. Четыре года назад я встретился с ним в Милане. Я приехал туда по приглашению этого футуриста, Маринетти⁴².

— Я восхищаюсь музыкой Стравинского. Скрябин был гением. И если после него мы можем назвать кого-нибудь гением, это Стравинский.

— Вы правы, он гений. Он не имеет себе равных в оркестровке. Что ни говори, его музыка очень живописна, хотя, возможно, ей не хватает глубины.

— Вы слышали его “Свадебку”?

— А, это новое сочинение? В Милане он играл мне ее часть, но больше никогда ее не исполнял.

— А вы слышали его “Соловья”? На меня он произвел большое впечатление.

— А мне, должен признаться, это очень не нравится. На мой взгляд, “Петрушка” и “Весна священная” гораздо лучше. Да, “Петрушка” — превосходное произведение.

— Он, кажется, использовал там много народных песен?

— Конечно. Кроме того, он смело вставляет мотивы, которые для некоторых людей звучат ужасно.

— Вы имеете в виду эту мелодию?

И я начал петь эту простую мелодию танца нянюшек. Он сразу же присоединился ко мне, насвистывая, и рассмеялся. Потом он сказал:

— Вы знаете, я очень хорошо понимаю “Петрушку”, но “Весна священная” довольно сложна для восприятия. Когда я слушал ее в первый раз, я ничего не понял. Только когда мы встретились в Милане и я слушал ее в четырехручном переложении, я понял это сочинение. Особенно этот замечательный вальс. Как бы то ни было, это выдающееся произведение искусства.

— А вы пишете балетную музыку?

— Писал. Одна из таких работ — “Скифская сюита”. Я написал ее по просьбе знаменитого Дягилева. Это трагический балет о жизни первобытных людей, которые жили в российских землях еще до славян. Имена героев Ала и Лоллий. Однако в процессе написания балет превратился в симфоническую композицию, и я решил, что лучше пусть это будет симфония, чем балет.

— А как же балет?

— Для балета я написал другую музыку. Он планируется для постановки в Париже.

— Дягилев сейчас в Америке?

— Нет, он в Мадриде.

— А Нижинский?

— Когда началась война, он был на гастролях в Австрии, и его арестовали. В настоящее время он, говорят, танцует каждую ночь в Вене, в Императорской опере.

— Правда? Ничего не слышал о нем. Кстати, как это вышло, что вы не были призваны на военную службу?

— Я единственный сын в семье. А единственных сыновей не призывают. Кроме того, [власти] сегодня стараются защитить музыкантов. Поэтому я не в армии.

— Вам повезло. Теперь вы можете писать музыку и путешествовать.

— Да. Недавно я был на Кавказе, писал музыку. Но там начались беспорядки, я не мог вернуться в Петроград. Мне пришлось остаться там и продолжать свою работу. Поэтому я написал Третью и Четвертую сонаты и Скрипичный концерт.

— “Мимолетности” и “Фантазия”, которые вы будете исполнять в Императорском театре, — это новые произведения?

— Да. “Мимолетности” — это очень короткие пьесы. Незадолго до отъезда из Петрограда я сделал корректуру, и сейчас они уже опубликованы. Что касается “Фантазии”, то на самом деле это последняя часть Четвертой сонаты, но я не буду играть всю сонату, потому что она довольно длинная. Поэтому я сыграю только финал.

— У вас есть Симфониетта, а как насчет симфоний? Вы что-нибудь писали?

— Да, я написал “Классическую” симфонию. Фактически Симфониетту тоже можно рассматривать как симфонию. И среди недавних композиций у меня есть “Вокальная симфония”.

— Как она называется?

Прокофьев задумался. Дело в том, что он не знал, как перевести это название на английский. И он сказал, как это будет по-французски. К сожалению, я ничего не понял, и узнать название этого сочинения не удалось⁴³. Но я понял, что Прокофьев писал музыку на слова религиозного ассирийского стихотворения, переведенного Бальмонтом, для хора с аккомпанементом духовых и струнных инструментов и для солиста тенора, который исполняет роль священника. Все это требует участия большого числа людей, поэтому достаточно сложно осуществить исполнение этого произведения в полном виде.

— Я слышал, Бальмонт посетил Японию в прошлом году⁴⁴?

— Это верно, и он продолжает восхищаться этой страной.

— Ему понравилось здесь?

— Да, очень.

— К сожалению, сейчас очень жарко. Было бы хорошо, если бы вы приехали месяца два назад.

— Да, очень жарко. Трудно работать в дневное время.

— Действительно, трудно. Ваши концерты начинаются после полудня.

— Но после визита в Америку, когда я вернусь, я надеюсь,

погода будет мягче. Я думаю, осенью здесь должно быть хорошо.

— Да, октябрь и ноябрь — лучшее время года.

В этот момент послышался звук сямисэна и две майко начали танцевать. Мы еще раз наполнили наши стаканчики с саке и смотрели на них. Название танца было “Matsusima” (“Мацушима”). Я не знаю его содержания, и не мог объяснить его Прокофьеву. Поэтому мы продолжили нашу беседу.

— Вы будете играть Шопена в концерте?

— Да. Вообще, до сих пор я исполнял лишь мои собственные сочинения. Однако это мой первый концерт в Японии, и, я думаю, было бы неправильно играть только музыку, которую трудно понять. Поэтому я решил включить в программу Шопена, потому что он понятен каждому. Но я не занимался уже больше двух с половиной месяцев и боюсь, что мои пальцы не будут как следует двигаться.

— Вы будете играть без репетиции?

— Конечно, нет. Сегодня я в первый раз здесь играл на рояле у моего друга в Иокогаме.

— А вы были в Гранд-отеле?

— Да. Я живу на полпути между Токио и Иокогамой.

— Пожалуйста, приезжайте ко мне, в Омори.

— Омори? Я помню станцию с таким названием. Я к вам приеду после концерта в Императорском театре.

— Добро пожаловать. И хотя мой рояль не первоклассный инструмент, он в вашем распоряжении. Может быть, вы сыграете часть вашей “Скифской сюиты”? Я был бы рад послушать ее в вашем исполнении.

— “Скифская сюита”? Почему бы и нет... Я рассчитываю продирижировать ее в Америке и взял ноты с собой. Я покажу ее вам.

— Правда? Это чудесно!

Я взглянул на часы. Было около 9 часов вечера. В этот момент, как было договорено заранее, пришел фотограф. Мы вышли в сад. Когда мы стали с Прокофьевым рядом, я заметил, что он выше меня по крайней мере сантиметров на десять, т.е. его рост был около 179 сантиметров. Отвороты его белой льняной куртки были коротковаты, под

курткой на нем была полосатая красная рубашка. Он стоял и улыбался.

Мигнула вспышка фотокамеры. Фотосессия закончилась. Я сказал:

— До свидания. Увидимся в Императорском театре.

Мы пожали друг другу руки. Я отправился на вокзал Шимбаши (Simbasi). В машине по дороге на вокзал я вспоминал наш разговор и улыбался».

III. ОТРЕЧЕНИЕ ОТ ФУТУРИЗМА

Беседа Прокофьева с Оотагуро — первое зарубежное интервью композитора и уже по одному этому заслуживает пристального внимания. Один пассаж Прокофьева представляется особенно интригующим, потому что он высказался по теме, которую его собеседник не затрагивал. Говоря о планах своего пребывания в Америке, он заметил: «Кстати, один из американских журналов писал, представляя меня, что я композитор-футурист. Это не имеет ничего общего со мной».

Мотоо Оотагуро оставил это вскользь брошенное (якобы «кстати») замечание Прокофьева о футуризме без всякого внимания. Однако композитор заговорил об этом, вероятно, совсем не потому, что случайно «зацепился» за рифмующиеся слова «турист» — «футурист». И это был в их беседе единственный случай, когда он впрямую заговорил о своей позиции по отношению к новейшим явлениям искусства. Попробуем присмотреться к этому высказыванию.

Уехав из России, оказавшись в среде, в которой его никто не знал, молодой музыкант, видимо, остро чувствовал потребность в творческом самоопределении. Когда все вокруг задаются вопросом: «Кто ты такой?», этот вопрос начинаешь задавать и сам себе. Встреча с Оотагуро была стимулом для укрепления уверенности и одновременно импульсом к новым размышлениям о своем месте в художественном мире.

Несмотря на решительное отрицание каких-либо связей с футуристами («ничего общего!»), Прокофьев, как будет

показано, какую-то общность с ними ощущал, определенный интерес к их деятельности, несомненно, испытывал, соприкосновения имел и контакты поддерживал.

Здесь нет возможности анализировать связи творчества Прокофьева (реальные или декларируемые) с футуризмом. Речь пойдет лишь о биографическом аспекте этой темы⁴⁵.

Личное знакомство композитора с лидером итальянского футуризма и другими представителями этого направления в искусстве состоялось еще в 1915 году в Италии, куда Прокофьев приехал по приглашению Дягилева. «С футуристом, вождем любопытнейшего течения, Маринетти, с идеями которого я познакомился по [его] дерзкой и сумасшедшей книге⁴⁶ и отчасти по многим высказываниям Дягилева, я встретился в Риме, ибо Дягилев был с ним в чрезвычайной дружбе и с их обществом ставил один из балетов⁴⁷. Футуристы страшно держались за Дягилева, потому что он был для них колоссальной рекламой, а Дягилев держался за них, потому что находил их течение свежим и любопытным, а также потому, что они всегда несли за собой шумиху» (555), — пишет Прокофьев. В окружении Маринетти он выделил «талантливую художника Баллу⁴⁸» (555).

В конце 1930-х годов, рассказывая об этой встрече, Прокофьев писал: «Это было ново и необычайно для меня, я даже испытывал чувство гордости, что общаюсь с таким ужасно “передовым” человеком. Но теории его проходили мимо меня»⁴⁹.

Понятно, что ирония в закавыченном эпитете — это ирония Прокофьева, приближающегося к своему 50-летию, над Прокофьевым молодым, впервые соприкасавшимся с элитой европейского авангарда. Но иронический оттенок в воспоминании о пережитом тогда, в юности, восхищении и о чувстве повышения самооценки («испытывал чувство гордости») самих этих эмоций не отменяет, не может отменять. Что было, то было: *ново и необычайно*.

О планах сотрудничества Дягилева с музыкантами-футуристами Прокофьев незамедлительно сообщил в корреспонденции в журнале «Музыка», опубликованной за подписью S.

Дягилев, писал он, «с марта 1916 года имеет контракт в

Монте-Карло, где пройдут новинки: 1) “Свадебка” Стравинского, 2) его же — “Фейерверк”, 3) инсценировка неаполитанских народных празднеств (последние две вещи при сотрудничестве Маринетти и футуристов), 4) сюита из пьес Скарлатти, 5) может быть, балет Прокофьева»⁵⁰.

Вторая встреча Прокофьева с Маринетти произошла в Милане. В Милан прибыл также Стравинский специально, «чтобы познакомиться с новыми музыкальными инструментами футуристов» (554). Футуристы «демонстрировали свои музыкальные инструменты и весьма интересовались мнением Стравинского, музыкой которого восхищались» (555). Эта демонстрация состоялась, по всей вероятности, 21 марта (Прокофьев приехал в Милан 20 марта, уехал 22-го).

В дневнике Прокофьева о футуристических музыкальных орудиях нет ни слова. Но, вернувшись в Россию, композитор написал о них специальную статью — «Музыкальные инструменты футуристов» — едва ли не единственную в нашей инструментоведческой литературе.

«Одной из существенных сторон футуристических воззрений является преклонение перед современным техническим прогрессом, — говорит Прокофьев. — Футуристы, боготворя скорость, воспевают и современные машины, давшие нам скорость движения и жизни. Идя дальше, они поэтизируют и утверждают, что есть красота ш у м о в: отдаленного шума бегущего поезда, пения пропеллера и пр. В поисках за к р а с и в ы м и ш у м а м и они изобретают новые музыкальные инструменты. Зная об этом, я ожидал найти разновидности ударных инструментов, но ошибся, ибо инструменты футуристов имеют почти тянущиеся звуки. Начиная от самых низких до самых высоких»⁵¹. Прокофьев весьма подробно и живо описывает далее внешний вид, техническое устройство и выразительные возможности нового инструментария. Например, в звучании одного из этих изобретений он отмечает «особый животный эффект, родственный завыванию сирены», и добавляет, что «вообще в этих инструментах много дикого и беспокойного». Другой инструмент производит «шум кегельбанного шара», еще один «напоминает шум дождя по оконному стеклу». «Вследствие тусклости звука, неопределенности

интонации и мертвенности равномерного электрического движения, эти инструменты менее интересны», — замечает Прокофьев.

В целом создания футуристов в этой сфере, определенно, не вызывали у молодого композитора-новатора особого энтузиазма. Как музыкант-практик, он ясно видел и трезво оценивал крайнюю ограниченность художественных ресурсов и техническое несовершенство этих «звуковых машин». Подводя общие итоги своего обзора, он пишет: «Изобретенные совсем недавно, футуристические инструменты постоянно совершенствуются, пока же страдают недостаточной ясностью интонации, присутствием постороннего шума (не красивого шума, который ищут футуристы, а шума от несовершенства аппарата) и относительной слабостью звука. В пределах комнаты звук внушительен, но в концертном зале беден, несмотря на огромный вид инструмента — иные до трех аршин»⁵². Окончательный приговор Прокофьева звучит доброжелательно, однако скорее скептически, нежели оптимистически: «Футуристы придают своим инструментам самостоятельное значение и пробуют составлять из них отдельные оркестры, но для такой самостоятельной роли инструменты слишком бедны средствами, не говоря об их технической незрелости. К симфоническому же оркестру они могут прибавить любопытные краски»⁵³.

Стравинский, для которого, собственно говоря, и устраивалась эта музыкальная демонстрация, оставил более ядовитое описание предьявленных футуристами звуковых орудий: «В одно из посещений Милана Маринетти, Руссо-ло <...> и Прателла <...> подвергли меня испытанию “футуристической музыкой”. Пять фонографов на пяти столах в большой комнате, в которой больше ничего не было, издавали шумы, напоминавшие о пищеварении, радиопомехах и т.п., удивительно похожие на нашу конкретную музыку <...>. Я сделал вид, что полон энтузиазма, и сказал им, что установки из пяти фонографов с такой музыкой при массовом производстве, безусловно, продавались бы как большие рояли Стейнвея <...> Футуристы не были аэропланами, как им этого хотелось бы, но, во всяком случае, роем очень славных, шумных ос»⁵⁴.

Значительно сильнее, чем футуристический оркестр, впечатлил Прокофьева руководитель движения Маринетти — «весь огонь, болтун, крикун, человек невероятной подвижности и энергии» (555), «который с необыкновенной быстротой говорил по-французски, сыпя тирадами, так что мысль с трудом поспевала за ним»⁵⁵.

Итак, уже в 1915 году Прокофьев был хорошо знаком с теоретическими положениями нового авангардного течения, лично познакомился с его виднейшими конкретными представителями и даже с футуристическими музыкальными опытами. И он составил себе четкое и весьма критическое представление об этом «любопытнейшем» явлении, в котором метко выделил не только привлекавшую Дягилева свежесть, но и «много дикого и беспокойного», а также интерес к шуму и всегда сопровождавшую их шумиху...

С русскими представителями нового течения Прокофьев познакомился лишь два года спустя. Центральной фигурой отечественного футуризма был для него Маяковский. (Изобразительное искусство было композитору, кажется, вообще не очень близко⁵⁶.) Их знакомство состоялось 2 апреля 1917 года в Петрограде на обеде по случаю открытия Финской выставки. «Познакомился я с футуристом Маяковским, который сначала несколько напугал меня своей грубой порывистостью, но потом он высказал мне прямейшее расположение, заявив, что придет ко мне и серьезно поговорит со мною, так как я пишу замечательную музыку, но на ужасные тексты, на всяких Бальмонтов и прочих, и что ему надо познакомить меня с “настоящей современной поэзией”. Далее я оказался первым и даже единственным современным композитором, а так как русская музыка идет во главе всего мира — то мы должны соединиться: он от литературы, я от музыки и Бурлюк от живописи — “и тогда мы покорим мир”» (646).

Новации поэтов-футуристов, действительно, не вызывали у Прокофьева большого восторга. Маяковский, надо отдать ему должное, очевидно, внимательно следил за творчеством молодого композитора. Среди поэтов, на стихи которых он писал музыку в 1910–1920-е годы, Анна Ахматова («Пять стихотворений», Op. 27, 1916), Зинаида Гippiус

(«Серое платье», Ор. 23, № 2, 1915), Николай Агнивцев («Кудесник», Ор. 23, № 5, 1915), Алексей Апухтин («Отчалила лодка», Ор. 9, № 2, 1911). Можно, наконец, назвать Валерия Брюсова, роман которого «Огненный ангел» послужил сюжетной основой одноименной оперы, законченной в 1927 году. Лидером в поэтических предпочтениях Прокофьева был, и в самом деле, Константин Бальмонт, с которым композитор был хорошо знаком и к стихам которого обращался с 1909 по 1921 год, можно сказать, постоянно⁵⁷. Это «Два стихотворения», Ор. 7, 1909 года, романсы «Есть другие планеты», Ор. 9, № 1 (1910), «В моем саду», Ор. 23, № 4 (1915) и «Пять стихотворений», Ор. 36 (1921). На стихи «халдейского заклинания» Бальмонта «Зовы древности» написана кантата «Семеро их» Ор. 30 (1917–1918). Поэзией Бальмонта навеяна идея цикла фортепианных миниатюр «Мимолетности» Ор. 22 (1915–1917) с эпиграфом «В каждой мимолетности вижу я миры, полные изменчивой радужной игры...». И ни одного сочинения ни на слова Игоря Северянина, ни на слова Велимира Хлебникова, или Давида Бурлюка, или Алексея Крученых, или даже самого Маяковского⁵⁸, не говоря уже о В.Гнедове, К.Олимпове, Г.Петникове и прочих.

Однако внимание скандально знаменитого поэта было лестно. Через месяц после знакомства Прокофьев пошел слушать Маяковского. «Третьего мая я был на вечере Маяковского, а пятого — на Игоре Северянине⁵⁹, обоих слушал в первый раз, — записывает он. — Хоть до сих пор я знал очень многое (почти все) из сочинений Северянина, и многое мне очень нравилось, а Маяковского совсем не знал, а если что знал, то это мне не нравилось, но при личном слушании эффект получился обратный: Игорь своим слащавым популярничаньем и мяуканием как-то опошил и расслабил крепкий экстракт некоторых талантливых блесков, которыми пересыпаны его стихи; Маяковский же, наоборот, как-то скрепил в одно крепкое целое все свои разбросанные и как бы бестолковые фразы. Он читал энергично, с типичным футуристическим натиском, несколько грубоватым, но весьма убедительным» (650).

Как видим, футуристы его заинтересовали. Год спустя,

находясь в Москве, он отмечает: «Футуристы скандалят чуть ли не с анархистами. Я очень хотел бы повидать Маяковского. Я, конечно, не футурист, но мне нравятся контакты с ними, да и они меня хотят считать своим» (690, 19 марта 1918. — подчеркнуто мной, — М.Я.).

Вскоре состоялось и знакомство Прокофьева с Давидом Бурлюком. В предназначенной для печати «Автобиографии» (написанной в 1937–1939 гг.) Прокофьев говорит об этом эпизоде мимоходом: «Я имел несколько интересных встреч с Маяковским и с его окружением: Бурлюком, Василием Каменским и др. С Маяковским я был знаком уже год — по его выступлению в Петрограде, произведшему на меня сильное впечатление. Теперь знакомство углубилось, я довольно много играл ему, он читал стихи и на прощанье подарил свою “Войну и мир” с надписью: “Председателю земного шара от секции музыки — председатель земного шара от секции поэзии”. Прокофьеву Маяковский»⁶⁰.

Как видно, автор повествования акцентирует внимание читателя на фигуре поэта, который уже был объявлен «лучшим и талантливейшим», и отодвигает «отца русского футуризма», а по меркам того времени, когда создавались мемуары, формалиста и к тому же эмигранта в свиту поэта, в «окружение», в тень⁶¹.

Для нас, однако, важны, прежде всего, не эти нюансы изложения, а установление того факта, что взаимный интерес возрастал и контакты продолжались. В дневнике эти встречи запечатлены подробнее.

22 марта 1918 года состоялся знаменательный вечер в московском «Кафе поэтов» в Настасьинском переулке. Это было, как свидетельствует сам композитор, его «чувствование (неожиданное) у футуристов в кафе поэтов. Маяковский, Каменский, Бурлюк. Председатель земного шара. Их контакт с анархистами и поведение в Москве были очень заметны в последние дни. Многие, почти все, возмущаются» (691).

Поэт Василий Каменский оставил более подробное, восторженное и, как и подобает литератору, красочное описание событий: «В один из вечеров в “Кафе поэтов” явился молодой композитор Сергей Прокофьев.

Рыжий и трепетный, как огонь, он вбежал на эстраду, пожал нам руки, объявил себя убежденным футуристом и сел за рояль.

Я заявил публике:

— К нашей футуристической гвардии присоединился великолепный мастер, композитор современной музыки — Сергей Прокофьев.

Публика и мы устроили Прокофьеву предварительную овацию.

Маэстро для начала сыграл свою новую вещь “Наваждение”.

Блестящее исполнение, виртуозная техника, изобретательская композиция так всех захватили, что нового футуриста долго не отпускали от рояля.

Ну и темперамент у Прокофьева!

Казалось, что в кафе происходит пожар, рушатся пламенеющие, как волосы композитора, балки, косяки, а мы стояли готовыми сгореть заживо в огне неслыханной музыки.

И сам молодой мастер буйно пылал за взьерошенным роялем, играя с увлечением стихийного подъема.

Пер напролом.

Подобное совершается, быть может, раз в жизни, когда видишь, ощущаешь, что мастер “безумствует” в сверхэкстазе, будто идет в смертную атаку, что этот натиск больше не повторится никогда.

В те годы Прокофьева, конечно, тоже не признавали критики.

Ну, а мы торжественно окрестили Прокофьева сразу же, и никаких разговоров.

Он эту обжигающую искренность чувствовал и разошелся циклоном изо всех потрясающих сил.

Поэтому нам и не забыть этого знаменательного вечера»⁶².

Завершая свою запись о «чествовании», Прокофьев пишет: «Я считаю их людьми, в которых есть *свежесть и что-то интересное, хотя много грубого и бутафорского*» (691, подчеркнуто мной. — М.Я.).

Эта формулировка весьма точно отражает не только оценку футуризма и футуристов, но и общую позицию Про-

кофьева по отношению к разного рода художественным движениям и течениям. Он сторонился участия в «группировках» и «платформах», избегал идентификации с какими-либо художественными «направлениями», он хотел быть «сам по себе» и настороженно следил за покушениями на его независимость, за попытками вовлечь его не только в «комиссии и депутатии», но и в творческие объединения.

Вместе с тем, соблазны успеха и славы не оставляли молодого музыканта равнодушным. Он был честолюбив, жаждал известности и не лишен склонности к эпатажу. Футуризм, вероятно, казался ему шансом.

26 марта Прокофьев опять идет к своим новым знакомым: «Вечером у футуристов. Впечатления от второго слушания “Человека” Маяковского (первое — на Кузнецком мосту). Я играл 1-ю Сонату — тонкая издевка и их восхищение», — пишет он. И снова фиксирует неоднозначность своих впечатлений: «Среди нарочитости, неотесанности и растерянности много яркого» (692).

Ту же двойственность испытывает он при виде монументальных работ, которыми футуристы наполнили город к первомайскому торжеству: «Сегодня 1 Мая, революционный праздник. Улицы украшены футуристическими плакатами и картинами. И, казалось бы, я должен радоваться им, а между тем на них неприятно было смотреть. Просто писали плохие футуристы. Праздник был не всенародный, а официально-государственный» (698–699).

При всех субъективных колебаниях Прокофьева, при всей противоречивости притяжений и отталкиваний, которые он испытывал в соприкосновениях с футуризмом, были и какие-то объективные причины, направлявшие его в сторону этого энергично и шумно заявлявшего о себе движения. Скандалы, сопровождавшие премьеры некоторых его сочинений, не уступали эксцессам футуристических выступлений. Критика, в общем, всегда склонная торопливо навешивать ярлыки, прямо называла его музыку «футуристической». И происходило это давно. Задолго до его знакомства с Маяковским и Бурлюком.

Еще в 1913 году репортер, скрывшийся под псевдонимом «Некритик», писал в «Петербургской газете» в связи

с исполнением в Павловске Второго концерта для фортепиано с оркестром (солистом выступил автор): «Дебют фортепианного кубиста и футуриста вызывает всеобщий интерес. Уже в вагоне при поездке в Павловск со всех сторон слышно: “Прокофьев, Прокофьев, Прокофьев...”»⁶³. Скандал, разразившийся на концерте, был затем с удовольствием поддержан прессой: «На эстраде появляется юнец с лицом учащегося из Петер-шуле. Это — С.Прокофьев. Садится за рояль и начинает не то вытирать клавиши рояля, не то пробовать, какие из них звучат повыше или пониже. При этом острый сухой удар. В публике недоумение. Некоторые возмущаются. Встает пара и бежит к выходу: “Да от такой музыки с ума сойдешь!” — Что над нами издеваются, что ли? — За первой парой в разных углах потянулись еще слушатели. Прокофьев играет вторую часть своего концерта. Опять ритмический набор звуков. Публика, наиболее смелая часть ее, шикает. Места пустеют. Наконец, немилосердно диссонирующим сочетанием медных инструментов молодой артист заключает свой концерт. Скандал в публике форменный. Шикает большинство. Публика разбегается. Всюду слышны восклицания: “К черту всю музыку этих футуристов! Мы желаем получать удовольствие, — такую музыку нам кошки могут показывать дома”»⁶⁴.

Надо сказать, репортер ничуть не преувеличивал. Николай Мясковский, ближайший друг Прокофьева, писал на следующий день после концерта, что аудитория «во время исполнения вела себя не вполне пристойно»⁶⁵. Музыкальный критик Вячеслав Каратыгин, единственный из рецензентов, поддержавший Прокофьева, также свидетельствовал, что «публика шикала», но при этом пророчески добавлял: «Это ничего. Лет через десять она искунит вчерашние свистки единодушными аплодисментами по адресу нового знаменитого композитора с европейским именем»⁶⁶.

Итак, слушатели свистят и «голосуют ногами», покидая зал. А футуристы «чествуют», аплодируют, в них есть «много яркого», есть «свежесть и что-то интересное», и, что немаловажно, они приглашают, зовут, они «меня хотят считать своим». Кто еще так пылко и безоговорочно призывал молодого музыканта?

Сколь притягательны были для него эти призывы, видно и из того, что даже во Владивостоке, задержавшись на несколько дней для получения визы, Прокофьев 26 мая не пренебрегает возможностью познакомиться с местными футуристами (о чем в «Автобиографии» умалчивает) и, записывая в дневнике впечатления, вспоминает о титуле, присвоенном ему Маяковским: «Был на вечере здешних футуристов. Они пытаются дерзать, как настоящие футуристы, но вещи их довольно невинны. Я как председатель земного шара, т.е. в качестве их прямого начальства, хотел подтянуть их (потому что у истинных футуристов, итальянцев, отличная дисциплина), но стоило ли?»⁶⁷ (704).

Прошло чуть больше месяца, и «прямое начальство» в его лице заявило, что «ничего общего» с этими людьми не имеет.

Почему Прокофьев вдруг так категорично отрекся от футуристов?

Строго говоря, он никогда им не присягал. Как не присягал каким-либо иным течениям и направлениям⁶⁸. Он яростно возражал против причисления себя к модернизму: «Модернист? Я? Ни за что на свете! Я ненавижу слово “модернист”. Моя музыка уходит своими корнями в классику», — слова Прокофьева, сказанные не в 1936 и не в 1948 году, в обстановке печально известных кампаний по «борьбе с формализмом». Нет. Это текст из интервью для шведской газеты «Stockholm's Tidningen», опубликованного в ноябре 1925 года⁶⁹!

Его соприкосновения с футуризмом и его лидерами, в сущности, незначительные и поверхностные, были скорее легким флиртом, нежели серьезным чувством.

Он был Прокофьев и хотел всегда оставаться самим собой — Прокофьевым.

Отъезд из России стал переломом не только в местопребывании, но и в понимании себя, в новом творческом самоопределении. Оно состоялось, и формулировка была впервые произнесена вслух именно в Японии.

¹ Прокофьев С. Автобиография // С.С.Прокофьев: Материалы. Документы. Воспоминания / Сост. и ред. С.И.Шлифштейн. 2-е изд., испр. и доп. М., 1961. С. 161. Близкие тексты см.: Прокофьев С. Письмо в редакцию // К новым берегам, 1923, № 2 (май). С. 15 – 17; также: «Любовь к трем апельсинам»: К постановке оперы Сергея Прокофьева // Л., 1926. С. 4–11 (дополненный вариант «Письма в редакцию»); Н.А. Приехал Сергей Прокофьев // Вечерняя Москва, 1927, 21 янв.; перепечатано в сб. «Прокофьев о Прокофьеве» / Сост. В.Варуц // М., 1991. С. 47 и 62–63.

² См., напр.: *Robinson, Harlow. Sergei Prokofiev: A Biography* // Viking. 1987. P. 143. *Streller, Friedebert. Sergei Prokofjev und seine Zeit* // Laaber-Verlag, 2003. S. 125.

³ Прокофьев С. Дневник (1907–1933): часть первая [1907–1918] // Р., 2002. С. 678. В дальнейшем этот источник цитируется в тексте с указанием страниц в скобках, без ссылок на издание. Дата записи ставится при необходимости после страницы. Все даты приводятся по новому стилю. Имена собственные приводятся в том виде, в каком они даны у Прокофьева.

⁴ Прокофьев С. Автобиография. С. 160.

⁵ Отсюда, очевидно, выписка 24 января 1918 года: «Балтимора – центр кулинарного искусства, Бостон – умственный центр, Филадельфия – старая культура, Чикаго – новая, Сан-Франциско – космополит» (681).

⁶ Мерович (Меерович) Альфред Бернгардович (1884–1959) – пианист, ученик А.Н.Есиповой в Петербургской консерватории. «Он кончил с премией класс Есиповой тогда, когда я поступил в него <...>. Его брат просил меня передать ему письмо, так что Мерович обрадовался и письму, и мне» (706).

⁷ Пиастро Михаил Борисович (1892–1970) – скрипач, соученик Прокофьева по консерватории. См. о нем в «большой» Автобиографии Прокофьева: Прокофьев С. Автобиография / М., 1982. С. 170, 334, 350, 352. Мерович «и мой старый сотоварищ Пиастро (по научному классу Консерватории) сделали огромную карьеру и состояние на восточном берегу Азии и теперь здесь жили миллионерами», – пишет Прокофьев (706). В феврале 1930 года Прокофьев вновь встретился с Пиастро в Сан-Франциско (см. Дневник. Т. 2. С. 758).

⁸ Строк Авсей (Евсей) Давидович (1876, по другим сведениям 1877–1954) – импресарио, работавший на Дальнем Востоке; брат знаменитого «короля танго» Оскара Строка. В 1936 году организовал триумфальное турне Ф.И.Шляпина в Японии и в Китае. В октябре 1920 года, уже находясь в США, Прокофьев снова встречался со Стромом (см. Дневник. Т. 2. С. 121).

⁹ Публикации рассказов Прокофьева появились лишь в начале 1990-х годов. При этом впервые несколько рассказов было напечатано не по-русски, а в переводе на английский язык: *Soviet Diary and Other Writings* / Trans. and ed. by Oleg Prokofiev / Faber & Faber, London – Boston. В 1994 году два рассказа были опубликованы в жур-

нале «Знамя». Отдельный сборник рассказов вышел в свет в Москве в 2003 году: *Прокофьев С. Рассказы / Подготовка текста А.Бретаницкой*. В своих рассказах композитор предстает писателем с яркой индивидуальностью, блестящим стилистом, мастером сюжетной интриги, занимательного повествования и неожиданных эффектных развязок. О существовании рассказов знала лишь его консерваторская подруга Элеонора Дамская.

¹⁰ В Указателе имен в Дневниках (772) Высоцкий (без имени и отчества) фигурирует как «знакомый В.Э.Мейерхольда в Иокогаме». Впервые Высоцкий упоминается в записи 3 июня: «Завтракал у Высоцкого (письмо от Мейерхольда) в Иокогаме» (707). Но 6 июня Прокофьев пишет: «Днем был у Высоцких в Токио, где нарядная публика» (708). Найти другие сведения о Высоцком не удалось.

¹¹ Эти публикации пока не обнаружены.

¹² Айко Осэ (правильно: Айка-сэй) — псевдоним, настоящее имя Кэйси (Кэйши) Осэ (1889–1952) филолог-русист, журналист. Окончил Токийский Институт иностранных языков, работал корреспондентом газеты «Токио Асахи симбун». Выпускал ежемесячный журнал «Росия Гэйджуцу (Русское искусство)» (1921–1922). Автор статей и книг о культуре и искусстве России. (За эти сведения я благодарен профессору Минору Морита.) Преподавал в университете «Васэда». 15 мая 1916 года, уже после отъезда Бальмонта из Японии, опубликовал в газете «Токио Асахи симбун» статью, в которой писал: «Бальмонт — поэт мимолетности, поэт мгновения. Вне мгновения нет для него ни вчера, ни завтра, ни луны, ни солнца, ни времени... И само существование человека на земле есть поток драгоценных мгновений». Цит. по: *Кучумова Л. Культурные нити — Япония и Россия* (источник — Интернет, «Япония сегодня»).

¹³ Первый контакт произошел сразу по высадке с парохода: «В Цуруге нас долго морили полицейским допросом: куда, зачем, кто сам, кто отец, кто знакомые, сколько денег, etc...» (705).

¹⁴ Борис Верин (псевдоним, наст. имя Борис Николаевич Башкиров; 1891–?) — поэт, друг Прокофьева. В 1915 году композитор написал на его слова романс «Доверься мне» из цикла «Пять стихотворений» для голоса с фортепиано, Ор.23 (№ 2). Верину посвящена Третья соната для фортепиано, Ор.28 (1907). Входил в окружение «короля поэтов» Игоря Северянина, в его «свите» назывался «Принцем Сирени». В 1922 году между Прокофьевым и Вериним состоялся «матч сонетов» (см. Дневник. Т. 2. С. 202, 203, 207) на лучший перевод десяти сонетов французского поэта-парнасца Ж.Эредиа. Жюри этого поэтического конкурса составили Северянин и Бальмонт; победителем стал Прокофьев, записавший в Дневнике: «Победить поэта — недурно!» (Т. 2. С. 207).

¹⁵ Асафьев Борис Владимирович (1884–1949) — музыковед и композитор, соученик Прокофьева по консерватории, в 1914–1927 годах опубликовал несколько статей, посвященных творчеству Прокофьева. Асафьеву посвящена «Классическая» симфония, Ор.25.

¹⁶ Сувчинский Петр Петрович (1892–1985) — музыкальный критик, музыковед, один из основателей (совместно с А.Н.Римским-Корсаковым) и редактор журнала «Музыкальный современник» (1915–1917), в котором печатался Прокофьев, и один из основателей «Движения Евразия». С 1920 года жил за рубежом, в 1922–1928-м руководил издательством «Евразия» в Париже и Берлине; пропагандировал произведения Прокофьева. Контакты Прокофьева с Сувчинским продолжались и в эмиграции, композитор переписывался с ним до последних лет жизни. П.П.Сувчинскому посвящена Пятая соната для фортепиано, соч. 38 (1923).

¹⁷ Кошиц Нина Павловна (1894–1965) — сопрано, выступала с Прокофьевым, исполняя его романсы. Ей посвящены «Пять песен без слов», соч. 35 (1920). С 1921 года жила за рубежом.

¹⁸ Бенуа Александр Николаевич (1870–1960) — художник, искусствовед и художественный критик, с 1926 года жил за рубежом.

¹⁹ Мясковский Николай Яковлевич (1881–1950) — композитор, близкий друг Прокофьева. Ему посвящена Симфония № 3, соч. 44 (1928) и Мазурка — № 4 (1909) из Десяти пьес для фортепиано, соч. 12. Их продолжавшаяся более 40 лет переписка (*Прокофьев С.С. и Мясковский Н.Я. Переписка / М., 1977*) — ценнейший эпистолярный памятник музыкальной культуры первой половины XX века.

²⁰ То есть в классе профессора Марии Николаевны Есиповой, у которой они учились в консерватории.

²¹ Эту подробность знакомства Прокофьева с Оотагуро установила японская исследовательница Дзюн Сато (см.: *Сато Д. Страничка биографии // Муз. академия, 2000, № 4, с. 218*), но, к сожалению, в публикации журнала фамилия издателя указана неверно. Как уточнил профессор Минору Морита, это был Коио Сэноо (1901–1961) в своем издательстве «Сэноо Гакуфу» (т.е. «Сэноо ноты») он издавал популярные пьесы.

²² Мотоо Оотагуро (1893–1979) — видный представитель музыкальной критики и музыкознания Японии XX века. В 1912 году, окончив Токийскую школу музыки (Токуо ongaku daigaku), он отправился для продолжения учебы в Лондон, где пробыл по 1914 год. Вернувшись на родину, стал активным пропагандистом западноевропейской и русской музыки. Выпускал журнал «Ongaku to bungaku» — «Музыка и культура» (1916–1919), издательство Ongaku-to-Bungaku-sha. Перевел на японский язык ряд значительных работ: «Бах» Андре Пирро, «Бетховен» Пауля Беккера, «Мсье Крош — антидилетант» Клода Дебюсси, «Петух и Арлекин» Жана Кокто, «Хроника моей жизни» Игоря Стравинского; написал «Энциклопедию оперного искусства». В 1986 году в Токио в доме, принадлежавшем Оотагуро, открыт музей (Moto Otaguro Memorial Museum), его имя носит также парк (Otaguro Garden), находящийся недалеко от станции метро Огикубо (Ogikubo).

После отъезда из Японии Прокофьев в течение нескольких лет переписывался с Оотагуро. Три письма Прокофьева 1919–1921 годов

опубликованы Д. Сато в приложении к ее статье «Страничка биографии» (Муз. академия, 2000, № 2, С. 220). Переписка прервалась, по-видимому, в 1923 году. 8 сентября 1923 года Прокофьев отметил в Дневнике: «Писал письма Tokugava и Ohtaguro по случаю землетрясения в Японии. Живы ли они?» (Дневник. Том 2. С. 227).

²³ Журнал *Ongaku to bungaku* («Музыка и культура»). Vol. 3, № 8, с. 2–13. Номер журнала вышел в начале августа 1918 года, когда Прокофьев уже уехал из Японии. Содержание беседы японского музыковеда и русского композитора представляет большой интерес. Текст интервью с комментариями см. во второй части настоящей работы.

²⁴ Прокофьев в то время совсем не был знаком с творчеством профессиональных композиторов Японии, его соприкосновения с японской народной музыкой были, судя по Дневнику, случайны и очень скудны. Этим объясняются суждения, подобные приведенному здесь. И впоследствии, вспоминая об этих своих концертах, он высказывался в том же духе: «Я находился в этой стране очень недолго, поэтому мне трудно говорить о той реакции, которая возникла у японцев на нашу музыку. Они очень сдержанны и достаточно спокойны в выражении своих чувств. Японская музыка столь отлична от западной, что не вижу даже смысла сравнивать их. Полагаю, что наша самая современная музыка для их восприятия так же сложна, как и музыка старых мастеров, скажем, Моцарта. На самом же деле, скорее отдельные сочетания звуков, некоторые звуковые эффекты могли бы произвести на японцев большее впечатление, чем западная музыка как таковая» (Известный русский композитор с визитом в Лос-Анджелес // Пэсифик Коуст Мюзисьен (Pacific Coast Musician), Лос-Анджелес, 1921, 1 января. Цит. по: Прокофьев о Прокофьеве. С. 41. Пер. с англ. В. Варунца). Познакомившись впоследствии с произведениями Косаку Ямада, Прокофьев не сумел по достоинству оценить этого выдающегося композитора (см. Дневник. Т. 2. С. 17).

²⁵ Здесь есть какая-то неясность. В приведенной выше записи от 22 июня говорится, что «на концерты Меровича и Пиастро японцы ходят в *дешевые места*» (712, подчеркнуто мной. — М.Я.) стоимостью в 50 (пятьдесят!) иен. Возможно, это результат неверного чтения рукописи или описки Прокофьева в одной из двух записей.

²⁶ Цит. по: Сато Д. Страничка биографии // Муз. академия, 2000, № 4, с. 218.

²⁷ Главным чтением Прокофьева в Японии был «Мир как воля и представление» Шопенгауэра. Книга произвела на него сильное впечатление, но ее главные идеи оказались совершенно чуждыми. «Возобновил чтение и получаю от этого много удовольствия, но эту книгу можно читать лишь понемногу: один-два часа в день» — записывает он 23 июня (713). «Читаю Шопенгауэра с большим удовольствием, последнюю книгу “Воли”, но не приемлю его пессимизма» (713, 27 июня). Закончив чтение, Прокофьев подытожил: «Шопенгауэр, конечно, событие в моей жизни, но с “Миром как воля” я все же не согласен. Не отрицая его идей, а, наоборот, восхищаясь ими, я все

же не могу считать мир за страдание для меня, но скорее за радость» (716, 14 июля).

²⁸ Прокофьев С. Рассказы / М., 2003. С. 129–130.

²⁹ На русском языке заметка опубликована Д.Саго в приложении к ее статье «Страничка биографии» (Муз. академия, 2000, № 2, с. 219–220). В комментарии к публикации указано, что неозаглавленный текст написан на фирменном бланке отеля Бусуи-ро (район Омори в Токио). На каком языке написан текст, в публикации не сообщается, однако в статье этот вопрос прояснен дважды: «В ответ на просьбу Оотагуро дать что-нибудь для его журнала [Прокофьев] обещал написать “о Мясковском, но только на французском языке”, более привычном для него» (Там же. С. 219). «Маленькая заметка о Мясковском (на французском)» сохранилась в архиве М.Оотагуро (Там же). Была ли она опубликована в журнале Ongaku to bungaku, не ясно. Между тем, 4 января 1923 года Прокофьев писал Мясковскому: «В Токио в 1918 году я диктовал о Вас статью; диктовал по-французски, напечатана была по-японски» (Прокофьев С и Мясковский Н. Переписка / Сост. и подгот. текста М.Козловой и Н.Яценко // М., 1977. С. 149. Подчеркнуто мной. — М.Я.).

³⁰ 26 февраля 1920 года Прокофьев записал: «Решил поставить крест на мою скрипичную сонату, наброски которой начал в Японии, и взял тему из нее для “Огненного ангела”» (Дневник. Т. 2. С. 82). Другие темы, написанные в Японии и по дороге из Японии в Америку, в том числе две темы, предназначенные для «белого» квартета, композитор использовал в финале третьего концерта для фортепиано с оркестром (см. Дневник. Т. 2. С. 163–164).

³¹ Маркиз Иорисада Токугава (1892–1954) — представитель Шегуната (Сегуната) Токугава, одной из самых знаменитых в Японии семей, сыгравших огромную роль в истории страны. Иорисада Токугава учился в Лондонском университете, был крупным меценатом, пропагандистом западного искусства в Японии, одним из руководителей «Общества содействия развитию международной культуры» (см. Горбунов Н. Федор Шалапин в Японии и Китае // М. 2002. С. 126). После отъезда из Японии Прокофьев несколько лет переписывался с маркизом Токугава. См. выше примеч. 22.

³² Беер (правильно: Бер) Георгий Альфредович — был вторым секретарем посольства России. «Видный, высокий мужчина, хорошо образованный, любитель музыки и японофил» (по словам знавшего его юрисконсульта Министерства иностранных дел Японии Томаса Бати) после закрытия посольства в 1924 году остался жить в Японии и вскоре получил место профессора в одном из учебных заведений в городе Такамацу на острове Сикоку (префектура Кагава), где проработал несколько лет. Умер в Японии, по имеющимся сведениям, предположительно накануне Второй мировой войны. (Подалко П. Япония в судьбах россиян: Очерки истории царской дипломатии и российской диаспоры в Японии / Институт востоковедения РАН / Изд. «Крафт+» // М., 2004. С. 162–163).

³⁵ Кузевитский Сергей Александрович (1874–1951) — дирижер и виртуоз-контрабасист. В 1909 году создал свой оркестр в Москве, в 1917–1920-м возглавлял Гос. симф. (бывший придворный) оркестр в Петрограде. С 1920-го жил за границей, сначала во Франции, затем в США, где с 1924 по 1949 год руководил Бостонским симфоническим оркестром. Активно пропагандировал русскую музыку, творчество композиторов XX века. Осуществил премьеры ряда произведений Прокофьева. Кузевитскому посвящена Вторая симфония Прокофьева.

³⁴ Зилоти Александр Ильич (1863–1945) — пианист и дирижер. В абонементных концертах Зилоти состоялись премьеры ряда произведений Прокофьева: Симфониетты, Ор.5, Симфонического эскиза «Осеннее», Ор.8 (вторая редакция), Токкаты, Ор.11, Сарказмов, Ор.17, «Скифской сюиты», Ор.20 и др.

³⁵ Коутс Альберт (1882–1953) — английский дирижер, много лет работал в Мариинском театре в Петербурге, выступал также в симфонических концертах.

³⁶ Стравинский Игорь Федорович (1882–1971) — композитор и дирижер. О взаимоотношениях Прокофьева и Стравинского см., напр.: *Варуца В.* Прокофьев о Стравинском / Прокофьев о Прокофьеве // М., 1996. С. 236–253.

³⁷ Курт Шиндлер (1882–1935) — американский композитор, дирижер и этномузыколог. Опубликовал антологию «Век русского романса от Глинки до Рахманинова», «Мастера русской песни» (обе — Нью-Йорк, 1911) и др.

³⁸ Это был Седьмой абонементный концерт А.Зилоти в зале Мариинского театра, состоявшийся 29 января 1916 года; исполнение сопровождалось бурными протестами слушателей. Подробно об этом см. *Дневник. Т. 1.* С. 582–583.

³⁹ Метнер Николай Карлович (1879–1951) — композитор и пианист. Прокофьев не только высоко ценил произведения Метнера, но и исполнял их. Метнер относился к творчеству Прокофьева резко отрицательно. После концерта 18 февраля 1917 года из произведения Прокофьева Метнер был «в дичайшей ярости <...> Он изрек: «Или это не музыка, или я не музыкант!» (638). См. также «Автобиографию». С. 158. Впоследствии, узнав, что Прокофьев играет его сочинения в своих концертах, Метнер смягчился в своем отношении к младшему коллеге, но музыку его все-таки не воспринимал: «Как жалко <...>, Прокофьев такой симпатичный человек, а пишет такие вещи, что я не могу ничего понять» (*Дневник. Т. 2.* С. 200).

⁴⁰ Монтегю-Натан Монтегю (1877–1958) — английский музыковед и скрипач, специалист в области русской музыки. Организатор «Русских концертов» в Лондоне в 1913–1914 годах. Оотагуро говорит о труде Монтегю-Натана «История русской музыки» (Лондон, 1914). Им написаны также книги: «Глинка», «Мусоргский», «Римский-Корсаков», «Введение в русскую музыку», «Руководство по фортепианным произведениям Скрябина» (все — Лондон, 1916), «Современные российские композиторы» (Лондон, 1917).

⁴¹ «Соната Мясковского сложна, но как потеряют те, кого отпутнет ее сложность!», — говорилось в рецензии (*Прокофьев С. Н.* Мясковский. Соната № 1 для фортепиано // Музыка, № 210. С. 116).

⁴² Маринетти Филиппо Томмазо (1876–1944) — итальянский писатель, поэт, организатор и идеолог движения итальянского футуризма.

⁴³ Речь идет о кантате «Семеро их» для драматического тенора, хора и оркестра, Ор.30.

⁴⁴ Бальмонт был в Японии в мае 1916 года.

⁴⁵ В монографических трудах разных авторов упоминания о контактах Прокофьева с футуристами, о знакомстве с Маяковским и Бурлюком приводятся без углубленного рассмотрения темы. О связях Прокофьева (и оказавшегося в 1921 году в Нью-Йорке композитора В.А.Дукельского) с футуризмом в разных аспектах содержательно говорит Игорь Вишневецкий, считающий, что «как музыкальное, так и литературное творчество и даже поведение Прокофьева и Дукельского являли собой продолжение двух парадигм русского футуризма: кубофутуристической (Прокофьев) и эгофутуристической (Дукельский)» (*Вишневецкий И.* Поэтика многоязычия в дружеской переписке с Владимиром Дукельским / Муз. академия, 2000, № 2, с. 183). Тема затронута также в работе: *Чинаев В.* От футуризма к «новой простоте»: Исполнительское искусство С.С.Прокофьева в свете художественных тенденций времени / Звучащая жизнь музыкальной классики XX века // М., 2006. С. 132–145.

⁴⁶ Две книги Маринетти в русском переводе были изданы в России в 1914 году: «Футуризм» — в Петербурге и «Манифесты итальянского футуризма» — в Москве. Прокофьев, по всей вероятности, читал вышедшую в Петербурге книгу «Футуризм». Именно эту книгу он, очевидно, рекомендовал для обретения бодрости в письме к своей знакомой Елене Звягинцевой от 19 августа 1915 года: «Крайне не сочувствую тому, что Вы киснете. Право, Вам надо почитать книжку о футуризме Маринетти, чтобы обрести бодрость» (ГЦММК, ф. 33, ед.хр. 36, цит. по: Прокофьев о Прокофьеве. С. 17).

⁴⁷ Чутко следивший за новейшими явлениями в искусстве Дягилев задумал в 1915 году «Литургический балет», к созданию которого он решил привлечь Стравинского. 8 марта 1915 года он писал композитору: «Танцевальное действие должно сопровождаться не музыкой, а звуками, гармонически заполняющими слух. <...> Предполагаемые инструменты — колокольчики, обернутые сукном или материей, золотые арфы, гусли, сирены, волчки и т.п. Конечно, над этим еще придется поработать, и Маринетти предлагает нам для этого собраться на несколько дней в Милане, чтобы обсудить этот проект с главой их «оркестра» и ознакомиться со всеми их инструментами» (Сергей Дягилев и русское искусство: Статьи, открытые письма, интервью. Переписка. Современники о Дягилеве / Сост. И.Зильберштейн и В.Самков. Т. 2 // М., 1982. С. 125).

⁴⁸ Балла Джакомо (1871–1958) — художник, наиболее яркий пред-

ставитель итальянской футуристической живописи. Среди самых известных работ Балла «Дуговая лампа» (1909), «Скорость автомобиля» (1912), «Эскиз полета ласточек» (1913), «Динамизм собаки на сворке» (1913).

⁴⁹ Прокофьев С. Автобиография. С. 151.

⁵⁰ S. [Прокофьев С.] Письмо из Италии / Музыка, 1915, 28 марта, (№ 216) за подписью S. Цит. по: Прокофьев о Прокофьеве. С. 15. Авторство Прокофьева установил В.Варуц. Он же указывает, что «футуристический балет» без танцоров с декорациями и световыми эффектами, созданными Дж.Баллой, на музыку «Фейерверка» Стравинского был исполнен труппой Дягилева в Риме 12 апреля 1917 года.

⁵¹ Прокофьев С. Музыкальные инструменты футуристов // Музыка, 1915, 18 апреля, с. 255–256. Советский исследователь, считающий необходимым «оградить» Прокофьева от всякой «авангардистской скверны», в том числе от футуристских новаций по изготовлению новых инструментов, считает, что статья носит «беспристрастно описательный характер» и что не только инструментарий, но и сами итальянские футуристы во главе с Маринетти «не вызвали у Прокофьева ни малейшей симпатии» (Нестьев И. Жизнь Сергея Прокофьева / М., 1973. С. 111).

⁵² Там же. Аршин – старинная русская мера, равен 71,12 см, следовательно, три аршина – это более двух метров.

⁵³ Там же. С. 256.

⁵⁴ Стравинский И. Диалоги // Л., 1971. С. 285. Цит. по: Прокофьев о Прокофьеве. С. 17. Следует учитывать, что это – суждения восьмидесятилетнего мэтра (отсюда, между прочим, и упоминание «конкретной музыки», первые образцы которой появились лишь в конце 1940-х годов). Стравинский, видимо, был несколько смущен своим околوفутуристическим прошлым и, воспользовавшись тем, что Прокофьев также присутствовал на этом сеансе футуристических звучаний, попытался связать всю историю с ним: «Дягилев был одержим идеей свести его [Прокофьева] с футуристами и вообще с “левыми” кругами. Он хотел познакомить Прокофьева с новыми художественными идеями, но попытка потерпела неудачу» (там же, цит. по: Прокофьев о Прокофьеве. С. 245). Прокофьев, в свою очередь, подчеркивал взаимный интерес Стравинского и футуристов: «В 1915 году, когда я много общался со Стравинским в Милане и мы много спорили об искусстве, о музыке, он очень увлекался теориями Маринетти и итальянского футуризма. Мы в доме Маринетти играли для небольшой группы слушателей четырехручное переложение “Весны священной”. Футуристы относились одобрительно к Стравинскому, так как из всех современных композиторов он наиболее близко подошел к их идеям. Сомневаюсь, что Стравинский мог бы себя назвать футуристом, хотя его музыка в известной степени отражает доктрины футуризма и их идею “здоровья, движения и отказа от эмоций”» (Прокофьев С. Последнее слово русской музыки // Интервью в журнале Musical Observer (New York). 1918, Oktober, цит.

по: Прокофьев о Прокофьеве. С. 28). В другой раз он еще определеннее отделяет Стравинского от футуристов: «Футуристы относятся с симпатией к Стравинскому. Они видят в нем что-то близкое себе, ибо, конечно, в Стравинском явно присутствует желание бить на внешние эффекты. Но он далек от футуризма» (Отважный молодой композитор из России [интервью с Прокофьевым] // Boston Post. 1919, 19 January, цит. по: Прокофьев о Прокофьеве. С. 32).

⁵⁵ Прокофьев С. Автобиография. С. 151.

⁵⁶ Вот его собственное достаточно недвусмысленное свидетельство: «Читаю Тэна, живу, блестяще написанную книгу об искусстве [вероятно, «Философия искусства» (русский перевод 1899). — М.Я.]. Историю искусства я должен усвоить в первую очередь. В этом отношении мои знания слишком скудны, и это непростительный пробел» (720). Показательны и воспоминания второй жены композитора (*Мендельсон-Прокофьева М.* О Сергее Сергеевиче Прокофьеве // С.С.Прокофьев: Материалы. Документы. Воспоминания / Сост. и ред. С.И.Шлифштейн. 2-е изд., испр. и доп. М., 1961. С. 370–397), которая рассказывает о его литературных интересах, любви к природе и животным, юношеских увлечениях философией и астрономией, занятиях шахматами и пасьянсом, и о много другом в этом роде, но отмечает его равнодушие к антикварным вещам В ее мемуарах не встречается ни одного имени художника.

⁵⁷ Знакомство Прокофьева с Бальмонтом состоялось в октябре 1916 года. Вскоре после первой встречи Бальмонт подарил Прокофьеву сборник своих стихов с надписью «Волшебнику звуков С.С.Прокофьеву, в высокий дар которого я верю».

⁵⁸ С Маяковским Прокофьев неоднократно виделся и в последующие годы в Москве, Париже (см. Дневник. Т. 2. С. 652), присутствовав на его выступлениях (в частности, на чтении пьесы «Баня» 30 октября 1929 года). Особенно памятной оказалась встреча в Берлине в 1922 году (см. Дневник. Т. 2. С. 205–206; «Автобиография». С. 171). Однако к поэзии Маяковского композитор обратился единственный раз лишь через четверть века после их знакомства, написав массовую песню «Дрянь адмиральская» (1941 или 1942 год), не относящуюся к его большим творческим удачам.

⁵⁹ Северянин Игорь (псевдоним, наст. имя Игорь Васильевич Лотарев; 1887–1941) — поэт. В 1911 году возглавил течение эго-футуристов, позднее примкнул к кубофутуристам. В 1918 году на вечере в Политехническом музее в Москве был избран «королем поэтов». Зимой 1917/18 года Борис Верин читал Северянину стихи Прокофьева. «У этого человека есть настоящий талант и замечательный ритм», — сказал Северянин. В дневниковой записи 2 апреля 1918 года Прокофьев добавляет: «Я спросил, он случайно сказал, чтобы что-нибудь сказать, или серьезно? Б.Верин ответил, что вполне серьезно, потому что стихи ему очень понравились, особенно «Вы, с Дм...». Это очень приятно, я на мои стихи смотрел как на ерунду. Стихами я совсем мало буду заниматься, а за

прозу возьмусь» (693). К поэзии Северянина Прокофьев в своем творчестве не обращался.

⁶⁰ *Прокофьев С.* Автобиография // С.С.Прокофьев: Материалы. Документы. Воспоминания / Сост. и ред. С.И.Шлифштейн. 2-е изд., испр. и доп. М., 1961. С. 161.

⁶¹ Исследователь творчества Бурлюка Кэтрин Дрейер сообщает, что знакомство продолжилось в Америке. «Среди многих гостей из России Бурлюков посетил Сергей Прокофьев, чей визит оставил у них яркие воспоминания, — пишет Дрейер. — Он провел много вечеров с Бурлюками, и они не пропустили ни одного его концерта» (цит. по кн. Ноберта Евдаева «Давид Бурлюк в Америке: Материалы к биографии», 2-е изд. // М., 2008. С. 217). К сожалению, сообщение К.Дрейер не датировано, и в нем нет ясности, идет ли речь об одном визите или, действительно, имели место многократные посещения.

⁶² *Каменский В.* Путь энтузиаста / М., 1931. С. 257–258.

⁶³ *Некритик.* На концерте фортепьянного кубиста и футуриста в Павловске // Петербургская газета. 25 сентября 1913. Цит. по: *Нестьев И.* Жизнь Сергея Прокофьева // М., 1973. С. 88.

⁶⁴ Там же.

⁶⁵ Письмо Н.Я.Мяковского В.В.Держановскому от 24 августа 1913. Цит. по: *Нестьев И.* Жизнь Сергея Прокофьева // М., 1973. С. 88.

⁶⁶ *Каратыгин В.* Последний симфонический концерт в Павловске // Речь, 1913, № 231.

⁶⁷ Приводимая Прокофьевым дата существенно уточняет хронологию возникновения футуристического движения на Дальнем Востоке, зафиксированную в работах, опубликованных в каталоге выставки «Модернизм российского Дальнего Востока (1918–1928)»: *Modernism in the Russian Far East and Japan: 1918–1928* / Tokyo, 2000. Е.Ю.Турчинская определяет время существования Литературно-художественного объединения (ЛХО) «Творчество» во Владивостоке с 1919 до середины 1920 года (*Турчинская Е.* «Зеленая кошка» // Модернизм российского Дальнего Востока (1918–1928), русскоязычный вкладыш в вышеназванный каталог [Токио, 2000, без пагинации]. С. [3]). Л.Г.Козлова отмечает, что свои первые шаги ЛХО делает еще до официального создания, «в конце 1918 года» (*Козлова Л.* В поисках нового: Изобразительное искусство российского Дальнего Востока 1918–1928 гг. в контексте истории русского футуризма // Там же. С. [19]). И.Г.Мизь приводит конкретную дату официального открытия ЛХО и указывает, что «деятельность ЛХО приобрела ясно выраженную футуристическую направленность после того, как в объединение вошли С.Третьяков, Д.Бурлюк, В.Пальмов «и другие приверженцы футуризма» (*Мизь И.* Владивосток: Пропаганда авангарда и революции // Там же. С. [10]). Напомню, что Бурлюк прибыл во Владивосток 9 августа 1919 года (см. *Евдаев Н.* Давид Бурлюк в Америке: материалы к биографии. // М., 2008. С. 62). Дневник Прокофьева позволяет утверждать, что объединение реально существовало,

проводило мероприятия («вечер» с выставкой картин) уже весной 1918 года и уже тогда, задолго до прибытия Бурлюка и его группы, идентифицировало себя с футуризмом.

⁶⁸ Какое-то значение для окончательного формирования позиции Прокофьева могло иметь и отношение власти, одобрительное к нему (напомню отзыв Луначарского) и не слишком благосклонное — к футуризму. «В Московской Школе живописи обучают учащихся “политической грамоте”, но, увы, никто не додумался до курсов “художественной грамоты” для членов Совнаркома, — писал по этому поводу Илья Эренбург. — А, пожалуй, это нужнее. Прослушав свой курс, художник продолжает писать картины и декретов не пишет. Член же Совнаркома, даже не прослушав курса, декретирует борьбу с “кознями футуристов”» (*Эренбург И.* «А все-таки она вертится!» М.; Берлин, 1922. С. 250).

⁶⁹ Модернист, который не хочет называться модернистом // Stockholm's Tidningen, 1925, 3 november, цит. по: Прокофьев о Прокофьеве. С. 52.

Владимир Фараджев
КИНОДРАМАТУРГ, ЛИТЕРАТОР,
ЛАУРЕАТ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ «ДОЙЧЕ ВЕЛЛЕ» (ФРГ)
РОССИЯ

Марина Цветаева: Тайны любви и смерти

31 августа 1941 года в Елабуге покончила с собой Марина Цветаева. Самый великий, по мнению Иосифа Бродского, русский поэт двадцатого столетия. За одиннадцать лет до этой трагедии ушел из жизни, тоже добровольно, ее собрат по перу Владимир Маяковский. Тогда, под впечатлением случившегося, Цветаева записала: «Двенадцать лет подряд человек Маяковский убивал в себе Маяковского-поэта. На тринадцатый поэт встал и человека убил». Бытовая подоплека поступка, на которую ссылался сам Маяковский, Цветаеву не устроила. Маяковский, считала она, принес свой дар в жертву режиму.

Кто лучше самой Цветаевой мог бы объяснить причину ее собственного ухода? Увы, в роковой день 31 августа 1941 года в заштатной Елабуге, куда забросила поэтессу горькая судьба беженки, у нее не было на это ни сил, ни времени. Нужно было успеть до возвращения сына с воскресника пожарить рыбу — отдать последнюю дань быту, с которым Цветаева сражалась всю жизнь, отвоевывая себе пространство для Бытия. В тот день ей предстояло отвоевывать себе пространство для Небытия.

«Я не хочу умереть, я хочу не быть».

В предсмертной записке сыну всего несколько строк: «Мурлыга! Прости меня, но дальше было бы хуже. Я тяжело больна, это уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что я больше не могла жить. Передай папе и Але — если увидишь, — что любила их до последней минуты, и объясни, что попала в **тушик**».

Многие исследователи жизни и творчества Марины Цветаевой так и считают: она попала в жернова быта. Трудности эмиграции, а затем необходимость вернуться на Родину усугубили ее зависимость от реальности, практически отрешили от письменного стола, то есть от Поэзии, главного, а может быть, единственного смысла ее пребывания на земле. Вместо этого — непрерывная череда кошмаров. Арест дочери и мужа, победоносное приближение гитлеровских орд к Москве, эвакуация, наконец, беспросветная жуть нищенского существования в Елабуге... От рокового шага удерживала одна мысль — она нужна сыну. Он без нее пропадет...

Вся в трагических предчувствиях, Цветаева опекает каждый шаг сына. До поры до времени Мур терпит. Но, взрослея, все активнее пытается вырваться из-под материнской опеки. Начавшаяся война обостряет отношения. Муру уже шестнадцать. Как всякому юноше, ему хочется проявить себя. Вместе с друзьями он дежурит во время авианалетов, гасит зажигательные бомбы. Цветаева в ужасе. «Если бы я узнала, что он убит, — я бы, ни минуты не медля, бросилась бы из окна», — делится она своими переживаниями с тетрадью.

Решение об эвакуации из Москвы Цветаева принимает против воли сына. Отрывает его от друзей.

От появившейся недавно подружки...

Отношения Марины Ивановны с сыном дали повод Анастасии Ивановне, сестре поэтессы, предположить впоследствии, что в гибели Марины виноват Мур. Его ссоры с матерью Анастасия Ивановна считает «последней каплей», за которой последовала трагедия.

Одна из версий гибели Цветаевой принадлежит Борису Парамонову, известному и весьма своеобразному мыслителю, живущему в США. Он тоже видит причину трагедии в отношениях Цветаевой с сыном. Но о каких отношениях идет речь!

«Реакция Георгия на мать была типичной реакцией ребенка, подвергаемого сексуальной эксплуатации, инцесту», — заявляет Парамонов с явным прицелом на сенсационность. Безмерность цветаевского творчества он переносит на жизнь поэта, толкуя ее как миф, в котором царит вседоз-

воленность. По Парамонову, страсть Цветаевой к сыну — от ее чрезмерности. Она просто захлебнулась жизнью. Потому и погибла.

Что ж, каждый исследователь волен иметь свою точку зрения. Единственное, о чем не мешало бы помнить: воображение — это не только счастье, но и проклятье человека...

Много сторонников у версии о пагубной роли НКВД в организации того самого тушика, из которого Цветаева не смогла выбраться. Есть свидетели того, что Цветаеву заугивали, предлагали сотрудничать. За два дня до самоубийства Марины Ивановны ее сын Мур записал в дневнике, что матери предложили место переводчицы в НКВД. Совершенно очевидно, что просто так подобные предложения не делались. Не исключено, что Цветаеву вовлекали в круговую поруку зла, опутавшую страну. Тогда-то перед ней и возникла дилемма — продать душу дьяволу или...

Она предпочла небытие.

Из всех приведенных версий последняя наиболее правдоподобна. Но не будем спешить с выводами.

Внимательный читатель, наверное, заметил, что ни в одной из этих версий не фигурирует муж Цветаевой, Сергей Яковлевич Эфрон. Между тем связь ее судьбы с судьбой этого человека носит характер мистической предопределенности. Эта мистика счастливых и трагических совпадений то озаряла, то обжигала их «совместность» (они появились на свет в один день, 26 сентября) до почти одновременной гибели в августе сорок первого.

Тайну такого единства до конца разгадать невозможно. Тем не менее, попытаемся что-то в ней понять. Поддержав себя убеждением: чтобы познать тайну смерти поэтессы, надо познать тайну ее любви.

Начало было в Крыму.

5 мая 1911 года на пустынном коктебельском пляже семнадцатилетняя Марина увидела красивого юношу, перебиравшего гальку, которой был усеян берег. Ее поразили глаза юноши — огромные, серо-голубые, печальные. Она вдруг почувствовала, что погружается в голубизну этих глаз, как в омут. И тут же загадала: если он отыщет и подарит ей

сердолик — любимый ее камень, она станет его женой. Из груди камней юноша извлек один-единственный — это был сердолик — и протянул Марине.

Вся предыдущая жизнь врозь вдруг оказалась лишь подготовкой к их «вместе». Незадолго до коктебельской встречи Марина пережила тяжелую драму — совершила попытку самоубийства. Необдуманный романтический порыв закончился, к счастью, благополучно. Револьвер дал осечку. Сергей в момент их знакомства переживал свою трагедию — совсем незадолго до этого в Париже повесился его четырнадцатилетний брат и следом за ним, на том же гвозде, повесилась не выдержавшая горя мать. Объединенные смертью, Марина и Сергей бросились друг другу в объятия. Чтобы выжить. Витавшая вокруг смерть вдруг обернулась любовью...

На вопрос, кто же его невеста, Сергей с гордостью сообщал: «Это самая великая поэтесса в мире. Зовут Ее Марина Цветаева». — «А на что же вы будете жить?» — допытывалась сестра. — «Не беспокойся, Марина богатая, первое время проживем “так”, а потом будем зарабатывать». — «Чем?» «Марина — стихами, я — прозой».

Безмятежное счастье молодых омрачило одно обстоятельство — болезнь Сергея. Туберкулез — родовое проклятие семьи Эфронов — не обошел стороной и этого хрупкого юношу. Марина с жаром взялась за его лечение. Повезла на кумыс в уфимские степи. Горячо поддержала идею провести зиму в Крыму, на чем настаивали врачи. Цветаева с детства отличалась особым чувством «чужой беды», умением понять слабого, обездоленного, страдающего — всякого, кому нужны помощь и человеческое участие. Теперь, когда речь шла о муже, самом дорогом человеке на свете, это ее качество проявилось с особой силой. В ее женской любви к Сергею несомненно присутствовало и материнское начало...

Понять и принять чужую боль способен лишь человек, сам испытавший нечто подобное. Но где и когда в сказочном счастливом (если судить по стихам) детстве Марины Цветаевой появляется трещина, впустившая в ее мир демонов отверженности, тоски, одиночества? Очевидно, это произошло достаточно рано — ведь ее мать, Мария Александровна,

ровна, никогда не скрывала, что рождение дочери было для нее большим разочарованием. Она мечтала о сыне. Тонкая, ранимая душа Марины с детства познала, что такое страдание. Тоска по ласке пройдет сквозь всю ее жизнь, а потребность в ее удовлетворении во многом определит будущие пристрастия и приоритеты. В частности, она даст толчок неумной фантазии, подвигнет на уход от действительности в вымышленный, волшебный мир грез. В нем нелюбимое дитя превратится в добрую, обожаемую всеми волшебницу, бескорыстно одаривающую всех страждущих материнским теплом и участием. Невероятный факт: в раннем детстве будущему великому поэту отказывали в листке бумаги, на котором девочка хотела записать свои первые стихи. Мать желала, чтобы дочь, вопреки уже проявившемуся призванию, стала пианисткой. И заставляла по четыре часа в день просиживать за роялем. На младшую сестру Марины — Асю — такое требование не распространялось. К ней мать была более снисходительна, что еще более обостряло Маринину неприкаянность и ощущение собственного сиротства.

Профессор Цветаев в воспитании детей не участвовал. Великий труженик, он, кроме руководства Румянцевской библиотекой и лекций в Московском университете, был погружен в создание главного детища своей жизни — Музея (ныне всемирно знаменитый Музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина). Сестры Цветаевы называли музей своим «старшим братом», в течение многих лет он был полноценным «членом семьи» и рос одновременно с детьми, пока, наконец, в 1912 году, в присутствии царской фамилии, не состоялось его торжественное открытие.

Мария Александровна до этого долгожданного дня не дожила. Она умерла от чахотки, когда Марине было четырнадцать, Анастасии — двенадцать.

Свой путь одиночества до встречи с Мариной прошел и юный Сергей Эфрон. Родился шестым ребенком в семье, где было девять детей. Отец его, Яков Эфрон, и мать, Елизавета Дурново, были известными революционерами, членами партии «Земля и воля», выполнявшими самые опасные партийные поручения. После поражения революции 1905 года, спасаясь от неминуемой каторги, Яков Эфрон и Ели-

завета Дурново эмигрируют во Францию. Прожив там семь лет, Елизавета Петровна трагически уйдет из жизни вслед за сыном, единственным из детей, разделившим ее изгнание.

Как и обещал Сергей своей старшей сестре, они с Мариной с головой ушли в творчество и уже спустя несколько месяцев после венчания Марина и Сергей издали две книги — стихи Цветаевой «Волшебный фонарь» и прозу Эфрона «Детство». Марина посвятила книгу Сергею, а он свою — ей.

Осенью того же, 1912 года у молодой четы появляется еще один плод счастливой любви — дочь Аля. Сергей не мог не сознавать всю «неравность» своего брака с Мариной — разницу их одаренности.

Возможно, это подтолкнуло его к мысли оставить литературу и попытаться счастья на ином поприще — театральном. Верные общим романтическим устремлениям, они с этого момента позволили себе в реальной жизни идти по разным дорогам.

Познав в полной мере счастье материнства, насладившись им сначала в отношениях с мужем, а затем и родив ребенка, Марина обнаружила в себе (а, возможно, никогда не теряла) неудовлетворенное чувство все того же сиротства. Как мать она отдавала свое тепло и ласку другим. Как сирота она по-прежнему была обездоленной. Муж, дитя — этого ей было мало. Тем более что Сергей всегда оставался для нее большим ребенком...

К этому времени относится начало знакомства Цветаевой с поэтессой Софьей Парнок, «демонической женщиной», известной в литературных салонах Москвы не только своими стихами, но — еще более — скандальными связями с другими женщинами. Красивая, независимая, несомненно талантливая, Парнок сразу распознала в Цветаевой то, чего не замечали другие, — потребность в материнском участии. Что-что, а уж это Софья Парнок со своим многолетним опытом однополрой любви (она была на семь лет старше Цветаевой) дарить своим партнершам умела.

Новое, необычное чувство, возникшее в начавшихся отношениях, скоро переросло в бурный роман. Забыв о муже, о ребенке, совершенно потеряв голову, Цветаева бросилась в омут вспыхнувшей страсти.

Я вас люблю. — Как грозовая туча
Над Вами — грех —
За то, что Вы язвительны и жгучи
И лучше всех...

Как же отнестся к скандальному увлечению жены Сергей Эфрон, любимый ее Сережа? Говорят, он сам переживал в это время роман с другой женщиной. Переживал ли? Может быть, таким образом сам спасался от переживаний? Будучи творческим человеком, Сергей понимал: поэзия, тем более Великая Поэзия его жены, требует особого «жара души», особого ее состояния, которое могут дать только новые, неизданные переживания.

Душевное смятение Сергея, которое он до поры до времени таит, требует выхода. Неожиданное разрешение предлагает сама история. Начинается Первая мировая война, и Сергей тут же решает идти добровольцем на фронт. Весть об этом застаёт Цветаеву в Белоруссии, где она вместе с Парнок проводит время на водах. И там на нее будто нисходит прозрение. В Москву, сестре Сергея, летит письмо, полное отчаяния и тревоги.

«...Я уже 8 дней не знаю, где Сережа, и пишу ему наугад то в Белосток, то в Москву, без надежды на скорый ответ. Сережу я люблю на всю жизнь, он мне родной, никогда и никуда от него не уйду».

В своем прозрении Цветаева вдруг обнаруживает, что Парнок — законченная эгоистка, деспот, к тому же безумно ревнива. Это вызывает раздражение, досаду, даже негодование.

Когда два десятилетия спустя, находясь в эмиграции, Цветаева узнала о смерти Парнок, она прореагировала на это известие спокойно. «Ну и что, что умерла? Ведь и я когда-нибудь умру... Ведь она умерла во мне, для меня — лет двадцать назад...»

Дар поэта помогал Цветаевой укрываться от тягот реальной жизни в возведенной ею башне Высокой поэзии. Сергею Эфрону некуда было укрыться, подобную башню построить для себя ему не удалось, и он вынужден был в полной мере вкусить все прелести реальной российской истории.

Эфрон был офицером Добровольческой армии и, сражаясь с большевиками сначала на Дону, а затем в Крыму, в конце концов разделил горькую долю тысяч и тысяч соратников по оружию, оказавшихся в эмиграции. Более четырех лет Марина ничего не знала о муже — жив ли, а если жив, то где?.. В полном неведении о его судьбе, в голодной и холодной послереволюционной Москве она буквально борется за выживание — свое и своих детей (Ирина, вторая дочь Цветаевой и Эфрона, родилась перед самой революцией и, прожив всего три года, умерла от голода в одном из подмосковных приютов).

Марину спасает поэзия. Несмотря ни на что, она продолжает писать. Стихи той поры адресованы мужу — «белому лебедю», чей героический образ воина, рыцаря, «вечного добровольца», ведущего битву со Злом, она считает своим долгом запечатлеть навечно.

Писала я на аспидной доске
И на листочках лепестков поблеклых,
И на речном, и на морском песке,
Коньками по льду и кольцом на стеклах, —

И на стволах, которым сотни зим,
И, наконец, чтоб было всем известно! —
Что ты любим! любим! любим! — любим!
Расписывалась радугой небесной.

Поддерживая в себе веру, что ее Сережа жив, Цветаева пишет ему целую тетрадь писем.

«Я не знаю, как Вам писать. Когда я Вам пишу, Вы — есть...»

Ради любимого она готова на все:

«Если Бог сделает чудо — оставит Вас в живых, я буду ходить за Вами, как собака...»

Дар провидицы, а большинство цветаевских пророчеств рано или поздно сбывалось, подсказывает ей, что чудо еще возможно. Она не ошиблась и на этот раз. 14 июля 1921 года Марина получает через Илью Эренбурга драгоценную весть — ее любимый жив и находится в Константинополе.

«Мой Сереженька! Если от счастья не умирают, то — во всяком случае — каменеют. Только что получила Ваше письмо. Закаменела...»

Итак, связь налажена. Сомнений «ехать — не ехать» не существует. Оба знают — они созданы друг для друга и должны быть вместе. Ее напор неудержим. Наступает 11 мая 1922 года — день отъезда Цветаевой и десятилетней Али в Берлин.

Сергей к тому времени уже в Праге. Он поступил в Карлов университет, стал студентом и с нетерпением ждет воссоединения с смьей. Когда-то он сказал сестре, что его будущая жена — великий поэт. Наверное, тогда это казалось преувеличением. Теперь, спустя десятилетие, Цветаева, действительно, пользовалась славой «главного русского поэта». Вопреки тяготам жизни, она сумела взойти на вершину, которую наметила себе еще в юности. Сергей же, несмотря на свои двадцать девять лет, оставался все тем же мальчиком, большеглазым, худым, болезненным, сиротливо одиноким и нуждающимся в материнской опеке... Создавалось впечатление, будто жизнь, совершив большой круг, пошла на второй, повторяя уже прожитые и знакомые ситуации. Опять Цветаева не столько жена, сколько мать, со всем грузом все тех же проблем. Заработок. Жилье. Пропитание, готовка...

Краткое пребывание в Германии сменилось затяжной борьбой с бытом в Чехии. С трудом удается Цветаевой отвоевывать себе место и время для творчества. Все считают ее сильной, выносливой, да и она сама называет себя семижильной. Но кто бы знал, как нелегко ей приходится, как хочется снова и снова почувствовать себя слабой, беззащитной — все тем же ребенком, мечтающим укрыться от бед и земных забот под материнским крылом... Иллюзию подобного счастья когда-то подарила Софья Парнок. Найдется ли теперь такой человек?

Друг Сергея Эфрона, такой же, как он, эмигрант и такой же студент-правовед Карлова университета, Константин Родзевич слыл в своем кругу «маленьким Казановой». Все знали его слабости по отношению к женскому полу. Цветаева не могла его не заметить. Он поразил ее тем, что вообще

не любил стихов. И не побоялся в этом признаться. Новые знакомые обычно спешили выразить Цветаевой свое восхищение. Родзевич, не знавший ее стихов, увидел в Цветаевой не поэта, а прежде всего женщину. И это не могло не найти в ее сердце горячего отклика.

Целый год продолжался их роман, не переходя рамок дозволенного. Платонические страсти вообще были в духе Марины. Да, она увлекалась многими мужчинами. Многим посвящала стихи. Достаточно было, чтобы человек потянулся к ней, попросил поддержки — тут же включалось могучее цветаевское воображение, и заурядная личность перевоплощалась в героя, которого она досочиняла соответственно своим романтическим представлениям об идеальном мужчине.

«Я в первый раз люблю счастливого, — признавалась она Родзевичу под впечатлением от очередного свидания, — и, может быть, в первый раз ищу счастья, а не потери, хочу взять, а не дать, быть, а не пропасть. Я в Вас чувствую силу, этого во мне никогда не было...»

Да, с Константином Родзевичем Цветаева «в первый раз» по-настоящему изменила Сергею. И вскоре он об этом узнал. Потрясение, которое он при этом пережил, было ужасным. Деликатный, благородный Сергей, никогда не скывавший свободы своей жены, на этот раз взбунтовался. Он предложил расстаться. Теперь Марина, в свою очередь, испытала тяжкое потрясение. После нескольких бессонных ночей она, наконец, решила: Сергей — это навсегда, на всю жизнь, остальное — эпизоды, от которых хоть и трудно, но можно отказаться.

Выиграла, как всегда, Поэзия. Итогом последнего увлечения стали две поэмы: «Поэма Горы» и «Поэма Конца» — может быть, самое великое из того, что было создано ею за годы эмиграции.

1 февраля 1925 года у Марины Цветаевой и Сергея Эфрона родился сын — Мур, полное имя Георгий. Спустя несколько месяцев, осенью того же года, семья переезжает в Париж. Признанный центр русской эмиграции встретил Марину Ивановну с восторгом. Почитатели устраивали литературные вечера, на которых выступала Цветаева и

которые, кроме успеха, давали приличный заработок. Наконец-то она смогла позволить себе летний отдых с детьми у моря.

Жизнь Сергея складывалась не столь успешно. Снова рецидивы туберкулеза и необходимость по несколько месяцев проводить в санаториях... Полное равнодушие к полученной в Чехии профессии правоведа. Вдобавок ко всему — горькое разочарование в Белом движении: «Мы потерпели поражение в этой борьбе и стали духовными изгоями».

В Париже Эфрон становится одним из создателей «Общества возвращенцев»: желающих вернуться в Россию среди эмигрантов было достаточно. Одного не знал, да и не мог знать наивный, доверчивый Сергей Яковлевич: на него давно «положили глаз» профессиональные ловцы душ из НКВД.

О том, что ее муж стал тайным агентом НКВД, Марина, естественно, не подозревала.

Гром разразился в 1937 году, когда в Швейцарии, под Лозанной, был убит резидент советской разведки Игнатий Рейс. Незадолго до этого Рейс публично обвинил Сталина в терроре и объявил, что порывает с кровавым режимом. Возмездие последовало незамедлительно. Окровавленное тело бывшего резидента было обнаружено в брошенном под Лозанной автомобиле. Вскоре во всех швейцарских и французских газетах появилось сенсационное сообщение: водитель автомобиля арестован, а организатором убийства является русский эмигрант и тайный агент НКВД Сергей Эфрон. Ему пришлось бежать, благо помогли те же «компетентные лица»...

Трудно представить, в каком жутком состоянии находилась в те дни Цветаева. Отнюдь не вся русская эмиграция была настроена так же, как ее муж. Большая часть по-прежнему ненавидела большевиков. Положение жены агента НКВД было поистине невыносимым. Фактически Цветаевой объявили бойкот. Никакой возможности издаваться, то есть зарабатывать на жизнь, у нее теперь не было. Старшая дочь Ариадна, всецело разделявшая взгляды отца, тоже поспешила на родину. Рвался туда Мур... Цветаева прекрасно понимала, что ничего хорошего их там не ждет. Дар прови-

дицы ее никогда не обманывал. Выбора, однако, не было. Она должна находиться там, где Сережа.

Разбирая старые тетради, она находит неотправленное письмо мужу: «Если Бог сделает чудо — оставит Вас в живых, я буду ходить за Вами, как собака...». И теперь, двадцать лет спустя, допишет: «Вот и пойду — как собака...». Будто огласит себе приговор.

То, что произошло с семьей Марины Цветаевой в Советском Союзе, хорошо известно. Осенью тридцать девятого, через два месяца после возвращения, была арестована дочь Аля, потом муж... Почти два года Цветаева тщетно пытается отстоять дорогих ей людей, доказывая в письмах Сталину и Берия их невиновность. Война с Германией обостряет ситуацию. Цветаевой приходится эвакуироваться из Москвы. Волею судеб они с сыном оказываются в заштатной Елабуге. Считается, что именно здесь сопротивляемость этой «семи-жилкой» женщины была сломлена, что повзрослевший к этому времени сын перестал ее понимать, что от постоянного напряжения она заболела душевной болезнью, ничего не писала и давно задумала добровольно уйти из жизни...

Если следовать реальному ходу событий, подобное объяснение тому, что произошло 31 августа 1941 года в Елабуге, наверное, можно считать исчерпывающим. Но мы рассматриваем самоубийство Цветаевой в контексте тайны, которую она унесла с собой и которую мы пытаемся разгадать. Вспомним поразительные пророчества Марины Цветаевой.

В день рождения сына она вся в тревожных предчувствиях — мальчику же «на войну придется»... И ведь не ошиблась. Ровно через девятнадцать лет молодой боец Красной армии Георгий Эфрон отправится на войну и сложит голову в первой же атаке...

Предугадает она и тяжкую долю своей дочери Ариадны. Девочке едва исполнился год, а Цветаева останавливает за руку будущих ее палачей:

Аля! — Маленькая тень
 На огромном горизонте.
 Тщетно говорю: не троньте...

В беспросветной жути голодного двадцать первого, в тревоге за судьбу мужа и постоянных мыслях о смерти Цветаева пишет пронзительные стихи, провидя свой и его конец:

Чем с другим каким к венцу —
Так с тобою к стеночке.
Ну-кось, до меня охочь!
Не зевай, брательники!
Так вдвоем и камнем в ночь:
Одноколыбельники...

«Одноколыбельники»... Как появились вместе на свет, так и «канут в ночь» один за другим, — неважно, кто первый, кто второй...

И за этим провидением — страшные факты последних дней и часов жизни Марины Цветаевой и Сергея Эфрона...

Перед нами протоколы допросов арестованного по обвинению в «измене Родине» бывшего белоэмигранта Сергея Эфрона. Первый протокол датирован 10 октября 1939 года. И только восемь месяцев спустя, 9 июня следующего, 1940 года он признает себя «французским шпионом», чего от него так долго добивались. Подумать только! Восемь месяцев непрерывных истязаний, нечеловеческих пыток, моральных и физических мук, прежде чем палачам удастся заполучить у доведенного почти до умопомешательства человека нужную подпись. Изломанную, неузнаваемо исковерканную, буквально забрызганную кровью... А тринадцать дней спустя Эфрон от своих показаний отказывается. Наотрез. И уже стоит на своем до конца...

Что произошло? Откуда у этого, казалось бы, совершенно уже раздавленного человека такое мужество?

Цветаева всегда романтизировала своих героев, одаривала их чертами, которыми реальные прототипы, как правило, не обладали. Единственный, кому она посвящала стихи всю жизнь, а значит, верила в него постоянно, был ее муж.

В его лице я рыцарству верна, —
Всем вам, кто жил и умирал без страху!

Такие — в роковые времена —
Слагают стансы — и идут на плаху.

Написанные в счастливое коктейбельское лето, эти стихи потрясают своей прозорливостью.

Цветаева не ошиблась — «в роковые времена» ее Сергей сумел подняться на ту высоту, на какую вознесла его когда-то ее фантазия.

Марина всю жизнь окликала Сергея, и оклик ее до него всегда доходил. Где бы он ни был. Может быть, и в свой смертный час в провалах угасающего сознания он услышал и узнал голос своей жены. И Марина услышала стук его сердца. И в этом стуке опознала ритмы своих стихов. И пока сердце стучало, она жила. Потом стихи кончились...

Говорили, что Цветаева покончила с собой потому, что не разрешили переехать из Елабуги в Чистополь. Там находились семьи знакомых писателей, среди них было бы не так одиноко... Еще говорили, что ее толкнуло на это отчаяние: не получила места посудомойки в столовой Литфонда. Потом выяснилось: ничего этого не было. И в Чистополь переехать разрешили. И место посудомойки обещали.

Бытовая подоплека в принципе не имеет значения. За ней просматривается нечто большее: легендарность судьбы. То ли жизнь, ставшая вымыслом. То ли вымысел, воплотившийся в жизнь... До конца этого не узнает никто. Это только их тайна, тайна двух влюбленных. Их общей трагедии. И общего счастья.

Инна Бабиева

ФИЛОЛОГ, ЛИТЕРАТУРОВЕД
РОССИЯ

К вопросу о структурных особенностях романа начала XX века («Петербург» Андрея Белого)

Говоря о том преобразовании, которое переживает классический роман в XX веке, обратимся к истокам этого жанра. Первой исторической формой романа был роман испытания¹. В основе его сюжета — испытание любовной верности, доблести, святости главных героев. Но сам факт испытаний и бедствий — и это менее осознанно — является следствием совершенного героями выбора — одностороннего предпочтения ими любви — родине (дому, родному городу) и родителям. Этот момент хорошо выявлен в позднем византийском романе Евматия Макренволита «Повесть об Исмине и Исминии»². «Ты для меня — отчизна, отец, мать, брачный покой и, по воле любви, владыка», — говорит героиня. А выпавшие на их долю испытания осознает как возмездие за сделанное предпочтение и выбор: «Материнское проклятие воздвигает против меня эту бурю, материнские руки вздымаются к небу, толкают нас в пучину и топят на ее дне». Здесь сталкиваются два начала: романное, связанное с выбором, предпочтением и возможностью для главных героев, и эпическое, предопределяющее жизнь героев в ценностно высоких и значимых рамках рода (мать, отец, родина, земля здесь не могут быть противопоставлены любви, жене). В эпосе потеря жены-страны была исходным мотивом сюжета, жена-страна не были разъединены, как в романе, а были связаны отношениями параллелизма и синкретической нераздельности³. В классическом эпосе герой переживает потерю родины (страны, земли, царства) и

жены, причем обе потери дублируют друг друга. Обрести — найти жену и значит — обрести страну. Восстановление полноты в эпосе — это обретение жены и страны в их единстве, здесь нет возможности предпочтения чего-то одного. Так, в «Одиссее» Гомера первые двенадцать песен посвящены обретению Итаки, вторые — обретению Пенелопы.

В романе эта синкретическая целостность оказывается нарушенной: герой предпочитает «жену» — «стране» (дому, родителям, родному городу). В рыцарском романе коллизия «жена—страна» принимает форму коллизии «любовь—слава»⁴. По сути дела, одна ситуация накладывается на другую как ее вариант⁵. Таким образом, исторически первичный романский сюжет — это сюжет утраченной и восстанавливаемой через испытания полноты. Но ситуация осложняется тем, что утрачиваемая полнота должна быть восстановлена через ту самую любовь, которая ее и разрывала. Восстановление полноты в романе должно пройти через саму точку разрыва — через любовь (жену), которая сначала и противопоставляла героя стране, земле, миру.

В более поздних исторических типах романа этот архетипический сюжет потерянной и обретаемой полноты разворачивается в бесконечных вариациях, часто затемняющих исходную простоту, но именно роман XX века с его тяготением к мифологической всеобщности сохраняет архетипический сюжет с большей очевидностью, чем роман классический. Как это происходит?

Восстановление полноты в романе может происходить и на уровне сюжета, и на уровне повествования. Для поздних исторических форм романа более характерным оказывается восстановление утраченной полноты не только на уровне сюжета (и даже не столько), сколько на уровне повествования. Более того, в романе XX века уже не удастся однолинейное прочтение сюжета, он уже не укладывается в одну определенную ситуацию, а прочитывается как вероятностно-множественная модель в нескольких возможных вариантах. Мы еще будем об этом говорить. А пока подчеркнем одну важную особенность, характерную для романа XX века: весь событийный ряд передан в нем отраженным в сознании героев. «Писатель как рассказчик объективных

фактов здесь совершенно отсутствует; почти все, о чем говорится в романе... передано отраженным в сознании его персонажей»⁶ (527). Воспроизводятся впечатления не одного, а многих сменяющих друг друга субъектов. В «Улиссе» Джойса «более систематично и значительно загадочнее» разработаны символические связи, где «наиболее радикальным образом применена техника многократного отражения событий в сознании, техника расслоения времени. Книга неоспоримым образом направлена на символическое синтезирование объекта: “всякий”, “любой человек”; все существенные мотивы психологической истории Европы содержатся здесь...» (6, 536). По сути дела, оказывается возможным прочесть роман «Петербург» Андрея Белого и «Улисс» Джеймса Джойса как игру сознания героев — и это один из вариантов прочтения сюжета. Но именно потому, что событие подается отраженным в сознании героя, внутри сюжета обнажаются глубокие и запретные уровни бытия и сознания, и восстановление полноты на уровне повествования может состояться благодаря разрыву уровня телесного (эмпирического) сознания героя и нарушению основополагающих запретов.

Так, и в «Петербурге», и в «Улиссе» возникают инцестуальные мотивы слияния отца и сына. Стум и Бливен вместо Блум и Стивен — с оттенком беспредельного веселья у Джойса. Плохо скрываемые тайные желания отца и сына, сенатора Аблеухова и Николая Аполлоновича, совершить друг над другом террористические акты с оттенком самоиронии у Андрея Белого. Ведь герой Андрея Белого начинает думать об убийстве отца после неудачи в любви, а сенатор Аблеухов видит в сыне ужас и угрозу после того, как от него уходит жена. Парадоксальность этой ситуации — разрушение глубинных и запретных границ — в романе XX века заключена в том, что та самая точка разрыва, через которую возможно восстановление полноты, начинает опускаться на все более телесный, физиологический уровень (и одновременно подниматься на уровни самые высокие). Движение, таким образом, идет одновременно и вниз, и вверх. Самому повествованию и на уровне сюжета, и на уровне события рассказывания необходимо перейти за границы со-

знания эмпирически данного «я». И сделать это оказывается возможным через плоть, тело, через чувственно данное и подвергаемое действительному акту — разрыву. Так, главный герой «Петербурга» — Николай Аполлонович Аблеухов — испытывает подобное состояние: «Я же чувствовал себя в нем совершенно телесно, физиологически, что ли, и вовсе не эмоционально... ощущения органов чувств разлились вокруг меня, вдруг расширились, распространились в пространство: разлетался я, как бомб...»⁷. Семантика разрыва у Андрея Белого приобретает серьезный оттенок. Его герой переживает Страшный суд: «Страшный суд наступил... Течение времени перестало быть; тысячи миллионов лет созревала в духе материя; но самое время возжаждал он разорвать; и вот все погибало... Поздно: птицы, звери, люди, история, мир — все рушится: валится на Сатурн... все пришло в старинное, раскаленное состояние, расширяясь без меры, все тела не стали телами; все вертелось обратно...» (238).

Обретение полноты в романе XX века прямо связано с обретением некоей *реальности*, путь к которой лежит через нарушение основополагающих запретов, через разрывы форм и установлений, бытовых, социальных, культурных норм, которые, в конечном счете, осознаются как *разрывы на уровне телесного, физиологического сознания или разрывы на уровне тела. Изменение точки зрения на себя, выход из замкнутого сознания и циклической предрешенности у героев Андрея Белого — акт не только духовный, обретение иного состояния и иной реальности требует «полной гибели всерьез», вплоть до изменения телесного статуса.* Вот как описано сознание одного из героев перед смертью: «...каждый пункт тела испытывает сумасшедшее стремление распространиться без меры, распространиться до ужаса (например, занять в поперечнике место, равное сатурновой орбите)... все пункты тела поразбухли... планеты и солнца циркулируют совершенно свободно в промежутках телесных молекул... и в стремлении распространиться без меры *телесно мы разорвались на части. И целостно только наше сознание: сознание о разорванных ощущениях*» (384, выделено нами.— И.Б.). У Андрея Белого расширение границ переживающего себя сознания происходит вплоть до разрыва-обретения трансцендентного начала.

Работы современных философов помогают понять путь обретения полноты и некой иной реальности в романе XX века. В.П.Зинченко и М.К.Мамардашвили говорят о том, что в силу фантазмов нашего обыденного «яйного» языка, привычек нашей психологизированной культуры мы не различаем внутри сознания два типа явлений: 1) явлений, сознанием и волей контролируемых, и 2) явлений и связей, хотя и действующих в самом сознании, но не явных по отношению к нему и не контролируемых⁸. В явлениях второго типа ученые видят проявления самосущей жизни, бытийной силы, энергии, «Невидимого», «Высшего». Они могут обнаруживаться в критических ситуациях, когда «я» выводится за пределы индивидуально-психологической реальности и отказывается от себя ради самого растворения в «явлении свободы».

Любовь относится ими к явлениям второго ряда, хотя и действующим в самом сознании, но им неконтролируемым и неявным по отношению к нему: «Для настоящей любви характерным является отказ от себя ради самого ее *состояния*, в котором только и *открывается* какая-то другая реальность и подлинная бесконечность сознательного переживания»⁹.

В «Петербурге» Андрея Белого присутствует именно такое понимание любви и обретение «Невидимого», но это глубоко скрыто.

Остановимся на организации вероятностно-множественной модели сюжета. Сюжет в романе строится таким образом, что может быть понят и истолкован в нескольких планах. И не одно из пониманий нисколько не устраняет другое. Так, на самом внешнем уровне роман может быть прочитан как попытка одной крайне левой террористической партии подорвать основы самодержавия — убить сенатора Аблеухова. Там есть террористическая организация, проработан план взрыва бомбы в доме сенатора («предприятие поставлено как часовой механизм»), в качестве исполнителя подключен сын сенатора. В романе XIX века эта линия событий была бы развита так, чтобы читатель поверил в ее реальность, и эта линия была бы проработана до мельчайших деталей.

У Андрея Белого, кроме этой, внешне реальной линии, существуют несколько других. Не исключается и возмож-

ность прочтения всего романа как события сознания одного героя — сенатора Аблеухова. Так сложилось, что старый сенатор остался один, два с половиной года назад от него ушла жена, потерялись всякие связи с сыном, распатывается давно налаженная работа в Учреждении, главой которого он является, и Аполлон Аполлонович Аблеухов просто боится, испытывает чувство страха и в сознании своем придумывает историю о том, что один из знакомых сына — незнакомец с черными усиками — приносит в его дом бомбу и хочет взорвать. Такое свойство сознания героя названо в «Петербурге» «мозговой игрой»: «Мозговая игра носителя бриллиантовых знаков отличалась странными, весьма странными, чрезвычайно странными свойствами: черепная коробка его становилась чревом мысленных образов, воплощавшихся тотчас же в этот призрачный мир» (34). Оказывается, что и дом сенатора, и его сын, и сам бомбист, и Петербург, превращающий прохожих в тени — лишь состояние сознания сенатора Аблеухова, кроме него — ничего нет: «Дом — каменная громада — не домом был; каменная громада была Сенаторской головой... За захлопнутой дверью не оказалось гостиной: оказались... мозговые пространства... Промелькнувшее мимо (картины, рояль, зеркала, перламутр, инкрустация столиков)... было одним... хроническим недомоганием... может быть, мозжечка» (36). В отличие от романа XIX века, который старается выдавать все изображенные в нем события за действительность, в «Петербурге», наоборот, событийный ряд обнаруживает свою иллюзорность. Сенатор в расширяющихся играх своего сознания придумывает бомбу и бомбиста, и это свойство его мысли тотчас превращает выдуманный образ в реальность: «Аполлон Аполлонович был в известном смысле как Зевс: из его головы вытекали боги, богини и гении... один такой гений (незнакомец с черными усиками), возникая как образ, з а б ы т и с т в о в а л далее прямо уже в желтоватых невских пространствах» (35). Эта линия связана с ведущей в романе темой отца, к которой потом присоединяется и образ провокатора Липпанченко, и образ Медного Всадника, символизирующего замкнутый цикл петровского периода русской истории.

Зеркальным отражением линии, представленной сознанием «отцов», оказывается линия сознания «сыновей». Как это ни странно, «сынком» Медного Всадника оказывается террорист Дудкин, кругозор-сознание, которого раскрывается в такой картине: «Всё, всё, всё *о́зарило́сь* теперь, когда через десять десятилетий Медный Гость пожаловал сам и сказал ему гулко: “Здравствуй, сынок!”» (306). Эту же линию представляет сын сенатора, таящий мысль об убийстве отца, Николай Аполлонович, «тоже носящий в голове свои праздные мысли» (56). В расширяющихся играх сознания «сыновей» ставится под вопрос действительность и мир «отцов», представленный холодными, пустыми пространствами. Террористу Дудкину кажется, что обиталище на Васильевском острове, в котором он живет, — это холодные пространства Якутской губернии и вообще холодные, пустые пространства, в которых он замерзает. Он видит изображение сенатора Аблеухова на обложке одного из журнальчиков, и ему представляется, что холодный, злобный демон пространства, замораживающий его в обиталище на Васильевском острове, и есть сенатор Аблеухов: «там над зданиями, казалось, парил кто-то злобный и темный, чье дыхание крепко обковывало льдом гранитов и камней некогда зеленые и кудрявые острова; кто-то темный, грозный, холодный оттуда, из воющего хаоса, уставился каменным взглядом» (24). И поэтому выбраться из «холода своих м и р о в ы х п р о с т р а н с т в» (92), обволакивающих бредом, можно лишь одним способом — взорвать дом и сенатора. Не случайно в кругозоре-сознании Дудкина из слов, услышанных на Невском, складывается фраза о бомбе, которую хотят бросить в Аблеухова (28). Потом тема взрыва холодных пространств и выхода из них преобразуется в тему убийства провокатора Липпанченко, своеобразного двойника сенатора Аблеухова. Тема «отцов» и «сыновей» — очень важная в романе — находит воплощение в нескольких параллелях, но смысл взаимоотношений остается прежним: не близость и родственные чувства, а холод разделяет отца и сына Аблеуховых. Холод в доме отца мешает состояться любви сына: «самые страстные чувства переживались им к а к т о н е т а к, воспламенялся н е т а к о н, не по хо-

рошему, холодно... Холод запал еще с детства, когда его, Коленку, называли не Коленькой, а — отцовским отродьем!.. Так его душевная теплота отождествлялась с необозримыми льдами» (331). Неудача в любви, связанная с «холодным гостеприимством» отчего дома, приводит сына к мысли об убийстве отца. «Он свою, родную плоть — ненавидел; а к чужой воцделел. Так из самого раннего детства он в себе вынашивал личинки чудовищ, а когда созрели они, то повывлезли в двадцать четыре часа и обстали — фактами ужасного содержания» (332). Но и отец, старый сенатор Аблеухов, странным образом ненавидит сына, видит в нем негодяя, совершает по отношению к нему мысленные террористические акты, и Липпанченко оказывается провокатором сумасшествия Дудкина, в котором тот, повинувшись воле отца — Медного Всадника, — совершает убийство своего идейного наставника, тоже в каком-то смысле отца, и садится на труп Липпанченко верхом, усмехаясь и в распростертой руке сжимая ножницы.

Перед нами два повернутых друг на друга зеркала — отец и сын (в историческом контексте — самодержавие и терроризм) — не размыкают своими странными отношениями бесконечную повторяемость исторического цикла, не помогают друг другу выйти за рамки своих расширяющихся сознаний и изменить точку зрения на себя и на другого. У отца и сына нет общей почвы — страны, жены/любви, матери, которая их могла бы объединить.

Четвертая линия сюжета романа. Сознания героев — это «порождение фантазии автора: ненужная, праздная мозговая игра» (56), игры расширяющегося сознания автора, его «картины иллюзий» (56). На этом уровне прочтения романа авторское сознание и историческое бытие сопоставлены как замкнутые сферы. И пусть авторское сознание включает в себя многообразие взаимоотражающихся зеркал-сознаний героев («отцов» и «сыновей», «сына» и «несбывшейся возлюбленной» — Софьи Петровны Лихутиной (53–55), оно остается замкнутым и не сможет вырваться из бесконечной цепи возвращений и повторений, пока не будет осознан *разрыв* в цепи. Разрыв как выход к новому типу сознания и к новому типу исторического бытия.

Пятая линия прочтения сюжета романа связана с выходом из замкнутого сознания «мозговых игр» автора и разрывом их. «Автор, развесив картины иллюзий, должен бы был поскорей их убрать, обрывая нить повествования хотя бы этой вот фразой; но... автор так не поступит: на это у него достаточно прав. Мозговая игра — только маска; под эту маску совершается вторжение в мозг неизвестных нам сил» (56). Разрыв в историческом бытии и в сознании автора связан с обретением «сил», которые человеку неизвестны, но которые можно улавливать, культивировать, и в этом смысле роман Андрея Белого «Петербург» является способом культивирования необходимых для развития человеческого существа «сил». Роман и может продолжаться благодаря трудному процессу разрывания тела-плоти повествования и замкнутых игр сознания автора во имя обретения «неизвестных нам сил». Более того, прочтение романа как обретения «сил» в момент разрыва сознания помогает увидеть еще одну глубоко скрытую сюжетную линию — любовную.

По существу, главным в романе остается вопрос о том, почему не сбывается любовь. Любовная линия крайне важна, и она проходит в двух сферах: геройной и повествовательной. Не только герой после неудачи в любви оказывается на мосту и готов слиться с «кипящими бактериями водами», но в сходной ситуации оказывается и сам субъект речи «я»: «Помню я одно роковое мгновение; через твои сырые перила сентябрьской ночью перегнулся и я: миг, — и тело мое пролетело б в туманы» (55). По существу, весь роман развернут как выработка ответа на этот вопрос. Мы не будем говорить о том, что осуществление любви связано с актом гармонизации мира, с выходом замкнутого, бесконечно повторяющего себя бытия на качественно иной уровень, но именно поиск такого ответа формирует структуру романа, именно любовь оказывается, по Андрею Белому, той силой, которая способна разрушить хаотическое в своей замкнутости и вечно повторяющее себя историческое бытие.

С пробуждением «неизвестных сил» связана любовная линия и отца, и сына. Любовь к Софье Петровне Лихутиной вызывает в Николае Аполлоновиче «глухое биение сил»: «Но с той самой поры, как в ангеле Пери вызывал он безы-

менные трепеты своим поведением, в нем самом открылись безыменные трепеты: будто он призвал из таинственных недр своих *глухо бившие силы*, будто в нем самом разорвался эолов мешок, и сыны нездешних порывов на свистящих бичах повлекли его через воздух в какие-то странные страны» (143). А об атласных абажурах в комнате Софьи Петровны сказано, что они «развевали атласные и бумажные крылья, будто бабочки тропических стран; и казалось, что рой этих бабочек, вдруг слетевши со стен, пораспишется поднебесными крыльями вокруг Софьи Петровны Лихутиной» (60). Возвращение жены в дом сенатора вызывает и в нем биение «неизвестных сил»: «эти два вылезавших глаза не показались, как прежде, ей двумя прозрачными камнями; проступили в них *неизвестная сила* и крепость» (391, выделено нами. — И.Б.). Дело осложняется тем, что такая семантика «сил» глубоко скрыта в романе, не проявлена, тайное «сил» лежит в подтексте и просит своего восстановления.

Рассмотрим сюжетную любовную линию отца, сенатора Аблеухова. После того, как холодный дом сенатора покидает Анна Петровна, его жена, «мозговые игры» — расширения сознания Аполлона Аполлоновича спускаются. Они выхолащивают жизнь из героя, превращают его в марионетку, «сухую фигурочку» с каменным взглядом и схематичными жестами. Герой не идет, а «шествует к кофею», не спрашивает о сыне, а «допрашивает с какою-то неприятной настойчивостью» (12). Речи его «безгромно струят какие-то яды» (13). «Холодное гостеприимство» возводится в принцип: в этом доме конфузились все, уступая место паркету, картинам и статуям, улыбаясь, конфузясь и глотая слова...» (17). Уход жены, спущение «мозговых игр», разрыв с сыном, в конце концов приводящий к скандалу на балу, лишают сенатора Аблеухова права занимать «ответственный пост» (решлики на балу: «он вырастил негодяя», «Бедная Анна Петровна», «Он погубит страну») (117). Повествование о сенаторе строится таким образом, что все более обнажает замкнутость его сознания, которая проявляется в боязни пространств: в своем доме он ограничивается только гостиной и кабинетом, никогда не заходит на половину жены, пространство петербургских улиц его пугает, он ездит только в карете, удобным

считает только разговор по телефону, исключаящий «гляденье друг другу в глаза» (176). Такое сжимание и ограничение внешнего по отношению к сенатору пространства оборачивается у Андрея Белого предельным расширением «мозговых игр» сознания героя, которое связывается с попаданием героя во власть к демоническому существу. «В тот час одинокого замерзания будто чьи-то холодные пальцы бессердечно ему просунулись в грудь, жестко погладили сердце: ледяная рука повела за собой» (78), и с тех пор Россия представляется сенатору «ледяной равниной», роковой и безмерной. Земля, Родина и герой не только не образуют единства, но и предельно разъединены в романе. Все потери героя — страны, жены, сына, «ответственного поста» — связаны с неумением и боязнью разорвать свое замкнутое пространство «мозговых игр», преодолеть границы замкнутого на себя сознания, пережить своего рода смерть тела. Но после скандала на балу и потери последнего, за что он мог держаться, — поста сенатор вдруг отпускает карету, и идет один по ночному Петербургу: «И вот перед ним все пространства сместились» (199). Мысль об одиночестве и потерянности вдруг возвращает его к жене и к тому, что могло бы быть: «Ему стало как-то по-детски и печально, и тихо... Вокруг только слышался шелест струящейся лужицы, точно чья-то мольба — все о том, об одном: о том, чего не было, но что быть бы могло» (200). И удивительно, в повествовании уже предсказывается возможная встреча героев, предсказание это проявляется через сближение кругозоров Анны Петровны и сенатора Аблеухова: герои одинаково видят расплавление каменного Петербурга в солнечных лучах, только Анна Петровна видит закат и вспоминает вечер перед памятной ночью («петербургские здания подернулись тончайшею дымкой и будто затаили, обращаясь в легчайшие, аметистово-дымные кружева» (147), Аполлон Аполлонович видит новый день и в лучах восходящего солнца «не громаду камней, а воздушно вставшее кружево» (200), «легчайшее кружево», которое оборачивается утренним Петербургом. Своеобразный выход в открытое пространство Петербурга дает возможность обретения для героя и города, и жены, однако пока это происходит только на уровне повествования.

Но то же происходит и в сюжете. В то памятное утро старый сенатор идет по улицам Петербурга и спасает от преследования девушку-подростка, и тем самым опять происходит обретение-сближение города и женщины. Это обретение связывается в романе с состоянием эпической полноты и подлинности происходящего: «Они шли в глубоком безмолвии; все казалось ближе, чем следует: мокрым и старым, уходящим в века» (201).

Выход сенатора из замкнутого сознания «мозговых игр» и возвращение Анны Петровны в Петербург — два параллельных события, ни одно из них не определяет другое. Возвращение матери в дом на какое-то мгновение может объединить даже сына и отца. У Аполлона Аполлоновича вместо каменного взгляда появляются «глаза трепетавшей, затравленной лани» (231) и пробуждают давно забытые родственные чувства в сыне: Николай Аполлонович «почувствовал неожиданный прилив... любви к этому старому деспоту, обреченному разлететься на части» (231). Но мало этого, сенатор начинает понимать причину происходящего: брак его оказывается насилием, «формой оправданным актом», и как результат — рождение ужаса, Николая Аполлоновича. «Надо было бы тотчас же им приняться за совместное воспитание ужаса, порожденного ими: очеловечивать ужас. Они же его раздували...» (362). Такое пробуждение совести и подводит героя к выходу за границы замкнутого сознания, а значит — и к освобождению, и к обретению-возвращению жены.

На какой-то миг возможна и любовь — и это дано в сюжете. Анна Петровна возвращается в дом сенатора, а он оказывается способным ее простить. Лицо сенатора «разрывают» новые взоры, в глазах проступает «неизвестная сила и крепость». «Неужели же мозговая игра, разделявшая их столько лет и зловеще сгущенная за два с половиною года, — вырвалась из упорного мозга... Наконец разразилась вокруг небывальными бурями? ...медленно мозг очищался» (397). «За десять дней переменилось все; изменилась Россия!» (397) — обретение жены совпадает с обретением страны. В разорвавшееся сознание героев врывается и любовь: «что-то милое, бывшее, что все люди забыли, но что никого не забыло и стоит п р и д е р ж а — что-то такое вдруг встало между

взглядами их; это не было в них; и возникло не в них; но стояло — м е ж н и м и: будто ветром весенним повеяло. Пусть простит мне читатель: сущность этого взгляда выражу я банальнейшим словом: л ю б о в ь» (400). Во втором, сокращенном варианте «Петербурга» Андрей Белый снимает именно те части текста, которые обнажают любовную линию отца и сына и связь ее с силами, и любовь не так уж и очевидна, до сих пор она исследователями не отмечалась. А между тем именно на этом уровне возможно осознание целостности романа, таящей тождество разрыва и слияния.

Роман «Петербург» воспроизводит в своей структуре ситуацию, характерную для эпоса, когда восстановление полноты происходит через обретение синкретически нерасчлененных «жены-страны»: возвращение жены в дом сенатора происходит параллельно с обретением страны. Мы помним, что Россия была для сенатора «ледяной равниной», в просторах которой он замерзал, теперь же, после возвращения Анны Петровны, Россия (и Петербург) как бы растапливается в его сердце, оживает, изменяется («за десять дней переменялось все, изменилась Россия» (397).

Эпический мир восстановленной полноты оказывается в романе начала XX века художественно воспроизведенной реальностью, — именно в этом смысл сюжетной любовной линии «отца», — но эта эпическая реальность находится в особых отношениях напряженности с другой художественной реальностью романа, связанной с развитием, становлением, открытым, не завершенным в своей полноте миром, и она представлена другой важнейшей сюжетной линией — линией «сына». Соотношение этих двух реальностей и создает «внутреннюю меру», формирующую целостность «Петербурга».

Сын сенатора Аbbleухова, Николай Аполлонович, не чувствует под ногами землю, у него нет «почвы», дома в эпическом смысле, родовая связь с отцом нарушена, отец, сенатор Аbbleухов, на протяжении романа сам остается потерявшимся и «блудным сыном», но как только он возвращает в дом жену, равновесие восстанавливается. Неосуществление любви в линии сына и его бесцельные метания (колдовское красное домино как месть несбывшейся возлюбленной, согласие на убийство отца из-за неудачи в любви) говорят

лишь о том, что без обретения «почвы» — восстановления утраченных связей с отцом, домом — становление героя невозможно. В конце романа, когда взрыв в доме сенатора все-таки происходит и бомба разрывается в расширившемся сознании — «мозговых играх» сына, Николай Аполлонович уходит из дома, но уходит, чтобы возвратиться.

О таком возможном развитии сюжета говорит эпилог «Петербурга». Во-первых, в эпилоге идет постоянная смена планов отца и сына, более того, сыну постоянно является образ отца («Николай Аполлонович не слушает звуков «там-тама»; и не видит он бербера; видит то, что стоит перед ним: Аполлон Аполлонович — лысенький, маленький, старенький, — сидя в качалке, качалку качает мановением головы и движением ноги; это движение помнится...» (417), а отцу — образ сына («не видно было... ни лесной гребенчатой дали, ни дымка деревенек, ни — галки: видны тени и тени... Николай Аполлонович — нежный, внимательный, чуткий, — наклонив низко голову, переступает: из тени — в кружево фонарного света; переступает: из светлого этого кружева в тень» (417), примечательно, что оба героя вспоминают самый светлый момент их взаимоотношений — момент возвращения в дом матери и жены (411, 409). Во-вторых, сын возвращается к земле и начинает читать философа Сковороду (раньше Николай Аполлонович читал Канта).

Андрей Белый был знаком с работой В.Ф.Эрна о Сковороде, в которой подчеркивалась «земляная народная природа» этого философа и особая роль в его мировоззрении идеи женственной сущности мира¹⁰.

В начале романа сын сенатора переживает раздвоенность, противопоставленность двух начал: божественного, отцовского, холодного и низменного, сыновьего, открытого. Герой хочет все время вырваться из холодного дома — «мозговых» пространств оказавшегося чужим для него отцовского сознания, которое и отцовским-то назвать нельзя, с самого детства сын не был сыном, а лишь «порождением», каким-то добавочным следствием отцовской похоти, отсюда и развилось ощущение порочности тела и плоти, отсюда и произошла раздвоенность героя, разделение его на «божественность» и «просто лягушечью слякоть», появилось

стремление одно из начал разрушить. «Николай Аполлонович совершал над собой террористические акты, — номер первый над номером вторым: социалист над дворянчиком; и мертвец над влюбленным; у себя Николай Аполлонович проклинал свое брэнное существо и, поскольку он был образом и подобием отца, он проклял отца. Было ясно, что богоподобие его должно было отца ненавидеть, но, быть может, брэнное существо его все же любило отца?» (108).

Герою Андрея Белого необходимо вырваться за замкнутые границы своего сознания, понимаемые и как холодные безжизненные пространства дома отца, пережить во сне «Страшный суд», уйти из дома после разорвавшейся в нем бомбы, перетерпеть разрыв, опущенный на физиологический, телесный уровень, чтобы вернуться и обрести «подлинное переживание» жизни. Ведь роман написан и о том, как марионеточность отца, схематизм отца порождает марионеточность и схематизм сына, пусть и в разных проявлениях. Конечно, здесь нельзя говорить об обретении, нашедшем воплощение в сюжете романа, так как «Петербург» заканчивается уходом сына.

Но своеобразное обретение и восстановление происходит на уровне события рассказывания, когда возможно сближение повествования с кругозорами героинь. В последней, восьмой главе «Петербурга», в которой описывается возвращение Анны Петровны, замкнутый взгляд повествователя вдруг открывается благодаря этому «пелебному событию»: «Анна Петровна! О ней позабыли мы: а Анна Петровна вернулась; и теперь ожидала она... но сперва: — эти двадцать четыре часа! — эти двадцать четыре часа в повествовании нашем расширились и раскинулись в душевных пространствах: безобразнейшим сном; и закрыли кругом кругозор; и в душевных пространствах запутался авторский взор; он закрылся. С ним скрылась и Анна Петровна. Как суровые, свинцовые облака, мозговые, свинцовые игры тащились в замкнутом кругозоре, по кругу, очерченному нами, — безвыходно, безысходно, дотошно — в эти двадцать четыре часа!.. А по этим сурово плывущим и бесцелебным событиям *весть об Анне Петровне пропорхнула отблеском мягкого какого-то света — отхуда-то*. Мы тогда призадумались грустно — на один

только миг; и — забыли; а должно бы помнить... что Анна Петровна вернулась» (387). Это говорит о том, что встреча-пересечение кругозора-сознания повествователя с кругозором-сознанием героини — важная структурная особенность романа. Возвращение Анны Петровны *открывает кругозор повествователя, озаряет его мягким светом, любовью, которые сохраняет в себе героиня.*

Здесь мы сталкиваемся с такой особенностью романа начала XX века, когда сам текст, повествование о замкнутых «мозговых играх» автора и героев, «отцов» и «сыновей» оказывается способным, благодаря своему же собственному осмыслению-разрыву, породить н о в ы й, чаемый и возможный, текст о «силах» и о любви (или обретении утраченной полноты), создающийся в моменты выходов-разрывов самого повествования¹¹.

¹ Бахтин М. Роман воспитания и его значение в истории реализма. К исторической типологии романа // Бахтин М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. В бахтинской типологии этот тип романа назван вторым вслед за романом странствий, хотя исторически роман испытания ему предшествовал.

² Евматий Макренолит. Повесть об Исмине и Исминии // Византийская любовная проза. М.-Л., 1965.

³ См.: Гринцер П. Древнеиндийский эпос. М., 1974. Также: Гринцер П. Эпос древнего мира // Типология и взаимосвязи литератур древнего мира. М., 1971.

⁴ Об основополагающем значении этой оппозиции для средневекового романа см. книгу Е.Мелетинского «Средневековый роман. Происхождение и классические формы». М., 1983.

⁵ Это наблюдение высказано в устной беседе с С.Н.Бройтманом.

⁶ См.: Ауэрбах Э. Мимесис. М., 1976. Далее ссылки в тексте даются на это издание с указанием страницы.

⁷ Андрей Белый. Петербург. СПб., 2004. С. 259–260. Далее ссылки в тексте даются на это издание с указанием страницы.

⁸ Зинченко В., Мамардашвили М. Изучение высших психических функций и категория бессознательного // Вопросы философии, 1991, № 10, с. 37.

⁹ Зинченко В., Мамардашвили М. Указ. соч. С. 39.

¹⁰ См.: Долгополов Л. Андрей Белый и его роман «Петербург». Л., 1988

¹¹ Статья написана во многом благодаря помощи и поддержке Самсона Наумовича Бройтмана.

Кирилл Фараджев
ДОКТОР КУЛЬТУРОЛОГИИ
ГЕРМАНИЯ

Прикладной футуризм: Органические машины Алексея Гастева

Значимым социальным реформам нередко сопутствуют изменения в мироощущении людей. В этом отношении опыт послереволюционной России уникален, прежде всего, парадоксальной верой в рациональные схемы общественного развития и, более того, верой в возможность преобразования самой природы человека. Одним из особенно примечательных учреждений, чья деятельность была основана на требовании скорейшего технократического перерождения человека и общества, был основанный в 1921 году при ВЦСПС Центральный Институт Труда – детище Алексея Капитоновича Гастева*, популярного в то время поэта футуристической направленности.

Исключительный радикализм, культ машины, стремление стереть грани между искусством и жизнью, а также реформаторский пафос, переходящий в мечты о преобразении самой природы человека, – эти характерные для авангардистских течений черты делают его знаковой фигурой данного времени.

Человек деятельный и наделенный организаторскими способностями, Гастев, сохраняя художественное мироощущение, стремился разрабатывать и глобальные концепции рационализации труда в индустриальную эпоху. Революционный азарт, заставивший его в свое время скрываться от властей и скитаться по ссылкам, оказался на первых порах востребован в России 20-х годов. Но степень радикальности педагогических предложений Гасте-

ва нередко «запкаливала» даже в условиях послереволюционного времени.

Опыт его особенно интересен примером воплощения футуристических грез в социальной практике. В предисловии 1924 года к пятому изданию сборника своих романтических произведений «Поэзия рабочего удара» он даже ратует за переход к решительной реконструкции самого слова. «Вполне естественно, что автор на этом месте замолчал. Правда, молчание его объясняется и тем, что автор в это время по уши увяз в организационной работе, пожалуй, как раз в той, которая предreshалась и всей его художественной деятельностью» (2, 14).

Действительно, в творчестве Гастева в первые послереволюционные годы происходила удивительная и достаточно стремительная эволюция стиля. В патетических воззваниях все отчетливей проступала рационалистическая направленность. Горячее нагромождение образов и сбивчиво экзальтированная ритмика уступали место схоластической иссушенности и наукообразному построению фраз.

Художественное слово представлялось Гастеву «своеобразной ареной, куда надо идти вооруженным не только складом различного рода поэтических метафор, но с резцом конструктора и с ключом монтера и хронометром» (2, 14). В то же время, несмотря на декларативное стремление отказаться от метафорики, он продолжал обращаться к утопическим образам. Интересно, что в основе его методологических изысканий лежала именно метафора — методика обучения рубки зубилом, которая экстраполировалась на все сферы жизнедеятельности и превращалась в грандиозный антропологически-реформаторский замысел по формированию Нового человека. Уже в ранних романтических зарисовках Гастева появляется тройка железных богинь: Рубка, Чеканка и Клепка, причем подчеркивается, что они «прекрасны, жестоки и циничны» (2, 201). Сам ЦИТ рассматривается им одновременно и как «научная конструкция», и как «высшая художественная легенда» (2, 17).

«СТРАСТЬ К МАШИНЕ»

Все творчество Гастева проникнуто убеждением, что основным качеством человека новой эпохи является «страсть к машине». Современный пролетариат силен «бездонной привязанностью к механизму» (2, 17). Заводская работа, созерцание стальных шатунов, коленчатых валов и зевов плавильных печей вызывает прилив безудержной страсти — «не святоши же мы, черт возьми» (2, 188). Шуршание планшайб и шпинделей превращается в горячий шепот, «нежность, ласку, грезу» (2, 196). Кипящие болванки лежат, «как девицы» (2, 195), даже железнодорожные пути также могут представляться объектами нежности: «Лягте. Обнимайте шпалы. Ласкайте рельсы» (2, 200). Эта столь характерная для футуризма любовь к технократии является «страстью, превращающей грех в святыню» (2, 201). Ей сопутствуют

Схватки в огне.

Клокот наготы.

Упоенье удара.

Счастье и распятие вместе (2, 201).

Завороженное созерцание процессов в плавильных ваннах, возвышенная сопричастность «запертому хаосу огня» (2, 195) и восторг перед мощью механики часто сопровождаются «дрожью нетерпения» — желанием приобщиться к силе машинерии. «Дрожу и бегу к вам, черные трубы, корпуса, шатуны, цилиндры. Готов говорить с вами, поднять перед вами руки, воспевать вас, мои железные друзья» (2, 119); «грудь загудела металлической дрожью» (2, 120). Отчаянно подгоняются дни «мучительного мирового нетерпенья» (2, 127) в предвосхищении индустриальных подвигов; пролетария то и дело пробивает «дрожь радости» в единстве революционно-технократического порыва (2, 170).

Непредсказуемое естество должно превратиться в размеренно функционирующий механизм, и «осеняющая сила железа» представляется светом нового мира (2, 119). Иной раз страсть к машине выражена в творчестве Гастева лексикой и образами любовно-лирического характера,

как, например, в утешении, адресованном одинокой работнице:

Загулял, забегал, зазвонил призывно,
Застонал надрывным голосом гудок:
Встань скорей, работай быстро, непрерывно,
Заведи сверлильный чистенький станок.

Ты укрась машины свежими цветами,
Лаской, нежной грезой отумань, обвей.
Смелыми оденься, обогнись мечтами,
Алые знамена от станка развей (2, 113).

Футуристическая технократия воспринимается как чудесный путь преобразования природы и общества. Необходимо только грамотный инженерный расчет, и машина, будь то средство производства, человек или общество, — уже не даст непоправимых сбоев... Глобальные проекты Гастева были основаны на двух основных идеях, которые находили воплощение в работе ЦИТа и обозначались как «биоэнергетика» и «оргаэнергетика». Под этими названиями подразумевались преобразование биологической природы человека и разработка системы Научной Организации Труда, призванной увеличивать производительность до космических масштабов. Основной целью представлялось рациональное упорядочение всех натуралистических и социальных импульсов.

Стремление разбудить «беса творчества» сводилось в методологии Гастева к всеохватному требованию совершенствовать автоматизм мышления и поведения, беззаветно подчиняясь рефлексологической тренировке. Работу ЦИТа должно было увенчать конструирование «социально-инженерной машины» — таинственного тренажера, позволяющего наделять человека «культурными установками» — двигательными рефлексам, заменяющими ментальную деятельность и не допускающими колебаний. Глобальная задача методических изысканий по выработке установок заключалась в определении возможностей и способов «оперировать в самых глубинах пролетарского сознания» (2, 17).

Уже в ранних романтических произведениях Гастева появляется образ преображенного человека технократической эпохи. Новый покоритель вселенной «родится в усилках железных» (2, 125), «приходит задуманный в битве, рожденный в огне, из-под молота взятый, машиной вскормленный и гулом заводским взлелеянный» (2, 124). В то же время одухотворяются и статичные порождения технократии, грандиозные железные строения, — составляющие их части «стремительны, размашисты, сильны» (2, 19). Созерцание таких конструкций проникнуто своеобразным воспаленным эстетизмом и потребностью превратиться в неуязвимого монстра: «у меня самого вырастают стальные плечи и безмерно сильные руки. Я слился с железом постройки» (2, 19); «наша судьба стала судьбою железа» (2, 131); из пропасти, поглотившей прежний мир, выступают неведомые «силачи-чудеса-машины-башни» (2, 179).

Идеал в этой футуристической перспективе определяется способностью работать по схеме, расписанной до мельчайших подробностей. Сверхчеловек будущего, например, котельщик из Дублина, способный автоматически ударять по наковальне ровно 60 раз в минуту, не глядя на часы. Для творчества Гастева особенно значимо неустанное выражение воли к «биологическому реформированию» личности и к механистически выверенной организации общества (2, 17) — стремления, в целом характерного для послереволюционной России. Уже после октябрьских событий Гастев призывал к «конструктивному мятежу» — к противодействию законам естества, которое должно подчиниться совершенству механики.

Толпа безымянных работников гибнет, превращаясь в железную башню, ветхая биология перетекает в непоколебимую стальную конструкцию: «все могилы под башней еще раз тяжелым бетоном зальются, подземные склепы сплетутся железом, и на городе смерти подземном ты бесстрашно несись» (2, 121–123).

Техника в свою очередь приобретает биологические черты и одухотворяется: «весь кран слился, спаялся, нашел в себе новую каленую металлическую кровь, стал единым чудовищем... с глазами, с сердцем, с душой и помыслами»

(2, 127). Идеальное общество — безупречно работающая машина, в которой можно занять свою незыблемую нишу. Толпа пролетариев должна превратиться в «железного демона века с человеческой душой, с нервами, как сталь, с мускулом, как рельса» (2, 120). Футуристические грезы превращались во всеохватную технократическую рациональность, не позволяющую вторгаться в жизнь хаосу непредсказуемого естества.

АПОКАЛИПТИКА ГАСТЕВА

Итак, концепция Гастева основывалась на требовании подчинить натуралистические законы социальной целесообразности — «дерзко на бой вызывал я земные, когда-то ужасные, злые стихии; я их победил, приручил, заковал» (2, 124). На свет должны появиться гигантские существа, которые «двинут всю землю на новую орбиту, перемешают карту солнц и планет.... Сам мир будет новой машиной, где космос впервые найдет свое собственное сердце, свое биение» (2, 140).

Но романтические произведения Гастева наполнены не только предчувствием новой эпохи созидания, но и порой характерным для футуризма наслаждением грядущими апокалипсическими разрушениями. Так на заводе апробируют огромный молот, от ударов которого сотрясается город и рушится колокольня, а революционные крейсера ни с того ни с сего открывают «новую беспрецедентную пальбу» (2, 138). Гастева завораживал вселенский масштаб предстоящих катастроф. «Среди белого дня пройдут страшные ночные тени, рушатся храмы и музеи, раздвинутся горы, пронесутся непережитые ураганы, океаны пойдут на материки, солнце может показаться на севере, мимо земли промчатся новые светила» (2, 127). Надо сказать, что в этих картинах проскальзывали и пророческие грезы — «тысяча лучших поэтов бросится в море» (2, 128).

Зачастую в этих грезах деструктивный элемент невольно выступал на первый план. Взрывы слышны на Марсе; земной шар стонет и бьется в агонии; пролетарий жаждет не просто переворота, а «провала миров» (2, 175). Лобовые

колонны пролетариата должны ломить, разить, уничтожать — «пожрать на пути все леса, весь уголь, торф, обречь на смерть заснувшие города, погосты, усадьбы.

Все жечь.

Все жечь.

Жечь!» (2, 190).

Видения Гастева насыщены крушениями, обвалами, трауром, «похоронами башен, людей, конструкций, поэм» (2, 197). Трупы — «теплые, родные» — обращаются в шпалы (2, 205). Зачастую революционно-технократическая романтика Гастева переходит в откровенное кликушество. Мегаполисы обрушиваются в пропасти, мосты встают на дыбы, распадаются горы, низвергаются «водопады снарядов», исчезают государства. Армии снаряжаются, чтобы отвоевать место для грядущий захоронений.

Миллионы трупов на кранах, в могилах!

Четыре батальона сумасшедших.

С хохотом к морю.

Полк калек на костылях.

Танцуют изысканно «Марш хромых» (2, 207).

Иной раз в этих апокалипсических образах проступает и пролетарское озорство — «двадцать цистерн нефти... бух. В реку. Река запыляет, как змей на втором пришествии» (2, 202). В Балтику опрокидываются «элеваторы гранат», отчего скандинавы «варятся добела» (2, 213). Строительство нового мира порой сводится к горячечному стремлению

Бацануть. Долбануть. Рывкнуть.

Зацепить за Сатурны башней.

Перекувырнуть домну.

Засмеяться лавой.

Плакать пулеметом (2, 213).

Едва ли не самым привлекательным моментом в грядущей катастрофе представляется возможность жертвенного самоубийства: «мы войдем в землю тысячами, мы войдем туда миллионами, мы войдем океаном людей! Но оттуда не выйдем, не выйдем уже никогда... Мы погибнем, мы схроним себя в ненасытном беге и трудовом ударе» (2, 139). Социальное давление обретает апофеоз в восторженной и добровольной смерти.

«Пусть земной шар будет охвачен пожаром нашей пламенеющей воли» — строки из воззвания Всеукраинского Литературного Комитета (1919 год), подписанного Г.Петниковым, А.Гастевым и Н.Левченко. Такое экзальтированное пожелание еще можно истолковать как поэтический образ, гармоничный революционному времени. Но образ этот развивается с настораживающим смакованием. Планета подлежит огненному преобразению — «толпы дворцов» будут снесены, «тухлые города» бесстрашно взорваны, а земная поверхность оголена до лавы — «до самого жаркого безумия» (2, 186).

Интересно, что многие апокалипсические картины рисовались Гастеву уже после октябрьских событий, — сама революция являлась лишь подготовительным этапом каких-то вселенских сдвигов. Меняется само ощущение времени: «дремота веков рушится» (2, 184), мгновения бурлят, «как лава» (2, 181), а нарождающиеся поколения оказываются «жадными собственниками несущихся часов» (2, 180).

При этом в некоторых случаях развитие деструктивных образов сдерживается в поэтическом творчестве Гастева рационализаторской тенденцией: «катастрофу я рассчитал до секунды и до миллиметра» (2, 175); задыхающиеся от эмоций пролетарии должны научиться «прерывать свой гомон во мгновенье» (2, 186); устанавливаются жесткие рамки поведения — «кто сделает шаг на полмиллиметра больше — сжечь» (2, 212); сознание требуется разложить на «30 параллелей» (2, 219) и т.д.

Впоследствии подобная тенденция делается в творчестве Гастева главенствующей, вытесняя поэтически-возвышенную манеру письма и выражаясь сначала в чеканных лозунгах, а потом и в научнообразных трактатах. Романтизм превращается в дидактику, на смену воспаленному хаосу катастрофического сознания приходит иссушающая рациональность, разгул деструктивных порывов уступает место назойливому методизму.

В первые послереволюционные годы в произведениях Гастева параллельно развиваются и рациональная, и романтическая тенденции. В «Восстании культуры» художественная составляющая выражена слабее, чем в предыдущих

трудах, но жанр остается смешанным, насыщенным поэтическими образами, которые перемежаются назидательными формулировками по методологии организации труда. Некоторые отрывки из «Восстания культуры» позволяют предположить, что занудное благоразумие окончательно подчиняет творческую экзальтацию: «облюбуй небольшой участок работы, участок с аршин, и построй каждую мелочь с расчетом до минуты, до дюйма» (2, 227). Но вскоре выясняется, что изначальный утопизм лишь приобрел иной облик, вероятно, отражая изменения в массовом сознании — стремление к избавлению от общественного хаоса благодаря упорядочению, прежде всего, самого мышления человека. «В машине-орудии — все рассчитано и подогнано. Будем так же рассчитывать и живую машину — человека» (2, 245). Так, пафос социального строительства оказывается новой формой безудержного поклонения технократии.

ЕДИНСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО И ФИЗИЧЕСКОГО ТРУДА

Гастев не случайно взял эпиграфом к своей книге «Трудовые установки» слова И.Сеченова: «все бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой деятельности сводится окончательно лишь к одному явлению — мышечному движению» (3, 24). Понятие «монтер культуры», развиваемое в сборнике «Восстание культуры», трансформируется впоследствии в понятие «установщик», а общая концепция поучает наименование «Трудовые установки».

Изначально термин «установщики» обозначал дежурных монтеров при обработочных машинах. Гастев экстраполирует это понятие на антропологический уровень: «живая человеческая машина может быть так налажена, так установлена, что при работе может требоваться минимум нервного импульса и даже минимум всякого рода энергетического воздействия» (3, 132).

Людские установщики должны сделаться таким же фактором производства, «каким являются по отношению к станкам инструментальщики и механики» (3, 155); установ-

щик «живых машин» превратится в «важнейшего агента производства» (3, 155). Гастеву представлялось необходимым создание особого социального «института людских установщиков» (3, 155), закрепляющего их в статусе носителей высших социальных норм.

Обучаться, по замыслу Гастева, им предстояло непосредственно в ЦИТе или в специальных «установочных цехах» при заводах, которые пошли на сотрудничество с этим институтом. В идеале надо было при каждом учреждении создать «установочное бюро», основной задачей которого являлось поддержание у работников выверенной «культурной установки» (3, 250). Теория социальной инженерии Гастева была призвана решать проблему не машин и не человека, а «именно машино-человека, т.е. определенного комплекса органически слитых машин и людей» (3, 250). Прохождение установочной подготовки он именует «органическим обновлением производственной ткани предприятия» или «обработкой живого состава предприятия» (3, 228).

Возникает вопрос, что делать, если законы естественного развития выглядят в ряде случаев непреодолимым препятствием для успешного восприятия подобной установочной стратегии? Тогда, по мнению Гастева, необходимо перевооружиться для дальнейшего «радикального наступления», заставляющего вспомнить о гестаповских медицинских экспериментах. Предлагалось разработать «биологический, хирургический подход к организму, будет ли это заключаться в известном активном воздействии на обмен веществ, будет ли это своеобразная попытка изменить состав крови, попытка построения различного рода кровяных вентиляций и промываний или, наконец, воздействие непосредственно на секреторную, симптоматическую и нервную сферу человека» (3, 136).

В идеале все различия между машинной и «инструментально-мускульной» работой должны быть уничтожены. Работа психолога сближалась Гастевым с деятельностью хирурга, у которого «за диагнозом следует нож и ланцет», а врач-ортопед должен был «действительно монтировать человека» (1, 106).

Механистический подход становится всеохватным, ме-

год монтажа представляется применимым в любой жизненной сфере: «область применения этого метода нам кажется безграничной; в перспективе вырисовывается проекция так называемого умственного труда» (3, 83). В основе этих требований лежала надежда «доказать, наконец, что не может быть разницы в методах научной работы и в методах работы на станке и на верстаке» (3, 163).

С сожалением отмечая необходимость «в сотый раз» объяснять, почему за основу для выработки культурных установок в ЦИТе взята методология обучения рубки зубилом, Гастев подчеркивает, что лишь «по недоразумению в науке еще может держаться это жалкое разделение на физический и умственный труд» (3, 63). Установки содержат нормы и стандарты, рассчитанные для живой машины, и целью представляется «предельная степень механизирования работника» (3, 164); а ученики рассматриваются как «сырье, из которого просто, даже без особой методики, делается хорошая установка рабочей машины» (3, 120).

«АГЕНТ КУЛЬТУРЫ»

Гастев своеобразно развивает понятие «агент культуры», — понятие, подразумевающее появление нового социального типа, ответственного за успешное преобразование общества. Речь также идет об «установщике», призванном осуществлять наладку человеческой машины, или о «монтере культуры». Именно этот образ возводится в ранг ведущего социального агента: «не учитель, не миссионер, не оратор, а монтер — вот кто должен быть носителем и агентом культуры в нашей рабоче-крестьянской стране» (2, 229). Подчеркивалось, что чисто техническое понятие монтажа следует расширить, «обогащая» его психологическими и социальными аспектами.

Носитель передовых установок наделяется в первую очередь дисциплинированностью, переходящей в абсолютный автоматизм: «волю надо сделать автоматически действующей» (2, 231). На этот счет Гастев дает своеобразные рекомендации. Для успешной тренировки воли необходи-

мо сначала научиться идеально воспринимать команды, оставаясь в положении «смирно» и проявляя максимально оперативную реакцию на приказ. Потом следует заняться динамическими тренировками: «неситесь на велосипеде и быстро затормозите и сделайте крутой поворот» (2, 231). Рекомендуются также «подъем грузов с земли, подъем грузов выше головы, посадка тяжелых грузов на плечи без помощи подручного, подъем пятнадцатипудового бруса вчетвером, нажимы всякого рода» и т.д. (2, 232).

Повышение культурного уровня отождествлялось Гастевым с овладением двигательными навыками. Истинный монтер культуры — непременно великолепный гимнаст: «пластичность движений — признак культуры человеческой машины» (2, 231); «тело должно быть воспитано как рабочая машина» (2, 231).

Другая ипостась монтера культуры — готовность осуществлять колонизацию послереволюционной страны, представляющей собой «аграрный пустырь» (2, 263). Колонизатор отправляется выполнять свою миссию «как ловко смазанная, выверенная, автоматически регулируемая машина. Кости-рычаги, мускулы-двигатели, нервы-импульсы — все в нем активно и инструментально налажено» (2, 233).

К культурному ратничеству необходимо было приобщить и армию, «орган быстрейшего культурного закрепления территории» (2, 268). Также и представитель органов внутренних дел рассматривался как «агент скорой социально-культурной помощи» (2, 268). Интересно обратить внимание на своеобразный инструментарий для оказания подобных услуг: «особый кобур с кусачками, бечевкой, ломиком и домкратиком» (2, 268), а «такой прекрасный инструмент, как топор, должен быть любим каждым юношей — агентом культуры» (2, 235).

Интересно, что в данных требованиях собственно идеологический элемент во многом утрачивает значение, поскольку Гастев (в духе наиболее мрачных антиутопий) сводил проявления умственной деятельности исключительно к моторике. Комизм предлагаемых упражнений по тренировке воли несколько тускнеет, если учесть, что возглавляемое Гастевым учреждение — ЦИТ — претендовало на роль ве-

дущего в разработке Научной Организации Труда. Отчеты ЦИТа о проделанной работе вызывали на заседаниях президиума ВЦСПС положительные резолюции, содержащие рекомендации предприятиям всесторонне сотрудничать с данным институтом. Инструкторы ЦИТа работали во всех крупных городах страны от Архангельска до Ташкента и от Минска до Владивостока. Правда, их инициативы далеко не всегда встречали понимание со стороны администрации предприятий, и Гастев часто был вынужден в своих выступлениях подчеркивать рекомендательный характер методических предложений института.

Так или иначе, Гастеву — одному из немногих представителей авангардистских направлений в поэзии — выпала возможность реализовать в социальной практике отчаянно-реформаторские замыслы антропологической и социальной инженерии. Радикальность и утопизм этих намерений настораживали даже официозных стратегов образования (например, А.Луначарского и Н.Крупскую); в педагогических дискуссиях данного времени нередко употреблялось определение «гастевщина». Кроме того, исключительная сосредоточенность Гастева прежде всего на физиологии труда, по мнению влиятельных деятелей Наркомпроса, упускала из виду задачи идеологической работы. В 1940 году ЦИТ был расформирован, а его руководитель — годом раньше — репрессирован и расстрелян.

* Алексей Капитонович Гастев (1882—1939), участник революционного движения в России, один из зачинателей научной организации труда (НОТ) в СССР, поэт. Родился в Суздале в семье учителя. Член РСДРП с 1901, большевик: в 1908 от партии отошел. Член ВКП(б) с 1931. За революционную деятельность исключен из Московского учительского института. В период революции 1905—1907 — председатель Костромского совета рабочих депутатов, руководитель боевой дружины. Делегат 4-го съезда РСДРП (1906). С 1906 работал в Союзе металлистов. Неоднократно подвергался репрессиям. В 1917—1918 — секретарь ЦК Всероссийского союза рабочих-металлистов. В 1920 организовал в Москве Центральный институт труда при ВЦСПС (ЦИТ), которым руководил до 1938, одновременно в 1924—

1926 — заместитель председателя и председатель Совета по НОТ при наркомате РКИ, в 1932–1936 — председатель Всесоюзного комитета стандартизации при СТО СССР. Автор работ по рациональной организации и культуре труда. Некоторые идеи Гастева были развиты впоследствии в разделе науки об управлении — кибернетики. Как поэт начал печататься в 1904. Опубликовал сборники стихов: «Поэзия рабочего удара» (1918) и «Пачка ордеров» (1921). Стихотворения в прозе Гастева «Мы растем из железа», «Гудки», «Рельсы», «Башня» имели большую популярность в первые годы советской власти. Смелые гиперболические образы Гастев сочетал с пафосом научного прогресса. Опубликовал публицистическое произведение «Как надо работать» (1921), «Юность, иди!» (1923), «Снаряжение современной культуры» (1923), «Восстание культуры» (1923), «Новая культурная установка» (1923), а также работы по научной организации труда: «Трудовые установки» (1924), «Установка производства методом ЦИТ» (1927), «Реконструкция производства» (1927), «Нормирование и организация труда» (1929).

Цитаты приведены по изданиям:

- ¹ *Гастев А.К.* Как надо работать. — М., 1972. — 478 с.
- ² *Гастев А.К.* Поэзия рабочего удара. — М., 1971. — 303 с.
- ³ *Гастев А.К.* Трудовые установки. — М., 1973. — 343 с.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Манашир Якубов, Илья Урилов</i> Предисловие	3
---	---

<i>Манашир Якубов</i> Ренессансный человек	5
---	---

Ноберт Евдаев
РИТМЫ ЖИЗНИ

ЧАСТЬ I

Баку

ДЕТСТВО	15
МОЯ СЕМЬЯ	16
ОТЕЦ	17
МАТЬ	18
ШКОЛА	20
КОНЦЕРТ ДЛЯ СКРИПКИ, ТОЖЕ С РЕМНЕМ	21
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ	22
ШКОЛА № 6	23
СОСЕДИ	24
УЧУСЬ РИСОВАТЬ	26
ВОЙНА	27
ТЕТЯ ТОНЯ	29
НА ФРОНТ	30
МОЗДОК	31
ОСТРОВOK СВОБОДЫ	33
СЕНСАЦИЯ	34
МУЗЫКА	35
ОБРАЗОВАНИЕ	41
ЛЬВЫ	43
ИНСТИТУТ	45
СВАДЬБА	49

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ II

Москва

ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ СТЕЗЕ	51
НОВАЯ ГРАНЬ	56
У СЕБЯ ДОМА	61
ТВОРЧЕСТВО И ДРУЗЬЯ	64
СВОЯ КВАРТИРА	67
ГАМБИТ ПО-ЯПОНСКИ	72

ЧАСТЬ III

В Америку

ЭМИГРАЦИЯ	81
РИМ	87
ВЕНЕЦИЯ	89
ПЬЯЦЦА САН МАРКО (САН МАРКО)	90
ПЕГИ ГУТЕНХЕЙМ	91
КА ПЕЗАРО	92
ВАТИКАН	92
ФЛОРЕНЦИЯ	93
ГАЛЕРЕЯ УФФИЦИ	93

ЧАСТЬ IV

В Америке

ПЕРВЫЕ ШАГИ	96
ПУТЬ К «АМЕРИКАНСКОЙ МЕЧТЕ»	97
В ПОИСКЕ ДРУЗЕЙ	100
РОКОВАЯ ОШИБКА	102
У ФУТУРИЗМА СВОИ ЗАКОНЫ	104
ОБЩИНА	108
ПОСЛЕСЛОВИЕ	114

БАКИНСКИЕ РИТМЫ

«Подкралось время юбилеев...»	117
БАКИНСКИЙ ВОКЗАЛ	118
ВЕРНИТЕ НАС ДОМОЙ В БАКУ	120
ЛЮБУЮСЬ ТОБОЮ	122

СОДЕРЖАНИЕ

КАСПИЙ.....	123
ЗАГУЛЬБИНСКОЕ ДЕТСТВО	124
ДОВОЕННОЕ ВРЕМЯ	125
ИЧАРИ ШАГАР	126
Я ЛЮБЛЮ ЭТУ ЗЕМЛЮ	128
АЛТАЙЧИК	129
ВОЗВРАЩЕНИЕ	130
МОЙ БАКУ	131
РЕНЕССАНС.....	132
ПАМЯТЬ	133
ПЯТИДЕСЯТЫЕ	134
«В ночи я слышу Каспия рыдание...».....	136

ЛЬВОВИАНА

ДОКТОР	137
ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ	138
САША ЛЕВ	139
ЛЕНА ЛЕВ.....	139

БЛИКИ НА ЛИЦАХ

НАУКИ ПИК	140
НАРОД МОЙ	141
ШЕСТНАДЦАТИЛЕТИЕ	142
ПРИЧАЛИЛ ЖИЗНЕННЫЙ ПАРОМ.....	143
ДРУЖЕСКИЙ ВЕТЕР	144
В ШАШЛЫЧНОЙ НА БРАЙТОНЕ	145
СЛАДКАЯ МУЗА	146
В ГЛАЗАХ ОГОНЬ	147
ПРОСВЕТЛЕННЫЙ ОБЪЕКТИВ	148
ПОЙДЕМ СО МНОЙ В ИЕРУСАЛИМ.....	149
СЕГОДНЯ Я – КОРОЛЬ	150
«Еще ничего не потеряно...»	151
МЕЖ НАМИ МОСТ... ..	152
ГДЕ ОТДЫХАЕТ НЕБО.....	153
ВЕСЕЛЫЙ ДЖОКЕР.....	154
ПОЭТУ РАШБИЛУ ШАМАЮ.....	155
ЕГО ДУХ В ОТРАЖЕНИИ ДНЯ... ..	156
ЯРКИЙ ЦВЕТ.....	157
РЕСТОРАН «РУССКИЙ САМОВАР»	158

ГОВОРЯТ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ

<i>Рустам Ибрагимбеков</i> Мой друг Ноберт Евдаев	161
<i>Евгений Попов</i> Путь в искусство	163
<i>Савелий Перец</i> Засеянное поле	167
<i>Алтай Мусаев</i> Сердца, бьющиеся синхронно	172
<i>Юрий Каган</i> К юбилею Ноберта Евдаева	177
<i>Тофик Мирзоев</i> Дар человеколюбия и дружбы	181
<i>Билямин Шалумов</i> Маэстро Евдаев	185
<i>Марк Верховский</i> Полвека спустя	188
<i>Борис Рабинер</i> Слово о моем друге	195
<i>Элла Госис, Израиль Госис</i> Пятьдесят лет вместе	197
<i>Йонатан Мишиев</i> Мудрость опыта и юношеский задор	199

ПРИНОШЕНИЯ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЯРА

- Манашир Якубов*
Прокофьев в Японии..... 205
- Владимир Фараджев*
Марина Цветаева: Тайны любви и смерти 255
- Инна Бабиева*
К вопросу о структурных особенностях романа
начала XX века («Петербург» Андрея Белого)... 269
- Кирилл Фараджев*
Прикладной футуризм:
Органические машины Алексея Гастева 285

Сборник, приуроченный к 80-летию ученого-искусствоведа, художника, журналиста и общественного деятеля Ноберта Михайловича Евдаса, включает воспоминания юбиляра, его стихи и репродукции его картин, а также эссе его друзей и коллег и научные статьи, посвященные проблемам русского футуризма, русского художественного авангарда и, шире, отечественной культуры «Серебряного века».

Для широкого круга читателей.

УДК 929Евдаев
ББК 63.3(2)6

МАКЕТ И ОФОРМЛЕНИЕ

С.А. Стулов

КОРРЕКТОР

Г.В. Заславская

Подписано в печать 12.10.2009 г.

Формат 60 × 90/16. Гарнитура NewBaskerville.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,00.

Тираж 300 экз. (Первый завод 100 экз.) Заказ № 660

Издательство «Собрание»

109559, Москва, Тихорецкий бульвар, 1, стр. 5

Тел. (495) 389 68 88

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных материалов
в ЗАО «Гриф и К»

300062, Тула, ул. Октябрьская, 81а



Сборник, приуроченный к 80-летию ученого-искусствоведа, художника, журналиста и общественного деятеля Ноберта Михайловича Евдаева, включает воспоминания юбиляра, его стихи и репродукции его картин, а также эссе его друзей и коллег и научные статьи, посвященные проблемам русского футуризма, русского художественного авангарда и, шире, отечественной культуры «Серебряного века».

